

Николай  
КОСТОМАРОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МОНОГРАФИИ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ

Личность царя  
Ивана Васильевича  
Грозного

О следственном деле  
по поводу убиения  
царевича Димитрия

Повесть  
об освобождении Москвы  
от поляков в 1612 году

и избрание  
царя Михаила

Царевна  
Софья

Царевич  
Алексей Петрович  
Самодержавный  
отрок

· КНИГА ·

ИСТОРИКО-  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
АРХИВ



ИСТОРИКО-  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
АРХИВ

ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДОКУМЕНТЫ

Николай  
КОСТОМАРОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МОНОГРАФИИ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ

В двух книгах

МОСКВА

·КНИГА·

1990

# Николай КОСТОМАРОВ

Личность царя  
Ивана Васильевича  
Грозного

О следственном деле  
по поводу убийства  
царевича Димитрия

Повесть  
об освобождении Москвы  
от поляков в 1612 году  
и избрание  
царя Михаила  
Царевна  
Софья

Книга первая

МОСКВА  
·КНИГА·

1990

ББК 63.3 (2) 4  
К 72

Послесловие А.П.БОГДАНОВА,  
кандидата исторических наук  
Комментарии О.Г.АГЕЕВОЙ

Художественное оформление  
Б.А.ЛАВРОВА

Тексты печатаются по следующим изданиям: "Исторические  
монографии и исследования Николая Костомарова".  
СПб.; М., 1881. Т. 13, 14; "Повесть об освобождении Москвы  
от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила".  
СПб., 1866; "Русская история в жизнеописаниях ее  
главнейших деятелей".  
СПб., 1874. Вып. 5.

К  $\frac{0503020200-082}{002(01)-89}$  Без объявл.

ISBN 5-212-00236-2

©Издательство "Книга", 1989.  
Составление, послесловие,  
комментарии, оформление.

## Личность царя Ивана Васильевича Грозного

В нашей русской истории царствование царя Ивана Васильевича Грозного, обнимающее половину лет, составляющих XVI столетие, есть одна из самых важных и достойных особого исследования эпох. Оно важно как по расширению русской территории, так и по крупным и знаменательным событиям и изменениям во внутренней жизни. Много было совершено в этот полувековой период славного, светлого и великого по своим последствиям, но еще более мрачного, кровавого и отвратительного. Понятно, что при таком противоположном качестве многих важных явлений характер главного деятеля, царя Ивана Васильевича, представлялся загадочным; уяснить и определить его было немаловажной задачей отечественной истории, а это было возможно только при разнообразном изучении как былевой, так и бытовой стороны того века, к которому принадлежал царь Иван Васильевич. К счастью, Карамзин именно на этой части русской истории показал всю силу своего таланта более, чем на всякой другой, и с замечательной верностью угадал характер этой личности; оставалось доканчивать начатый им мастерской очерк и при помощи новых данных и при дальнейшей разработке источников сообщить ему более телесности, красок и жизни, а в некоторых случаях и поправлять допущенные историографом неверные черты, касающиеся, впрочем, большей частью подробностей. Но историки наши и исследователи не удовольствовались намеченным путем и стали пролагать пути иные, находя взгляд Карамзина неверным и образ царя Ивана Васильевича, им первоначально обрисованный, не соответствующим действительности. Само собою разумеется, что разнообразные мнения и противоречия во взглядах бывают полезны для установления посредством борьбы меж-

ду ними правильных взглядов, поэтому и различные мнения о личности царя Ивана Васильевича не принесут вреда русской истории даже и тогда, когда бы нам пришлось, предав их, по рассмотрении, полному забвению, возвратиться к Карамзину и разрабатывать эпоху Грозного, руководствуясь основными началами его взгляда.

Пред нами "Несколько слов по поводу поэтических воспроизведений характера Иоанна Грозного", подписанных именем К.Н.Бестужева-Рюмина, профессора Санкт-Петербургского университета. Эти "Несколько слов" были сказаны в заседании Славянского благотворительного комитета и напечатаны в мартовской книжке "Зари". Здесь воздается похвала "великолепному рассказу о завоевании Сибири Ермаком", который "года два тому назад в одном из собраний читал А.Н.Майков", заявляется желание, чтоб этот поэт представил в поэтических образах всю эпоху Грозного, и в противоположность этому поэту говорится о другом поэте в таких выражениях:

"Другой поэт вывел нам царя Ивана Васильевича Грозного таким, каким он его себе представляет, и мне кажется, что выведенное им лицо недостаточно соответствует настоящему лицу; это тем прискорбнее, что вред, производимый впечатлением поэтического произведения, должен быть весьма силен".

Хотя этот другой поэт и не назван по имени, но для всякого слишком ясно, что дело идет об А.К.Толстом, авторе трагедии "Смерть Грозного". Мы до сих пор убеждены, что главнейшее достоинство этого произведения именно и состоит в замечательной верности характера царя Ивана, в том, что выведенное лицо достаточно соответствует настоящему лицу. Чем же именно недовольны в произведении Толстого? "Тем, — говорят нам, — что пред нами является коварный тиран, самолюбивый и самовластный

деспот и более ничего". В противность этому хотя возвысить царя Ивана Васильевича в образ великого человека, поставить его почти в уровень с Петром. "Если, — говорят нам, — перед нами стоят два человека с одинаковым характером, с одинаковыми целями, с одинаковыми\* почти средствами для достижения их за изменением только некоторых несущественных обстоятельств, то мы обыкновенно отдаем преимущество, венчаем лаврами того, который одержал полную победу: мы видим человека, достигшего последних результатов, видим торжество блистательное — унижение соседнего государства, стоявшего прежде на первом плане на всем Севере, мы видим полное достижение цели и видим его торжественно сходящим со своего поприща. Мы говорим: вот великий человек! Обращаясь к другому, мы видим, что цели были те же, но не было того торжества, и говорим: этот не был великим человеком! Будем ли мы правы? Если мы будем называть великим человеком только того, кто, идя к цели, при известном положении дел выбирает средства, действительно соответствующие этой цели, тогда мы будем совершенно правы; но действительно ли всегда можно с имеющимися под рукою средствами достигнуть желаемой цели, и неужели человек, ранее другого стремившийся к известной цели, но не имевший под руками средств для ее достижения, не заслуживает если не венчания лаврами, то, по крайней мере, нашего участия, нашего внимательного изучения? В таком положении мы стоим перед двумя нашими великими историческими лицами: перед Петром Великим и Иоанном Васильевичем Грозным. Оба они одного хотели, к одному стремились, но один имел Полтаву и Ништадтский мир, другой

же имел мир на Киверовой горке" и пр.

Прежде всего, нужно уяснить себе, что следует называть великим, что действительно достойно этого названия. Нам кажется, следует строго отличать великое от крупного. Победы, кровопролития, разорения, унижения соседних государств для возвышения своего — явления крупные, громкие, но сами по себе не великие. Сочувственное название великого должно давать только тому, что способствует благосостоянию человеческого рода, его умственному развитию и нравственному достоинству. Тот только великий человек, кто действовал с этими целями и достигал их удачным, сознательным выбором надлежащих средств. Относительная степень исторического величия может быть определена как суммой добра, принесенного человечеству, так и умением находить для своих целей пути и средства, преодолевать препятствия и, наконец, пользоваться своими успехами. Если историк называет человека великим только тогда, когда видит за ним успех, и настолько признает за ним величия, насколько деятельность его была плодотворна, — историк вполне прав; это, без сомнения, не лишает его права на сочувствие к тем, которые имели хорошие цели, но не могли или не умели найти средств и путей к их выполнению; нужно только при этом быть уверенным, что действительно такие цели существовали.

Таким образом, мы имеем полное право питать сочувствие к тому испанцу, который в XII столетии, в Барселоне\*, показывал первую попытку к устройению парового судна и до некоторой степени исполнил свою идею, хотя не можем приписать ему одинаковое историческое величие с Уаттом и Фультоном, потому что эта была бы историческая ложь. Но в таком ли отношении стоит царь Иван Васильевич к царю Петру Алексеевичу? Нас именно в этом хотят уверить. Чем же? Указывают на такого рода сходство в дей-

\*Одинакий — единый, один одним. — Примечания редакции обозначены\*. Примечания автора затекстовые, с цифровыми обозначениями.

\*Барселоне.

ствиях того и другого: Иван в XVI столетии стремился завоевать Ливонию, а Петр в XVIII. Петру удалось, Ивану не удалось, потому что было еще рано. Вот что значит сопоставлять одни внешние признаки: на подобном сходстве можно вывести в истории Бог\* знает какие произвольные заключения.

С нашей точки зрения, и удачное завоевание Ливонии Петром Великим совсем не великое дело само по себе, и за подобные дела мы бы и самому Петру не дали названия великого человека, если бы не видели за ним действительно великих намерений и деяний, клонившихся к полезным для народа преобразованиям и к расширению его благосостояния. За Иваном Васильевичем мы не знаем таких целей, и нам не указывают ничего подобного, кроме попытки завоевания Ливонии. Но ведь нужно еще доказать, что у него при этой попытке были действительно намерения и планы, сколько-нибудь подобные преобразовательным намерениям Петра. Нет ничего ошибочнее и поверхностнее взгляда тех историков, которые, не вдаваясь в исходы явлений, без дальних рассуждений, готовы приписывать все, совершенное в монархическом государстве, сидевшим тогда на престоле государям, довольствуясь как будто только тем, что их именем производились все дела. Этак можно все деяния Ришелье\*\* при Людовике XIII и деяния Мазарини в малолетство Людовика XIV приписывать тем лицам, которые носили в то время титул французских королей. Сколько примеров встречаем мы в истории, когда на престоле находился младенец, между тем все делалось его именем и носило вид, как будто бы все исходило от него и зависело от его благоусмотрения и воли. Руководствуясь официальными источниками, можно и в самом деле

приписывать государственные дела младенцу или же слабоумному, который, как известно, попавши по слепому случаю рождения на престол, нуждается в опеке, как и младенец. Всякий признает ошибочность такого рода обращения с историей, а между тем этому упреку справедливо подвергаться могут, в известной степени, историки, которые станут приписывать царю Ивану Васильевичу все дела, совершенные в его царствование, хотя бы даже и со времени его совершеннолетия.

История Карамзина приводит читателя к такому заключению, что царствование Грозного с того времени, когда он уже сколько-нибудь мог иметь влияние на ход событий собственной волей, разбивается на три части. Сперва, испорченный в детстве воспитанием, этот царь, достигши юношеского возраста, является с признаками своевольтства, разврата и жестокости, потом он попадает под влияние Сильвестра, Адашева и кружка умных бояр; тогда творятся великие дела, правление государством показывает признаки политической мудрости и попечения о нравственном и материальном благосостоянии народа, но потом Иван свергает с себя власть своих опекунов и является необузданным, кровожадным, трусливым и развратным тираном. Новые историки приписывают самостоятельности царя Ивана Васильевича все хорошее, совершенное во втором из периодов или частей своего царствования со времени совершеннолетия, и хотят представить в более светлом виде третий период.

Во всем капитальная ошибка.

Изучая характер личности Ивана Васильевича, мы сомневаемся, чтоб он когда-нибудь действовал самостоятельно, и думаем, что этот государь всю жизнь находился под влиянием то тех, то других, как это бывало большей частью с подобными ему тиранами (причем очень часто оказывать влияние на тирана было важнейшим средством быть от него

\*В данном издании сохраняются особенности орфографии автора в написании ряда слов, характерной для стиля автора и его эпохи.

\*\*Ришелье.



со временем замученным). Но по отношению к третьему периоду его царствования, со времени так называемой перемены, происшедшей будто бы в его характере по смерти Анастасии, мы должны будем нашу мысль доказывать наблюдениями над фактами и проявлениями характера Ивана Васильевича в разных положениях его жизни, тогда как по отношению ко второму периоду нам не нужно даже и этого труда, потому что есть данные, вполне несомненные, доказывающие отсутствие самостоятельности Ивана Васильевича в это время. Излагать все это подробно и доказывать — значило бы повторять то, что уже было однажды высказано нами в печати<sup>1</sup>. Здесь считаем излишним напомнить только то, что составляет главную и основную тему наших доказательств: царь Иван Васильевич в письмах своих к Курбскому сознавался сам, что он находился под опекой Сильвестра и его кружка до такой степени, что все дела совершались не только не по его указанию, но часто против его желания. Это сознание царя подтверждает истину того, что говорит о том же Курбский, как и вообще доверие наше к Курбскому увеличивается оттого, что Иван Васильевич не отвергает фактической действительности того, что говорит Курбский, а только представляет в ином свете. Таким образом, несомненно, что дела, составляющие славу царствования Ивана до падения Сильвестра, исходили от этого последнего и от людей его кружка, тогдашних советников царя, истинных правителей государства. Только Ливонская война, предпринятая уже тогда, когда Иван Васильевич стал чувствовать тяжесть опеки над собой и поддавался влиянию иных советников, была не их делом. Тут-то возникла размолвка царя со своими опекунами. Новые историки наши по этому поводу берут сторону царя. "Что это были за люди? — говорят они. — Представляли ли эти люди собою более широкий политический идеал, чем

идеал Грозного? Этих людей мы знаем отчасти, мы знаем, что в политическом отношении они были против Ливонской войны, а за войну с Крымом, с татарами, т.е. за продолжение старого... Когда царь Иван Васильевич Грозный говорил: я хочу завоевать Лифляндию, хочу утвердиться на берегах Балтийского моря, ему отвечали на это самые близкие советники, которых мы до сих пор не отвыкли называть лучшими его внушителями и относить к лучшим людям своего времени, Сильвестр и Адашев: зачем идти туда, не лучше ли завоевать Крым, идти по старому пути". Так смотрят новые историки.

Не все новое непременно должно быть лучше старого. Новая ошибка все будет ошибкой, а правда не стареется. Но в каком отношении можно назвать старым путем стремление овладеть Крымом? Разве в том смысле, что некогда Русь стремилась к югу, Олег, Игорь, Святослав, Владимир двигались на византийские пределы, а Черное море носило название Русского? Но то были дела, давно минувшие; наплыв иных исторических условий стер живость воспоминаний об них. События XVI века вызывали возобновление этого давнего, позабытого стремления Руси к югу, без всякой привычки идти по старому пути, и в этом отношении стремление покорить Крым, которое иным кажется старым путем, по нашему крайнему разумению, было путем самым разумным, вытекающим из настоятельной потребности как для государства, так и для безопасности дальнейшего развития народной жизни.

Борьба Руси с татарщиной была борьба на жизнь и на смерть. Освободиться от ига, тяготевшего над Русью два века с лишком, и тем ограничиться — было невозможно. История это доказала. Переставши составлять могучую азиатскую завоевательную державу, монголо-татарщина, разбившись на части, не могла уже владеть Русью; зато этой Руси не давали жить

на свете разные орды, из которых главнейшие носили названия царств. Если не мытьем, так катаньем — говорит известная русская поговорка. Казанцы и крымцы, не в силах уже будучи заставить, как делали предки их в Золотой Орде, приезжать русских государей к себе с данью, то и дело что грабили, разоряли русские жилища, русские поля, убивали, уводили в неволю десятки тысяч русского народа, заставляли откупаться от себя, что, в сущности, было продолжением платежа дани, не давали русским ни подвинуться в плодороднейшие пространства, ни улучшать свой быт. По их милости русский народ продолжал быть самым несчастным, нищим народом; вся его история наполнена однообразными, неисчислимыми и в свое время страшными разорениями. Первое условие возможности благосостояния и процветания Руси — было уничтожение этих хищнических гнезд, покорение татарской расы славянской, присоединение к себе ее территорий. Того требовала не алчность к завоеваниям, а потребность самосохранения; это было неизбежное условие благосостояния. Ввести у татар иной образ жизни, сделать их спокойными соседями невозможно было иначе, как подчинив их: в принципе монголотатарских царств быть самостоятельными — значило то же, что нападать, грабить и разорять соседей. Царство Казанское было разрушено — первым благотворным последствием этого события было то, что более сотни тысяч несчастных русских рабов получили свободу и возвращены были отечеству и христианству, второе, что уже не сотни тысяч, а миллионы грядущих поколений избавлены были от той судьбы, которая ожидала их самих и угрожала их предкам. За Казанью покорена была Астрахань. Та же участь должна была постигнуть и других татар — это была потребность не царская, а всенародная; и действительно, впоследствии Ермак Тимофеевич, мимо всяких царских указов, довершал на Дальнем Восто-

ке путь, проложенный русскими под Казанью. Но на юге торчало между тем татарское царство, более всех несносное для Руси, более всех мешавшее ее движению вперед, — то был Крым. Важность этого края в русской истории недостаточно еще оценена историками. Пока там существовало хищническое гнездо, Русь не могла безопасно подвигаться на юг и занять пространства плодородных земель, которые должны были составить главнейшее ее богатство, экономическую силу и богатство государства и народа. В XVI веке граница спокойных владений Руси оканчивалась каких-нибудь верст за сто от Москвы: далее начиналось редкое население бедных острожков, где жители беспрестанно должны были опасаться за свою жизнь и где не могло быть спокойного улучшения быта; по мере удаления к югу русские должны были дичать и делаться более азиатским, чем европейским народом.

В следующее за тем столетие народонаселение на юге увеличивалось очень медленно в сравнении с тем, как оно в той же полосе увеличивалось в более позднее время — по завоевании Крыма. Что касается до культуры в этом крае, то в царствование Анны, Елисаветы и даже Екатерины южная Россия и даже прилегавшая к ней часть средней были очень дики. Мы прожили каких-нибудь лет пятьдесят с небольшим на свете, а помним виденных нами в юности престарелых жителей южных (даже не совсем крайних) губерний, которые в качестве воспоминаний своего детства рассказывали нам о страхе татарских набегов, которому подвергались земледельцы; последние тогда не слишком заботились о выгодах оседлого житья, опасаясь, что, быть может, придется покинуть свое гнездо и бежать куда глаза глядят. Бесспорно, что существование Крымского царства, которому, кроме полуострова, были подчинены на материке бродячие орды, готовые во всякое время делать набег на Русь, было одной из глав-

нейших причин медленности расселения русского народа на огромном материке средней и южной Руси и плохого хода культурного развития вообще в русской стране. Если и теперь мы чувствуем и сознаем нашу отсталость от Западной Европы, то в числе многих неблагоприятных условий мы обязаны этим и Крыму. Наша история пошла бы совсем иначе, если б в XVI столетии исполнились замыслы тех людей, которых новейшие историки лишают умственного превосходства пред царем Иваном Васильевичем за то, что они хотели овладеть Крымом, идя "по старому пути". Нам могут возразить: да, овладеть Крымом было бы хорошо, но это было в те времена невозможно, и потому-то прозорливый и мудрый царь, видевший лучше своих советников эту невозможность, обратил свою деятельность в иную сторону. Но, вникая в тогдашние обстоятельства, окажется, что именно тогда наступало самое удобное время к осуществлению такого намерения и, следовательно, за людьми, хотевшими вести Русь "по старому пути", придется не только признать верный взгляд на потребности Руси, но еще и практическое понимание условий времени, умение поступать сообразно пословице: куй железо, пока горячо! Послушаем Курбского, современника и участника этих замыслов. Пусть он за нас защитит своих друзей, сторонников "старого пути", против строгого суда наших ученых.

"Бог пускал на татар нагайских зиму жестокою — весь скот у них пропал и стада конская, и самим им на лето пришлось исчезать, потому что орда питается от стад, а хлеба не знает; остатки их перешли к перекопской орде, и там рука Господня казнила их: от солнечного зноя все высохло, иззякли реки; три сажени копали в глубину и не докопались до воды, а в перекопской орде сделался голод и великий мор; некоторые самовидцы свидетельствуют, что во всей орде не осталось тогда и десяти тысяч лошадей. Тут-то

было время христианским царям отплачивать бусурманам за беспрестанно проливаемую православную христианскую кровь и на веки успокоить себя и свое отечество; ведь они на то только и на царство помазываются, чтобы судить справедливо и оборонять врученное им от Бога государство от варваров. Тогда и нашему царю некоторые советники, храбрые и мужественные, советовали и налегали на него, чтоб он сам, своею головою, двинулся с великими войсками на перекопского царя, пользуясь временем, при явном божеском хотении подать помощь, чтобы уничтожить врагов своих старовечных и избавить множество пленных от издавна заведенной неволи. И если бы он помнил значение своего царского помазания, да послушал добрых и мужественных стратиггов, получил бы великую славу на сем свете и наградил бы его тьмами крат более Создатель Христос Бог в будущей жизни. А мы готовы были души свои положить за страдавших много лет в неволе христиан, потому что это была бы добродетель выше всех добродетелей. Но наш царь не радел об этом и едва послал только пять тысяч войска с Димитрием Вишневецким рекою Днепром, а на другое лето — восемь тысяч также водою с Данилом Адашевым и другими военачальниками; они, выплыв Днепром в море, неожиданно для татар учинили в орде большое опустошение; многих убили, жен и детей их немало взяли в плен, немало освободили из неволи христианских людей и вернулись благополучно домой. Тогда мы паки и паки налегали на царя и советовали ему: или сам бы шел, или хоть бы великое войско послал во-время в орду; но он не послушал, спорил против нас, а его настраивали ласкатели, добрые и верные товарищи трапез и кубков, друзья различных наслаждений" \*

\*При цитировании сохраняются особенности орфографии и пунктуации издания, по которому печатается данная книга.

Нет никакой причины сомневаться в верности известий и взгляда Курбского, тем более, когда известный нам ход тогдашних событий вполне согласуется с Курбским. Мы видим в Иване Васильевиче какое-то колебание в этом вопросе; заметно, что он находился под различными противоположными двигательными силами, то делал шаг вперед, то отступал назад, то поддавался мысли покорения Крыма, то боялся вдаться в ее исполнение; а между тем обстоятельства так были благоприятны для такого исполнения, что все его даже несмелые и боязливые шаги вперед пророчили ему дальнейший успех. Прежде всего, в 1557 году он, поддаваясь, конечно, внушениям сильвестровского кружка, послал Ржевского с отрядом, и Ржевский совершил свое поручение так удачно и с такими надеждами на будущие удачи, как только возможно было при тех слабых силах, какие имел он в своем распоряжении. Он разбил крымцев под Ислам-Керменем, взял очаковский острог, разбил там татар и самых турок: такие блестящие подвиги произвели сильное возбуждение в Днепровской Украине, где уже образовалось воинственное казачество, всегда готовое броситься на татар, как только завидит надежное знамя, под которым можно было собраться. Князь Димитрий Вишневецкий, этот первообраз целого ряда последовавших за ним героев, этот богатырь Байда народных казацких песнопений, предлагал московскому государю свои услуги против Крыма. Он тогда же готов был поклониться царю с Черкасами, Каневом, с казацкой Украиной, сердцевиной той разросшейся Украины, которая поклонилась другому московскому царю через столетие. Царь Иван не решился принять его с землями: быть может, он имел тогда основание, не желая раздражать литовского государя, с которым союз мог ему пригодиться против того же Крыма. Он дал Вишневецкому Белев. А потом

что? Не решившись идти сам с войском, он, однако, как будто не прочь был вести дело, а хотел еще раз испытать бессилие своих врагов. Вишневецкий отправился к Перекопу. На этот раз пошло дело еще успешнее, чем с походом Ржевского. Хан испугался, сел в осаде, орда не отражала нападения. Хан отпустил русского посла, которого до того времени держал в неволе, изъявлял желание быть в мире с царем. Ясно было, что Крым не в силах будет защититься, если на него пойдут новые, и притом большие, силы с самим царем во главе. Но царь Иван Васильевич и теперь не поддался увещаниям принять начальство над войском и идти на Крым. В то же время, однако, не примирился он с ханом, а еще раз послал на Крым новый отряд, как будто еще раз хотел сделать попытку и узнать, точно ли враг бессилен, хотя узнавать уже было тогда нечего. Данило Адашев отправился на судах по Пслу, а потом Днепром в море и причинил большое опустошение на западном берегу полуострова. Отпора не было. Хану Девлет-Гирею было с разных сторон дурно. Черкесы отняли Таманский полуостров. Внутри Крыма происходило междоусобие. Мурзы, недовольные правлением Девлет-Гирея, хотели возвести на престол Тохтамыш-Гирея; это не удалось. Тохтамыш бежал в Московское государство. Это могло быть новой помощью московскому государю: объявив себя покровителем претендента, он мог внутри Крыма между татарами найти партию, которая невольно способствовала бы его успехам в надежде посадить на престол Тохтамыша и заслужить внимание и благодарность нового хана. Царь Иван ничем не воспользовался.

Царь Иван тогда вообще все более и более старался действовать наперекор Сильвестру и его кружку. Он уже завязался в Ливонскую войну и был чрез то самое накануне разрыва с Литвою и Польшею, с которыми предполагали его

бывшие опекуны действовать совместно для покорения Крыма.

Время показало все неблагоприятие поведения царя Ивана Васильевича по отношению к Крыму. Уж если он не хотел завоевать Крыма, то не нужно было и раздражать его нерешительными и неважными нападениями. Напротив, московский царь начинал и не кончал, не воспользовался удобным временем — эпохой крайнего ослабления врага, а только раздражил его, дал ему время оправиться и впоследствии возможность отомстить вдесятеро Москве за походы Ржевского, Вишневецкого и Адашева. Тот же Девлет-Гирей, который трепетал от приближения немногочисленных русских отрядов, в 1571 году с большим полчищем в 120 000 (как повествуют бывшие в Москве иностранцы) прошел до Москвы, опустошая все русское на своем пути, и появление его под столицей было поводом такого страшного пожара и разорения, что московские люди не забыли этой ужасной эпохи даже после Смутного времени, и при Михаиле Федоровиче иноземцы слышали от них, что Москва была многолюднее и богаче до онго крымского разорения, а после него с трудом могла оправиться.

Однако наши почтенные историки уверяют, что царь Иван поступил благоразумно, не послушавшись советов устремить все силы на Крым. Возиться с Крымом, по их соображениям, было нехотать московскому государю; во-первых, очень затруднительно было сообщение Москвы с Крымом, не то что с Казанью и Астраханью, куда можно было дойти значительную часть пути водою; во-вторых, если бы и удалось покорить Крым, то невозможно было удержат его при сравнительном малолюдстве русского народа, так как трудно было бы отделить значительное русское население в новопокоренную землю; в-третьих, покорение Крымского полуострова вовлекло бы Русь в войну с Турцией, которая находилась в то вре-

мя в апогее своей славы и силы, была страшна всей Европе.

Нельзя не признать основательности таких замечаний. Но для всякого предприятия, особенно такого, которое сопряжено с борьбой, есть свои препятствия, однако для всяких препятствий найдутся соответствующие средства избежать их или преодолеть, и если историк, оценивая намерения исторических деятелей, будет подбирать одни препятствия, с которыми эти деятели должны были бороться, не обращая внимания на средства, возможные в свое время для устранения препятствий, то взгляд историка будет односторонен и, следовательно, не верен. Указавши на препятствия, возникавшие против исполнения известного предприятия, надобно указать и на средства, какие могли быть найдены, чтобы победить эти препятствия. Нам говорят, что сообщение с Крымом было затруднительнее сообщения с Казанью и Астраханью. Мы соглашаемся с этим, но не думаем, чтобы затруднения эти были совершенно непреодолимы. Главное удобство, по тогдашним условиям, состояло в водяных путях. И что же? Мы видим, что большая половина пути от Москвы до берегов Крымского полуострова могла быть пройдена водою. Данила Адашев с восемью тысячами отправился на судах по реке Пслу, а потом по Днепру и таким образом мог достигнуть западных берегов Крымского полуострова. Был еще и другой пункт водяного пути — тот же Воронеж, на который впоследствии обратил внимание Петр Великий. Нужно было, говорят нам, большое войско; однако нет основания думать, чтобы войско, необходимое для завоевания Крыма при тех критических условиях, в каких находилась тогда орда, требовалось в таком количестве, которое было бы затруднительно выставить Московскому государству. Для покорения Казани Московское государство должно было послать до 130 000 воинов, а завоевание отдален-

ной Астрахани потребовало менее третьей части этого количества. Если крымские дела были до того расстроены, что отряды в пять и в восемь тысяч могли безотпорно опустошать владения хана и наводить на него великий страх, то что же могло быть, если бы вместо восьми тысяч явилось восемьдесят, да еще с самим царем, которого присутствие столько же благотельно в нравственном отношении подействовало бы на русскую рать, сколько зловредно на врагов? Появление царя на челе войска Русской державы с решительным намерением покорить Крымское царство подняло бы, воодушевило и привлекло к царю для совместного действия против крымцев, с одной стороны, днепровское, с другой — донское казачество, а казачество, особенно днепровское, было бы совсем не малочисленной военной силой, потому что при той воинственности, которая охватывала украинское население, ряды его тотчас же увеличивались бы множеством свежих охотников, и эта сила почти ничего бы царю не стоила. Мы не говорим, впрочем, чтобы Крым во всякое время мог быть так легко завоеван; мы имеем в виду только то печальное и расстроенное его состояние в половине XVI века, которым хотели воспользоваться советники царя Ивана Васильевича. Нам говорят: если бы даже царю и удалось завоевать Крым, то невозможно было бы его удержать по причине как отдаленности края, так и при малолюдстве русского народонаселения, причем нельзя было бы доставить в новопокоренный край достаточное количество русских поселенцев. Но не надобно выпускать из вида того важного обстоятельства, что Крым по качеству народонаселения в XVI веке был не то что в XVIII и даже уже в XVII. Крымские ханы были страшны преимущественно теми ордами, которые бродили и кочевали в степях и находились в их распоряжении, когда нужно было их подвинуть на опустошение

соседних земель. На самом полуострове собственно татарское население еще не составляло большинства; в XVI веке в Крыму еще очень много было христиан; их потомки, одичавшие, лишенные средств религиозного воспитания, под гнетом господства магометан не ранее как в XVII веке (а многие уже в XVIII), отатарившись, мало-помалу перешли к исламу, так что Екатерине II удалось спасти только остаток их, переселенный на берег Азовского моря под именем крымских греков<sup>2</sup>. В XVI веке христиане были еще многочисленны и, конечно, встретили бы русское завоевание как избавление от иноверной неволи. Вот уже был готовый контингент для того населения, которое бы вначале послужилось ручательством во внутреннем спокойствии края под русским владычеством. При таком выгодном условии Руси предстояло менее труда закрепить за собою новопокоренный край, чем это случилось с Казанской землей, где, кроме татар, магометанская и языческая черемиса долго враждебно относилась к русской власти. Опасность вовлечься в войну с сильной Турцией была важнейшим препятствием. Но и это препятствие не было вполне неотвратимо. Нельзя сказать, чтоб Московское государство, овладевши Крымом, никак уже не могло сойтись дружелюбно с Турцией. Турция была сильна, но Турция была падка на выгоды. Если бы московский государь, сделавшись обладателем Крыма, предложил Турции выгодные условия, даже известный постоянный платеж за тот же Крым (которым ведь Турция собственно не владела), то едва ли бы Турция не предпочла мирную сделку трудной войне. А если бы и не так, если бы пришлось Руси воевать с Турцией, война эта представляла бы для Турции гораздо более затруднений, чем всякая другая в Европе. Легко было ногайским летучим загонам и различным ордам нападать на южные пределы Московского государства внезапно и убежать в свои степи

с добычей. Но двинуться с многочисленным турецким войском в глубину необозримых степей, подвергаться всевозможнейшим лишениям и неудобствам непривычного климата, встретить против себя всю сосредоточенную силу Руси — это было такое предприятие, что, сделавши опыт, Турция отказалась бы от него, особенно когда могла сойтись с Московским государством выгодно. Ведь впоследствии посылали же турки янычар на помощь Девлет-Гирею отнимать у Москвы Астрахань. Предприятие не удалось. Это уже может служить примером, что Турции не легко было воевать на русском материке. При этом надобно заметить, что Москве представлялись пути действовать с постепенностью, которая бы задержала быстрые поводы к разрыву с Турцией. Можно было и в Крыму употреблять ту же политику, какую употребляли над Казанью и Астраханью, и прежде чем завоевать окончательно Крым, сажать на крымский престол таких претендентов, которые были бы подручниками Москвы. Личность Тохтамыша была уже первым готовым образчиком. Постепенно, как это бывает всегда в подобных случаях, страна, управляемая подручником, все более и более подчинялась главенствующей державе, пока, наконец, не прильнула бы к ней и не вошла бы в систему ее непосредственных владений.

Замечательно, что тогдашние московские руководители крымского дела хотели действовать так, чтобы, елико возможно, не дойти до разрыва с Турцией, поэтому Данило Адашев, захвативши в Крыму в числе пленных, кроме татар, турок, отослав их к очаковскому паше, объяснивши, что московский государь воюет с крымским ханом, а никак не с падишахом. Видно, что, по их соображениям, можно было овладеть Крымом и уклониться от войны с Турцией, по крайней мере до времени.

Все намерения насчет Крыма, долговременные в случае удачного испол-

нения открыть для Руси совсем иную дорогу, разбились об упрямство деспота, который уже вырвался из-под долгой опеки умных людей. Наши историки приписывают его нежелание продолжать крымское дело его прозорливости, политическому дальновидению, чуть не гениальности. "Он понимал, — говорят они, — лучше своих советников несвоевременность попытки над Крымом". Но если б в самом деле было так, то для чего ж он послал Ржевского, Адашева, Вишневецкого заирать крымцев? Результат вышел очень плохой, когда крымцам дали оправиться. Нам кажется, побуждения, руководившие Иваном Васильевичем, гораздо проще объясняются: с одной стороны, он тяготился опекой, но по недостатку нравственной силы не мог свергнуть ее с себя сразу и переживал эпоху колебания; оттого выходило, что он то, по прежней привычке, поддавался внушениям своих опекунов и уступал их советам, то перечил им и своенравно приостанавливал ход начатого предприятия и портил его. Кроме того, как самое предприятие представляло для него личные опасности, то здесь вступало в свои природные права то всегдашнее свойство его характера — трусость, свойство неизменно общее всем, подобным ему, тиранам. Ведь и против Казани он лично поехал неохотно и после, когда уже Казань находилась под его властью, с досадой вспоминал, как его против воли повезли сквозь безбожную землю.

Но отчего историки наши величают царя Ивана Васильевича за Ливонскую войну? Говорят, что царь Иван лучше своих опекунов видел невозможность сладить с Крымом и обратил свою деятельность к такому предприятию, которое могло быть полезнее для России. Но разве это предприятие удалось? Нет. Не послушавши своих советников, оставив крымское дело на четверти дороги и затеявши покорение Ливонии, Иван навлек только на Россию бедствия и поражения с двух сторон: раздражив

крымского хана и давши ему время оправиться, подверг страшному разорению Москву и центральные области государства и, вооруживши против себя Польшу, был побежден Баторием и не удержал Ливонии, стойвшей напрасной потери русской крови. "Но если, — возражают нам, — он и не успел в своем предприятии, все-таки он достоин уважения и сочувствия, как шедший по тому пути, по которому шел Петр Великий". А что общего между делами Ивана и Петра? Только то, что как Иван, так и Петр воевали в Ливонии. И только. Это одни внешние признаки, на них исключительно нельзя опираться историку при оценке и определении характеров и значения исторических лиц. Петру нужно было возвратить России море, загороженное Столбовским договором; Ливония вовсе не была его целью — она ему только подвернулась в войне, и он завоевал ее, действуя в силу обстоятельств, вследствие войны, которая велась совсем не ради Ливонии, а для других целей. Царь Иван не был в таких обстоятельствах, в каких был Петр. То море, которого только и добивался первоначально Петр, у Ивана было уже во владении. Если бы Россия при Петре была в таких границах, как и при Иване, то Петру не нужно было бы начинать наступательной войны — ему пришлось бы просто начать строить Петербург на русской земле, и если бы то вызвало со стороны завистливых соседей нападение, то война с ними имела бы чисто оборонительный характер. Впрочем, и без того война Петра с Карлом XII поднята за возвращение России ее достоинства, не очень давно захваченного. Было ли у Ивана что-нибудь в голове, подобное тому, что было у Петра? Думал ли Иван о заведении флота, о введении в государстве образовательных начал, о сближении с Европой? Думал ли он об этом, хотя настолько различно от Петра, насколько XVI век отличался от XVIII? Наши историки

говорят — да; но исторические факты не дают нам ни малейшего права согласиться с этим. Правда, если (как делают некоторые историки) составлять выводы на основании внешних, случайных признаков, то можно, пожалуй, натягивать и отыскивать что-то такое, что покажется зачинающимся стремлением к знакомству с Западом и к преобразованию Руси; но такие выводы рассыпятся от одного прикосновения даже слабой исторической критики. Более всего и прежде всего способен соблазнить нас саксонец Шлитт\*, который в 1547 году хотел привезти в Московское государство полезных иноземцев. Но когда это происходило? Именно в тот период Иванова царствования, когда этот государь находился под влиянием Сильвестра, Адашева и других лиц их кружка, когда, по собственному признанию Ивана, он часто советовал противное тому, что делалось, да его не слушали ("аще и благо советующе, сия непотребно им учинихомся"); следовательно, если с поручением Шлитту соединить какие-нибудь образовательные цели, то их надобно приписывать не царю Ивану Васильевичу, а тем же самым его советникам, чьих ученых историки хотят унижить, возвышая Ивана Васильевича. Но такой единичный факт, как история саксонца Шлитта, не настолько замечателен и важен, чтоб к нему привязывать, как следствия к причине, крупные исторические явления, очевидно, истекавшие прямым путем из иного источника. С одной стороны, самая история Шлитта не была чем-либо новым, до сего времени неслыханным; это, собственно, было только повторением того, что делалось при деде Ивана Васильевича Грозного, великом московском князе Иване Васильевиче III, когда в Москве отличались Аристотель, Марко Алевизо, Дебосис, Антон-лекарь и другие, а то, что делалось при Иване III, было продолжением

\*Шлитте.



того, что бывало и в прежние времена, при случае, и мы дойдем до построек, совершенных немецкими мастерами во Владимире. По отношению к сближению с Европой, которое было одной из главных сторон петровского преобразования, все такие случаи прибытия в Россию иноземцев, знающих то или другое полезное дело, хотя были, до известной степени, предварительными явлениями, но не иначе как в своей совокупности, а не в отдельности, потому что каждое из этих явлений не имело само по себе слишком большой важности. С другой стороны, причин войны с Ливонией нельзя искать главным образом в истории саксонца Шлитта и еще менее в каких-то образовательных целях Московского государства. Война царя Ивана Васильевича была непосредственным последствием и возобновлением войны его деда, а последняя имела свой корень в старинной вражде прибалтийских рыцарей с русским миром, вражде, которая наполняет всю историю Пскова и упирается в подвиги Александра Невского. Если нападения царя Ивана Грозного на Ливонию приписывать образовательным целям и за то возводить Ивана в звание сознательного предшественника Петра Великого по делу преобразования России, то в равной степени можно сочинять такие же побуждения и для предшествовавших столкновений русских с прибалтийскими немцами.

Московское государство, основавшись, как из зерна, из Москвы, образовывалось присоединением ближних земель, одна за другой, и расширялось. Это характеристическое явление, лежавшее в его натуре. Как оно начало первоначально слагаться, так и продолжало. Ради собственного существования ему приходилось расширять и забирать земли за землями. Только впоследствии судьба должна была указать, где предел этому расширению. В XVI столетии было много такого, что могло иску-

шать московскую политику забирая. Но от мудрости правительства зависело понять, за что следовало приняться прежде, а с чем надобно было обождать. Ливония, рано или поздно, попала в во власть Московского государства, если бы последнее ее вовсе не трогало; и тогда немцы вызвали бы Москву на предприятия, которые могли бы окончиться завоеванием Ливонии. Уже тогда возрастающая сила Московского государства возбуждала зависть как в Ливонии, так и в Швеции и побуждала к выходкам, показывавшим нерасположение и злобу. Но Москве следовало пока устраняться; черед для Ливонии еще не пришел, как и показали последствия. Мудрые советники царя Ивана находили, что прежде всего нужно уничтожить хищнические орды или царства, возникшие на развалинах громадной монголо-татарской державы, так как это было необходимо для существования Руси, для ее мирного развития. Своенравный царь, желая перечить своим опекунам, обратился в иную сторону — на Ливонию, поддерживаемый, или скорее побуждаемый, как говорят современники, иными советниками (кем именно, подлинно не знаем). Но для того чтоб туда обратиться, не нужно было никакой изобретательности, никаких передовых стремлений, мудрых соображений, высоких политических и образовательных целей. Колея была уже проложена; и следовало только в видах здравой политики пускаться по ней во всю ивановскую. Сильвестр и другие советники его кружка противились войне с Ливонией, и не удивительно. Она была преждевременна, а потому несправедлива, и притом велась чересчур варварским способом. Быть может, и даже вероятно, они отнеслись бы сами иначе к этому предприятию в иное время, при иных условиях и обстоятельствах, но в данную минуту они не могли одобрять предприятия. Великое дело овладения Крымом, подчинения татарских племен русской державе,

расширения государственной территории на юг требовало сосредоточенности всех сил народа и государства; нельзя было развлекаться в разные стороны; татарский вопрос был важнее всего для Руси, жертвовать им для каких бы то ни было иных целей было невыгодно для нее. Последствия оправдали верность взглядов мудрых советников царя Ивана. Ливония не была покорена, а Москва была разорена, держава истощена, народ подвергся великим бедствиям. Замечательны слова современника, псковского летописца, сказанные по этому поводу: "И сбыться писание глаголющее: еже аще кто чюжого похочет, по мале и своего останет; царь Иван не на велико время чужую землю взем, а по мале и своей не удержа, а люди вдвое погуби".

Если бы у царя были какие-нибудь широкие политические и образовательные цели, он сколько-нибудь выказал бы их в своих письмах к Курбскому, когда он, оправдывая себя, касался вопроса о Ливонской войне. Но мы встречаем у него только такую выходку, которая прилична не мудрому политику, каким его хотят представить, а скорее пришедшему в патриотический задор простолыдину, у которого, однако, горизонт мировоззрения чрезвычайно туманен за пределами его деревни. "Если бы, — пишет царь Иван Курбскому, — не ваше злобесное претыкание было, то бы, за Божиею помощию, едва не вся Германия была за православием". Уже этой одной выходки достаточно, чтоб видеть, как широко размахивались мечтания царя Ивана о своем могуществе и как узко было у него понимание настоящих потребностей своей страны. Не встречая признаков, которые бы показывали в Иване такие высокие побуждения сблизить Россию с Европой, какие навязывают Ивану, перенося их на него с Петра (по обратному смыслу пословицы: не с больной головы на здоровую, а со здоровой на больную), мы и в других его поступках не видим ничего такого, что

бы свидетельствовало о чем-нибудь подобном. Он приближал к себе иноземцев? А каких? Бомелия, подававшего ему советы, как мучить людей, и впоследствии достойно поплатившегося за такие услуги? Вообще, не только о царе Иване, но о всех деспотических государях в мире следует заметить, что держание около своей особы полезных иноземцев вроде лекарей, аптекарей, строителей, мастеров и пр. не дает еще нимало права подозревать в них какие-либо образовательные стремления по отношению к управляемой им стране. Такие люди были нужны царям, собственно, для их частной жизни. Царь Иван находился в сношениях с Англией. Но чем отзывались эти сношения для народного благосостояния и образования? Заимствовал ли царь для своей страны что-нибудь из того, в чем Англия ушла вперед от России? Известно, что эти сношения не заведены царем; англичане сами начали их, а что касается русских, то последние, сообразно своему глубокому невежеству, дозволяли предприимчивым иноземцам поживляться на счет русской простоты бесцеремонным образом и вести торговые дела так, что они приносили пользы англичанам несравненно более, чем русским. Намерения обратить это явление европейцев в России к делу просвещения своей страны — мы не видим и тени у Ивана. Царь относился к этому явлению эгоистически; он был рад, что мог получить предметы для нарядов, роскоши, сластолюбия, каких не было у него в подвластной земле. Вся английская торговля в Москве направлена была главным образом к тому, чтобы служить выгодам царя и двора его. Никто не мог покупать товаров, прежде чем лучшие из них возьмутся для царя, другим смертным дозволялось покупать то, что царю уже не годилось. Да если беломорская торговля и подействовала на дальнейшее движение внутренней жизни и в некоторой степени на умножение благосостояния, то в этом все-таки

нельзя считать виновником Ивана, так как вообще не следует ставить в заслугу человеку дела, в котором он участвует, если хорошие последствия возникли мимо его воли, по обстоятельствам, которых он и не предвидел и не старался сознательно им содействовать.

Наш почтенный ученый говорит: «Иоанн Грозный в умственном отношении был одним из самых образованных людей своего времени, близко знакомый с письменностью своей земли, один из лучших писателей своего времени. Блеск, юмор, огромная начитанность, логичность изложения, отличающие все его произведения, редко встречаются даже и у писателей по призванию, а не только у писателей случайных, каковым может быть правитель великого народа. Следовательно, у окружавших Иоанна не было даже и умственного превосходства над ним; мы знаем произведения одного из них — „Домострой“, образец узкости и мелочности; это произведение того, который считается гением, ангелом-хранителем Грозного, который внушал ему благородные идеи и под влиянием которого он действовал. Книга „Домострой“ довольно известна и нет нужды вдаваться в подробную ее характеристику».

«Да, — скажем мы, — „Домострой“ — сочинение известное и приводит нас к иному мнению о нем, совершенно иному. Пусть „Домострой“ не изъят от узкости, господствовавшей в том обществе, в котором жил его составитель, все-таки по своим взглядам, по уму и, главное, по сердцу последний безмерно был выше Ивана. Мы видим тут человека благодушного, честного, глубоко-нравственного, чистого и доброго семьянина, превосходного хозяина. Царь XVI века, взявши себе за образец „Домострой“ и приложив его дух к государственному строению, был бы идеалом своего времени и вполне мог бы стать виновником благосостояния и счастья подвластного народа. Самая характерис-

тическая черта „Домостроя“ — это любовь к слабым, низшим, подчиненным и заботливость о них нелицемерная, не риторичная, не педантская, не теоретическая, а простая, сердечная, истинно христианская». В нескольких местах своего сочинения автор говорит о справедливости к слугам и подчиненным, о попечении об них; видно, что его особенно трогал и занимал этот вопрос. Например, он приказывает хозяйке каждый день самой отведывать пищу, которая готовится для прислуги. Одна эта черта в человеке, бывшим царским ближним советником, возбуждает глубокое к нему уважение. „Как свою душу любить, — поучает он, — так следует кормить слуг и всяких бедных. Пусть хозяин и хозяйка всегда наблюдают и спрашивают своих слуг об их нуждах, о еде и питии, об одежде, о всякой потребности, о скудости и недостатке, об обиде и болезни, помышлять о них, пешишь сколько Бог поможет, от всей души, все равно, как о своих родных“. Не ограничиваясь этим, он приказывает заботиться и об их нравственном и отчасти об умственном развитии.

Такого рода правила, разумеется, внушались царю по отношению к подвластным ему людям. Отсюда-то истекают те грамоты и распоряжения лучших лет Иванова царствования, в которых видно желание давать народу как можно более льгот, свободы и средств к благосостоянию. Автор „Домостроя“ сознает мерзость рабства и сам лично уже отрешился от владения рабами; он то же заповедует и сыну. „Я всех своих рабов освободил и наделил, я чужих выкупал из рабства и отпускал на свободу. Все бывшие наши рабы свободны и живут добрыми домами; а домашцы наши, свободные, живут у нас по своей воле. Многих оставленных сирот и убогих мужского и женского пола и рабов в Новгороде и здесь в Москве я воскормил и воспоил до совершенного возраста, и выучил их, кто к чему

был способен, многих грамоте, писать и петь, иных писать иконы, иных книжному рукоделию, серебряному мастерству и иным рукоделиям, а некоторых научил торговать разною торговлею. А мать твою воспитала многих девиц и вдов, оставленных и убогих, научила их рукоделию и всякому домашнему обиходу и, наделив, замуж повила, а мужеский пол поженила у добрых людей. И всем тем дал Бог — свободны: многие в священническом и диаконском чине; во дьяках, в подьячих, во всяком звании, кто к чему способен по природе и чем кому Бог благословил быть; те рукодельничают, другие торгуют в лавках, многие ездят для торговли (гостьбу деют) в различных странах со всякими товарами. И Божию милостию, всем нашим воспитанникам и послуживцам не было никакой срамоты, ни убытка, ни продажи от людей, и людям от нас не бывало никакой тяжбы: во всем нас до сих пор соблюдал Бог, а от кого нам от своих воспитанников бывали досады и убытки — все это мы на себе понесли; никто этого не слыхал, а нам Бог все пополнил. И ты, дитя мое, так же поступай: всякую обиду перетерпи — Бог тебе все пополнил. Я не знал никакой женщины, кроме твоей матери; как мы с нею обещались, так я и сдержал свое обещание. И ты, дитя мое, храни законный брак и, кроме жены своей, не знай никого. Берегись пьянственного недуга. От этих двух пороков все зло” и пр. Такие-то советы, без сомнения, подавал Сильвестр царю Ивану. И что же могло быть лучше, если бы царь прилагал эти правила к обращению с подданными и к своей собственной нравственности, от которой зависели или, по крайней мере, с которой тесно были связаны его поступки в области самодержавного правления? По освобождении своем от уз Сильвестрова учения, пьяный, развратный, кровожадный тиран показывал собой во всем противоположность идеалу трезвого, нравственного, деятельного и благодушного государя,

идеала, до которого хотел довести его Сильвестр при помощи своих советников.

Но ученые говорят, что идеал Ивана был выше и шире идеала его советников!

Этого мало, нас хотят уверить, что ”задуманный Грозным план переустройства государства хорошо подходил к общеславянскому всегдашнему плану государственного устройства”.

Слово ”общеславянское” имеет неопределенное значение общего места, которое можно прилагать к чему угодно. Можно употреблять его и тогда, когда, заглянувши внутрь себя построже, мы должны будем сознаться, что сами не понимаем того, о чем толкуем. Общеславянский план государственного устройства! Легко сказать! А кто для славян составлял этот план? Кто одобрял его? Какие, в самом деле, данные представляет нам история, по которым мы вправе сказать, что вот такой-то, а не иной какой-нибудь государственный строй более пригоден для всех вообще славян, более любим всеми славянами, более удовлетворяет их характеру, их нравственным и материальным потребностям?

Чтобы определить ”общеславянское”, нужен гигантский труд, нужно в истории всех славян отделить то, что входило к славянам от других народов, потом исключить то, что составляло историческую принадлежность быта только некоторых из славянских племен и было чуждо другим, и потом уже собрать в совокупность и привести в порядок то, что окажется в равной степени присущим всем вообще славянам. Но такой труд еще никем не совершен, и едва ли результат его в надлежащей степени может быть когда-либо достигнут: своеобразное и повсеместное, национальное и заимствованное так перепутываются между собой, что очень часто нет возможности ясно отделить и обозначить то и другое. В настоящее время выражение ”общеславянский план” государственного устройства будет означать не более как

тот план, который автору нравится и который автор, по собственному вкусу, полагает уместным считать пригодным для всех славян. Но, таким образом, каждый будет навязывать на славян все, что ему самому вздумается; разумеется, никто не будет об этом спрашивать, да и спросить их, очевидно, нет возможности: желают ли они такого или иного государственного устройства? Тот, кто будет навязывать славянам свои мечтания, тот же будет и отвечать за них. Разве из того не выйдут одни мыльные пузыри! С одинаковым правом один будет доказывать, что общеславянское государственное устройство должно быть абсолютная монархия, другой, что федеративная республика. Один будет, злоупотребляя словом *общеславянство*, усердно кадить той или иной существующей в данное время силе, другой — из тумана общеславянских воззрений показывать ей кулак. Научной правды, плодотворной для жизни, не будет ни здесь, ни там!

Мы не считаем советников царя Ивана, составлявших около него, по выражению Курбского, "Избранную раду", изъятыми от узкости, свойственной веку, а равно и от личных недостатков. Вообще же, главный недостаток у них у всех был тот, что они были слуги, а не граждане и по всему складу подготовлявшей их предшествовавшей истории Московского государства не могли быть ничем другим. Все-таки они были полезнейшие и здравомыслящие деятели в своей стране. От своей узкости они пали.

Ставят в заслугу царю Ивану Васильевичу, что он утвердил монархическое начало, но будет гораздо точнее, прямее и справедливее сказать, что он утвердил начало деспотического произвола и рабского бессмысленного страха и терпения. Его идеал состоял именно в том, чтобы прихоть самовластного владыки поставить выше всего: и общепринятых нравственных понятий, и всяких человеческих чувств, и даже веры, которую он сам ис-

поведовал. И он достиг этого в Московской Руси, когда, вместо старых князей и бояр, поднялись около него новые слуги —рой подлых, трусливых, бессердечных и безнравственных угодников произвола, кровожадных лицемеров, автоматов деспотизма; они усердно выметали из Руси все, что в ней было доброго; они давали возможность быстро разрастись и процветать всему, что в ней в силу прежних условий накопилось мерзкого. Нам советуют не доверять Курбскому и другим писателям его времени насчет злодеяний Ивана. Не отрицают, впрочем, фактической действительности казней, совершенных им: это было бы чересчур произвольно, при собственном сознании тирана. Задают вопрос: "Да не было ли, в самом деле, измены? Точно ли выгодно было московскому боярству не изменять, и неужели оно не имело где-нибудь в другом месте своих идеалов?" И на такой вопрос ответ сейчас готов: "Идеалы эти были, и были рядом, в Литве". Бросается подозрение на замученных царем Иваном Васильевичем; они, подобно Курбскому, хотели бежать в Литву; там у них были свои идеалы. Но исключая немногих — неясных — примеров (вроде поступка князей Ростовских), история не представляет никаких, даже слабых, доводов к подкреплению таких произвольных подозрений. Чтобы их рассеять, достаточно указать на то обстоятельство, что те люди, которых Иван перемучил, в период господства Сильвестра и его партии не изменяли и не думали бежать ни в Литву, ни куда-нибудь в иную землю. Стало быть, если б и на самом деле у кого-либо из казненных Иваном было намерение последовать примеру Курбского, то это происходило бы не оттого, что у него в Литве были какие-то идеалы, а просто от крайней необходимости спасти свою жизнь, которой угрожала безумная прихоть тирана; и в этом случае вина падает на мучителя, а не на замученных. Мучительства производили

бегства, а не бегства и измены возбуждали Ивана к мучительствам. Те доводы, которые приводит Курбский в свое оправдание, имеют характер общечеловеческой правды. Курбский жил в XVI веке, едва ли уместно в XIX судить деятелей прошедшего времени по правилам того крепостничества, по которому каждый, имевший несчастье родиться в каком-нибудь государстве, непременно должен быть привязанным к нему даже и тогда, когда за все его услуги, оказанные этому государству, он терпит одну несправедливость и должен каждую минуту подвергаться опасности быть безвинно замученным! Неужели нам велит сочувствовать аргументам царя Ивана, писавшего к Курбскому: "Аще праведен еси и благочестив, почто не изволил от меня, строптиваго владыки, страдати и венец жизни наследити"? Историк, оправдывающий мучительства Ивана и похваляющий "логичность" в его письменных произведениях, вероятно, не решится сказать, что он сочувствует подобным софизмам Шекспирова Ричарда III, доказывающего вдове убитого им принца, что он оказал убитому благодеяние, отправив его в царство небесное?

Если в личности Курбского можно указать на что-нибудь черное, то никак не на бегство его в Литву, а скорее на участие в войне против своего бывшего отечества; но это происходило именно оттого, что, как мы сказали, московские люди, даже лучшие, были слуги, а не граждане. Курбский был преступлен только как гражданин, как слуга он был совершенно прав, исполняя волю господина, которому добровольно обязался служить и который его, изгнанника, принял и облагодетельствовал. Мы не думаем, чтобы вообще у бежавших в те времена в Литву московских людей были какие-нибудь идеалы в Литве. Им просто становилось почему-нибудь дурно и опасно жить в Московском государстве, и они бежали из него; бежать в Литву им было и ближе, и по-

дручнее, чем в другое государство: и язык, и обычаи там были для них ближе, чем в иной земле, и принимали их там радушно; как люди служилые, они в Литве видели для себя службу, только служба там казалась льготнее, особенно после того, как почему-нибудь в Москве служба становилась им чересчур тяжела. Точно то же мы должны сказать и о тех, которые, наоборот, из Литвы бежали в Москву: и у этих людей в Москве не было предуготованных идеалов, им дурно становилось в Литве — вот поэтому только они и бежали в Москву, стесненные обстоятельства их выгоняли из отечества. Прежние господа считали их изменниками, но те, которые их принимали, напротив, находили вполне справедливым, если эти перебежцы, служа новому господину, пойдут войной и на землю прежнего, то есть на свое прежнее отечество. Руководясь русским патриотизмом, конечно, можно клеймить порицанием и ругательствами Курбского, убежавшего из Москвы в Литву и потом в качестве литовского служилого человека ходившего войной на московские пределы, но в то же время не находить дурных качеств за теми, которые из Литвы переходили в Москву и по приказанию московских государей ходили войной на своих прежних соотечественников, — эти последние *нам* служили, следовательно, хорошо делали! Рассуждая беспристрастно, окажется, что ни тех, ни других не следует обвинять, да и вообще, чтобы вменить человеку измену в тяжкое преступление, надобно прежде требовать, чтоб он был гражданином, чтобы, вследствие политических и общественных условий, в нем было развито и чувство, и сознание долга гражданина, — без этого он или слуга, или раб. Если он слуга, то что дурного, когда слуга оставляет господина, который не умеет его привязать к себе, и переходит на службу к другому? Если же он раб, то преступления раба против господина могут быть судимы только

пред судом того общества, которое допускает рабство, но не пред судом истории, которая, исследуя причины явлений, должна осуждать те неестественные общественные условия, которые производят подобные явления.

Нам говорят: "Во всех вопросах русской истории, с которыми она соприкасается, можно припомнить много такого, что выставляет нам личность царя Ивана совсем в ином свете. Завоевав, например, Ливонию, что делает царь Иван Васильевич? В Ливонии появляется дерптский епископ, появляется юрьевское поместное дворянство. Совсем иначе он действует на востоке; так, завоевавши Казань, он старается привлечь к себе местное население".

Кроткие меры по отношению к обитателям покоренного Казанского царства после завоевания Казани принадлежат к тому периоду царствования Ивана Васильевича, когда он находился под влиянием Сильвестра и людей его кружка, следовательно, по всем соображениям, они истекали от тогдашних действительных правителей государства и свидетельствуют о государственной мудрости и гуманности последних. Что же касается до варварских, жестоких и вероломных мер обращения с покоренной Ливонией, то ученый профессор, которого строки мы привели, не излагает тех своих основных взглядов, которые побуждают его видеть в хорошем свете такие поступки, как намерение устроить юрьевское поместное дворянство, с которым, как известно, соединилось насильственное переселение немцев в московские города и московских людей в ливонские. Поэтому и нам следует воздержаться от спора об этом вопросе, так как мы опасаемся неточно понять то, что станем опровергать, и так как притом мы слишком уважаем автора, чтобы по каким-либо недоумениям признавать за ним такие взгляды, от которых он, быть может, отшатнется

так же, как и мы. Скажем только, что, каковы бы ни были причины, побуждающие ученых мужей оправдывать, восхвалять и вообще представлять в хорошем свете разные насилия, совершенные историческими деятелями и часто оправдываемые "политической необходимостью, государственными целями" и т.п., мы все же надеемся, что уже близко то время, когда встретить у историка похвалу насильственным мерам, хотя бы предпринимаемым или допускаемым с целью объединения и укрепления государств, будет так же дико, как было бы теперь дико услышать с кафедры одобрения инквизиционных пыток и сожжений, совершавшихся не только с высокой целью единства веры, но еще с самой высшей и благой — ради спасения многих душ от адского огня в будущей жизни. В прежние времена были же люди, очень ученые и почтенные, находившие хорошую сторону в таких мерах. Укажем, однако, как смотрели люди XVI века на следствия тех мер государственной политики царя Ивана, которые заслужили одобрение ученых XIX века. Описавши, как погибали русские люди в Ливонии от голода, мороза и, наконец, от неприятельского меча, умный псковский летописец восклицает: "Исполни грады чужие русскими людьми, а свои пусты сотвори!" Так-то люди простые, неученые, руководствуясь здравым природным умом и добрым сердцем, приходят часто к более правильным и человеческим взглядам, чем ученые люди, ведающие многое и многое!

Напрасно историки наши селятся опровергнуть основное воззрение Карамзина на личность царя Ивана Васильевича и представить его великим государственным мужем, светлым умом, достойным уважения и сочувствия, предшественником Петра Великого и оправдать его зверские деяния.

Принимаем смелость представить на обсуждение читателей наш взгляд на

характер царя Ивана Васильевича, составленный на основании посильного уразумения явлений его государственной и частной жизни.

Личность эта принадлежит к разряду тех нервных натур, которых можно встречать много везде в разных положениях, зависящих от разных условий рождения, жизни, воспитания. Способности их от природы могут быть различны, начиная очень талантливыми и оканчивая очень тупоумными, но при всем различии они все имеют общие признаки. Главное их, общее, свойство — чрезвычайная чувствительность к внешним ощущениям и вследствие этого быстрая смена впечатлений. Поэтому воля у них обыкновенно слабая, великими деятелями они быть не способны. Устойчивости у них нет, терпения у них очень мало. Сердечные движения их очень сильны, но лишены глубины, крепости и постоянства чувства. Воображение у них сильнее и рассудка, и сердца. Они беспрестанно создают себе образы, увлекаются ими и при первой возможности готовы их осуществлять, но легко покидают их, когда являются препятствия или когда другие образы овладевают их душой. Если природа одарит такую личность недюжинным умом, то ум этот не может свободно и спокойно действовать под сильным гнетом ощущений, управляемых воображением, и нередко жизнь таких существ представляет непрерывную и странную смену умных поступков глупыми, и наоборот; нередко, однако, последние берут верх над первыми; ум притупляется, привыкая уступать господству воображения и внезапных побуждений. Эти личности не способны к самостоятельности и нуждаются в опеке над собой, хотя, обыкновенно, не замечают этого; они ненадолго привязываются к тем, которые имеют на них влияние, и вообще они не любят последних; они покоряются, воображая, что никому не покоряются, что действуют по своему усмотрению, когда же они почуют унижительность своей за-

висимости, то ненавидят тех, которые управляли ими, но по слабости воли и по трусости и тут не сразу освобождаются, а только тогда, когда помогает им иное влияние. Они чрезвычайно самозабвенны, потому что чрезмерная чувствительность побуждает их беспрестанно и постоянно обращаться к себе, и в то же время крайняя трусость — их неизбежное свойство, потому что та же чувствительность к впечатлениям опасности слишком схватывает все их существо. С трусостью всегда соединяется подозрительность и недоверчивость. Успех чрезмерно поднимает их; неудача повергает в прах. От этого — они высокомерны, самонадеянны в счастье и малодушны, нетерпеливы в несчастьях. Эти люди бывают сильно и горячо восприимчивы ко всему доброму, но еще чаще к злу и порокам, потому что для добра на практике всегда окажется необходимо терпение, которого у них не хватает. Чаще всего выходит, что они пленительно добры, возвышенны, благородны на словах и совсем не таковы на деле: слова легче дел, и при известной доле способностей из них вырабатываются превосходные риторы, способные увлекать и привлекать к себе, обольщать собою на некоторое время, пока не откроется, что, кроме красноречия, у них мало достоинств. Хорошее воспитание сдерживает их, способным из них дает возможность сделаться полезными до известной степени, а малоспособных, по крайней мере, делает безвредными нулями; всего более может обуздать, и даже отчасти переродить, их нужда, но зато многих из них она убивает, и никто так легко и беспомощно не падает под гнетом нужды, как люди этого рода. Чем их воспитание небрежнее, чем существование их безбеднее, тем сильнее развиваются их природные свойства. Горе, если такие личности получают неограниченную власть: возможность осуществлять образы, творимые воображением, вследствие чрез-



вычайной чувствительности к разным ощущениям, доводит их до всевозможного безумия. Многие тираны, прославленные историей за свою кровожадность и вычурные злодеяния, принадлежали к таким натурам. Таким типическим лицом в истории императорского Рима был Нерон; таким был и наш Иван Васильевич. Он представляет поразительное сходство с Нероном при всех отличиях, наложенных на судьбу того и другого несходными обстоятельствами и различной средой. Подобно Нерону, Иван был испорчен в детстве; как Нерон попал под опеку Сенеки и Бурра, и под их влиянием показались признаки мудрого и доброго правления, так Иван Васильевич попал под опеку Сильвестра и его кружка, и его именем совершенно было не мало блестящих и полезных дел; как Нерон, освободившись от опеки своих менторов, так и Иван, удаливши и перемучивши людей, которых прежде во всем слушался, пустился во вся тяжкая, не зная пределов своим развратным и кровожадным прихотям. Злодеяния Нерона и Ивана облекались характером вычурности, иногда театральности. Нерон в начале своих злодеяний убил мать; Иван не убивал матери, которой лишился в младенчестве, зато убил сына в конце своих злодеяний. Нерон сжег (как говорят) Рим, а потом мучил невинных христиан, обвиняя их напрасно в поджоге, а себя выставляя праведным судьей; Иван не жег Москвы: ее сжег Девлет-Гирей страхом своего появления, по безрассудству и трусости Ивана; зато Иван разорил Новгород и перемучил гораздо более русских христиан, чем Нерон римских и, подобно последнему, обвинял свои жертвы в небывалых преступлениях, а себя показывал грозным, но праведным судьей. Нерон уехал в Грецию, дурачился там с художествами и науками, а Рим предоставил произволу своих вольноотпущенников; Иван уехал в Александровскую слободу, разыгрывал там комедию монашества, а Русь от-

дал на волю опричнине. Нерон и Иван были равно жадны и корыстолюбивы, грабили области и не спускали: первый — языческим храмам, второй — христианским монастырям. Нерон хвастался, что он один из римских императоров мог довести произвол владыки до крайних пределов; Иван толковал о беспредельности своей царской власти, и неограниченный произвол самовластия был его идеалом, целью его действий и помыслов. Нерон был трус и при конце жизни показал такое малодушие, что не мог нанести себе смертельного удара; Ивану не приходилось спасать себя от опасности испытать то, чему он подвергал других, зато во все свое царствование он многообразно и многократно показывал крайнюю трусость и малодушие. Наш почтенный историограф при оценке характера царя Ивана воздержался от сравнения его с Нероном, заметив, что один был христианин, другой язычник. Правда, Иван каялся и посылал в монастыри поминования по тем, которых сам убил, но это делалось не потому, что чудовище возненавидело зло и обратилось на путь добра, то было проявление трусости; московский царь боялся Царя небесного и хотел Его умоливать; но бессердечие было одинаково как у русского, так и у римского тирана, только римский — не боялся своих богов; и, правду сказать, этим отличием русский тиран делается еще омерзительнее римского. Наконец, Нерон хвастался великими способностями поэта, певца, художника; Иван щеголял риторикой, богословствованием, знанием истории, вообще резонерством. По странному стечению, московский царь в этом отношении оказался счастливей римского императора. Нерона, сколько известно, потомство не оценило за его литературные и художественные труды, а московского тирана превозносят теперь за "блеск, юмор, огромную начитанность, логичность исследования и признают одним из лучших писателей

своего времени". Зато Сенека оказался счастливее Сильвестра. Воздавая хвалу Ивану и противопоставляя его литературным произведениям творения Сильвестра как "образчик" узкости и мелочности, упускают из вида то обстоятельство, что если Иван, которого воспитание в детстве оставлено было в крайнем небрежении, от кого-либо набрался каких-нибудь сведений и науки писательства, то скорее всего от того же Сильвестра.

Рассмотрим же литературные произведения московского Нерона; увидим из них, как и насколько выказал он нам свой талант, душу, сердце, понятие и нрав.

Вот перед нами письмо царя Ивана к Курбскому — широковещательное и многошумящее послание, как назвал его Курбский. Оно заключает в печати целых восемьдесят шесть страниц in 8°, составляя ответ на письмо Курбского, которое могло уместиться на каких-нибудь семи с половиной страницах того же формата. Самый факт существования такого ответа очень знаменателен и поясняет многое в личности Ивана. Если бы царь был прав в своих поступках, как хотят изобразить его историки, никогда бы не решился он оправдываться перед виновным; если бы он руководился умом, а не мелочным самолюбием, ни за что бы он не отвечал Курбскому. С какой целью писано это письмо и чего добивался царь от Курбского? Неужели он хотел, ему нужно было и он надеялся убедить Курбского признать царя во всем правым, а себя и всех опальных и замученных виновными? Но если бы у Ивана была такая цель, мы бы должны были признать за ним умственный уровень еще ниже того, какой признаем теперь на основании его поступков и слов. Или уж не хотел ли Иван склонить Курбского воротиться? Но этого намерения и в письме Ивана не видно. Побуждение Курбского, решившегося писать к своему бывшему государю, понятно и естественно. Изгнан-

нику хотелось излить тирану все, что накопилось у него на сердце, чего он не смел прежде высказать. Тут было своего рода мщение за себя и за других: отрадно было заставить тирана поневоле выслушать правду, которая иным путем до него не достигла бы никогда. Но со стороны царя Ивана Васильевича не могло быть иного побуждения к написанию такого длинного письма, кроме безрассудного нервного самолюбия, уязвленного голосом правды, кроме мелкой, бессильной злобы, подстрекавшей его. Ивану нельзя было ничего уже сделать Курбскому, ему в воображении рисовались истязания, муки, страдания, которым бы хотелось подвергнуть дерзкого раба, переставшего быть и называться его рабом, а исполнить этого не было возможности. Излить свою досаду потоком слов, а иногда и слез, при невозможности проявить ее делом — самый обыкновенный прием у таких натур, к которым принадлежал царь Иван Васильевич. И вот в порыве раздражения, забывая свое достоинство, тиран посылает длинное письмо Курбскому: здесь площадные ругательства перемешаны с дикими, уродливыми софизмами; они подкрепляются то некстати выхваченными примерами из сокровищницы тогдашней учености, то явным искажением истины фактов из современной жизни. Курбский достойно оценил это письмо, заметив, что оно совсем не прилично царю, походит на "басни неистовых баб, и не следовало было посылать его в такую страну, где есть много людей искусных в грамматических, риторических, диалектических и философских учениях".

Главная мысль царского письма состоит в изложении учения о безмерном величии царской власти; это апотеоз\* не только самодержавия, но безграничного произвола.

\*Апофеоз.

Курбский ушел от царя, Курбский, изгнанник, упрекает царя в неправосудии, жестокостях, неистовствах. Что отвечает на это царь? Он ставит Курбскому в вину, что Курбский не претерпел мучений от царя для получения небесного царства, не исполнил долга, предписывающего рабам повиноваться господам. Царь ставит ему в пример доблесть раба самого Курбского, Васьки Шибанова, который, стоя у смертных врат перед царем и перед всем народом, не отвергся от своего господина. Что может быть возмутительнее этого? Изверг, сам замучив несчастного Ваську Шибанова, восхищается его доблестью и ставит его в пример!<sup>3</sup>

Царь может делать все, что захочет, и никто не должен судить его поступков; эту основную мысль письма Иван Васильевич подкрепляет множеством мест и примеров из священного Писания, святых отцов, византийской истории. Способ этого подкрепления таков, что не только не оправдывает взглядов тех ученых мужей, которые признают Ивана одним из лучших писателей своего времени, а, напротив, свидетельствует о его ограниченности, тупоумии и невежестве.

Считая сам себя правым, Иван, однако, сознается, что есть и за ним кое-какие согрешения, но они произошли от измены тех бояр, к кругу которых принадлежал Курбский. Курбский укоряет царя Ивана в жестокостях; за это Иван обвиняет Курбского в ереси — нет человека без греха, а Курбский, обвиняя Ивана в грехах, стало быть, требует, чтобы человек был безгрешен, хочет поставить человека вравне с ангелами! Уж не это ли юмор, который находят в сочинениях царя Ивана? По нашему взгляду, трудно выдумать остроу, более тупую и плоскую. В другом месте царского письма (стр. 88), запрещая Курбскому порицать свои поступки, Иван приводит из книги "О старчестве" монашескую легенду о том, как некий старец, "егда возстена о некоем брате, живущем во всяком небрежении и

в пьянстве и в блуде", видел видение, которое вразумило его, что он грешит, присвоивая себе суд, принадлежащий Богу. Но что, быть может, имело смысл в мире отшельников, то совсем не годилось в мире общественном, потому что если приложить это правило вообще к нравственности, то значило бы оставить полную возможность дурным людям делать какое угодно зло. Очевидно, пример приведен вовсе некстати. Так же точно нельзя было заграждать Курбскому право указать Ивану на его худые дела словами св. Григория, упрекающего юношу, который хочет поучать старика. Пример этот совсем не идет к делу, о котором велась речь. Ни по летам, ни по умственному авторитету Иван не имел подобного права. Обвиняя Курбского за бегство, Иван хотел поразить его примерами из Ветхого завета, но выбрал их неудачно. Допустим, что история Авенира (стр. 26) имеет еще какое-то отдаленное подобие, но что общего между Курбским, ради спасения жизни убежавшим в чужую землю, и Иеровоамом, который отторгнулся от Иерусалима и основал особое царство Самарийское? Во-первых, покушение Иеровоама на отторжение провинций от власти Давидова дома не могло, по смыслу повествования в самой Библии, толковаться как дело, негодное Богу и преступное, так как сам Господь еще при Соломоне изрек свою волю Иеровоаму чрез пророка Ахию, состоящую в том, что за грехи Соломона значительная часть его владений должна быть отнята от его потомства и передана Иеровоаму, которого, таким образом, по библейскому смыслу, сам Бог избрал своим орудием, и если впоследствии Иеровоам навлек на себя Божий гнев идолопоклонничеством, то все-таки в деле отпадения от иерусалимского престола он не может подвергаться обвинению, и этот его поступок не может служить подобием такому поступку, который, опираясь на св. Писание, желают представить в дурном свете. Во-вторых, бес-

смысленно и противно св. Писанию приписывать падение царства Самарийского означенному поступку Иеровоама и связывать с этим поступком отступление самарийских царей от Бога и поклонение золотому тельцу, так как подобное идолопоклонство происходило и в Иудейском царстве, да и последнее так же точно погибло, как и Самарийское, только несколько позже. Иван говорил: "Смятесе царство в Самарии и отступи от Бога и поклонися тельцу, и како убо смятесе царство Самарии тое неудержанием царей и вскоре погибе; Иудино же аще и мало бысть, но странно и пребысть до изволения Божия". Но царство Израильское погибло совсем не вскоре, а просуществовало 253 года, а царство Иудейское хотя продержалось до 604 года до Р.Х. и даже (если считать отведение в плен Седехии его концом) до 585, то все-таки погибло тем же способом, как Самарийское, — и о царстве Израильском, как и о царстве Иудейском, одинаковым образом можно сказать, что оно погибло по изволению Божию. Наконец, выставляя Курбскому на вид как пример историю Иеровоама, тиран в той же истории мог с большим смыслом увидеть собственное свое подобие в Ровоаме, который не послушался ни Иеровоама, ни умных советников, не хотел облегчить повинностей, лежавших на народе, а еще поругался над народным горем ("ныне отец мой наложи на вы ярем тяжек, аз же приложу к ярму вашему: отец мой наказа вы ранами, аз же накажу вы скорпионами". — Царств II, гл. 12, ст. 11). Распадение государства было достойным последствием такой тиранской выходки. Мы позволили себе распространиться об этом именно с той целью, чтоб показать, как нелогично, как некстати пользовался Иван теми источниками знания и размышления, какие были у него под рукой.

Горькое воспоминание о том, как он некогда слушался советов Сильвестра и его партии (следовательно, по его вы-

водам, не был самодержавным государем), тяжело лежало у него на сердце. Он постоянно чувствовал, что был унижен. Понятно, что самолюбие его уязвлено было паче всего тем, что, по собственным словам его (стр. 94), "поп Селивестр и Алексей", считая его "неразумна суца или разумом младенчествующа", прельстили его "лукавым советом" и держали под своим влиянием, пугая "детскими страшилы". Теперь он пришел к такому убеждению, что слушаться советов умных людей для царя унизительно: это значило — дозволить рабам владеть царем. И по этому поводу оказалось нужным блеснуть перед Курбским ученостью и мудростью. Иван сыплет текстами и примерами. Но как? В высшей степени невпопад. Ни к селу ни к городу, как говорится, приводит он место из пророка Исайи: "Людие, что аще уязляетеся" и пр. (стр. 37), тогда как в этом месте Ветхого завета описывается вообще наказание, грозящее Израилю за его беззакония, без всякого отношения к тому, для чего привел его Иван. Далее в своем письме (стр. 39) Иван указывает на разные смуты, бедствия, на ослабление и падение Восточной Римской империи. (Это место не дает нам права признавать за Иваном "огромную" начитанность; он мог все эти знания перевести на письмо к Курбскому из любого хронографа.) Московский царь из чтения истории вывел себе такое уродливое заключение, что гибель империи произошла все оттого, что цари ее были послушны "епархам и сигклитам". Вот образчик того, как понимал ум Ивана Васильевича то, что ему приходилось читать!

Изложение прошедших событий царствования у Ивана в письме любопытно: оно преисполнено умышленных неверностей. Прежде всего, нас поражает простодушное сознание в своей трусости. Вспоминая о казанском походе, он говорит: "Каково добротство ко мне этих людей, которых ты называешь муче-

никами? Они меня, как пленника, посадили в судно и повезли с немногими людьми сквозь безбожную и неверную землю; еслибы не всемогущая десница Всевышняго защитила мое смирение, то я бы и жизни лишился". Таким образом, мы ясно видим, что важнейшее из дел царствования Иванова не принадлежало ему: он сам играл здесь жалкую, глупую, комическую роль; таким он и сам себя выставляет, нимало не понимая, как видно, того положения, в каком он является перед глазами тех, кто станет читать его письмо. Вместе с тем здесь же он пригнул, говоря, будто его везли с немногими людьми ("с малейшими"), тогда как известно, что он отправлялся в поход с сильным войском.

Выставляя свою страдательную роль в казанском деле, жалуясь на бояр, которые его насильно тащили в поход и подвергали опасностям, через несколько страниц в том же своем письме Иван забывает то, что сам говорил, и пишет (стр. 70) уже совсем прогивное: как будто казанское дело было ведено самим им вопреки советникам, как будто он, царь, побуждал своих воевод идти на войну под Казань, а они, воеводы, упрямылись, дурно исполняли его поручения и не хотели с ним идти под Казань. "Когда мы, — пишет царь, — начало восприняли, с Божию помощью, воевать с варварами, тогда посылали прежде князя Симеона Микулинскаго с товарищи. А вы что тогда говорили? Что мы как будто в опалу их послали! Сколько ни было походов на Казанскую землю, когда вы ходили без понуждения, с желанием? Когда же Бог явил нам свое милосердие и покори́л христианству этот варварский народ, вы и тогда не хотели с нами воевать против варваров и с нами, по причине вашего нехотения, не было более пятнадцати тысяч". Здесь прямое противоречие тому, что мы читали в одном и том же письме царя Ивана выше. Чему же верить? Где-нибудь, да

Иван лжет. Но в первом месте Иван представляет сам себя простаком, трусом, которого, пользуясь его царским саном, умные люди для видов государственной пользы везут почти насильно туда, где ему страшно; во втором месте Иван выставляет себя мудрым правителем, героем и обвиняет в трусости и неспособности своих советников и воевод. Но всегда (кроме исключительных случаев, когда человеку нужно бывает наклепать на себя, что редко бывает, особенно при здравом уме) лгун сочиняет о себе неблуды с целью выставить себя в хорошем свете — это согласно с человеческими слабостями. Уже по этому одному, мимо всяких иных соображений, мы признаем ложью последнее, а не первое место Иванова письма. Рассмотрев обстоятельства событий, о которых здесь идет речь, мы еще более убеждаемся в справедливости нашего взгляда. Из всех исторических свидетельств того времени мы узнаем, что князь Симеон Микулинский, о котором так презрительно отзывался царь Иван, вместе с другими воеводами подготовил взятие Казани, да и сам царь Иван Васильевич, следуя с войском под Казань и прибыв в Свияжск, изъявлял ему благодарность (см. Карамз. VIII, 152). Что же касается до того, будто по нерадению воевод с царем под Казанью не было более пятнадцати тысяч, то это вопиющая неправда. У Морозовского летописца число всего войска, бывшего под Казанью, показано в 150 000 человек.

Если бы нужно было допустить, что число это преувеличено, как действительно бывает в наших летописях, то уж, конечно, не пришлось бы его сокращать в десять раз. Пятнадцатью тысячами невозможно было осадить Казань. О числе бывшего под Казанью войска можно судить из описания взятия Казани в истории, составленной Курбским. Он повествует, что по при-

бегии под Казань полк правой руки, в котором находился и автор повествования, послан был за реку Казанку; в нем было более (вьяце) двенадцати тысяч, а потом он прибавляет "и пеших и стрелков аки шесть тысящей". В этом месте для нас не совсем ясно: следует ли причислять эти шесть тысяч к числу "более двенадцати тысяч" или считать их особо? Судя по способу описания, в подобных случаях, когда пешие считаются отдельно от конных, которые всегда здесь ставятся прежде, можно, с большой вероятностью, полагать, что под двенадцатью тысячами разумеются конные, и, быть может, здесь пропущено слово "конников", но мы не решаемся опираться на такие очень смелые толкования. Уступим зараннее тем, которые бы упорно хотели число двенадцать тысяч считать итогом, тем более что для нашей цели разница не окажется очень важной. Затем, по отрезании от войска этого отряда в 18 000 (а может быть, только в 12 000), царь (Сказ. Курб. I, 28) повелел все свое войско разделить надвое: половину его оставил под городом при орудиях, немалую часть оставил при шатрах стеречь свое здравие, а тридцать тысяч конных, устроив их и разделив на полки по чину рыцарскому, и поставив над каждым полком по два и по три начальника, также и пеших около пятнадцати тысяч, вывел стрельцов и казаков и разделил их на строевые отдели (гуфы) по воинскому порядку, поставил над ними главноначальствующим князя Суздальского, Александра, по прозванию Горбатого, и велел ждать за горами, а когда бусурманы, по своему обычаю, выйдут из лесов, то сразиться с ними.

Таким образом, Курбский указывает, что, за исключением полка правой руки, половина всего разделенного надвое войска составляла около сорока пяти тысяч; но, кроме двух таких половинок, царь оставил немалую часть для охранения своей особы. На стр. 39 того же издания сочинений Курбского мы находим

приблизительное число войска, оставшегося и около царя у шатров. Там указывается, что в царском полку было "вьяще, нежели двадесят тысящей воинов избранных". Следовательно, по известиям Курбского, выходит, что все войско, бывшее под Казанью, простиралось от 120 000 до 130 000 человек. Разница между Курбским и Морозовским летописцем тысяч на двадцать или на тридцать — не более, но как Курбский указывает свои числа только приблизительно и притом два раза говорит "вьяще" (более), то очень возможно, что между Курбским и Морозовским летописцем разницу следует считать еще менее.

Таким образом, здесь Иван является лжецом наглым и до крайности бесстыдным: он лжет перед тем, кто ни в каком случае не может ему поверить, зная хорошо сам все обстоятельства. Понятно, что при такой явной лжи мы не можем считать ничем другим его упреков, встречаемых в том же письме, будто бы после взятия Казани воеводы торопились скорее воротиться домой, тогда как Курбский в своей истории рассказывает, что мудрые и разумные советовали ему пробить под Казанью всю зиму с войском, чтобы "до конца выгубить воинство бусурманское и царство оное себе покорить и усмирить землю на веки; но царь послушал совета своих шурьев, которые шептали ему, чтоб он спешил к царице, и направили на него других ласкателей с попами".

Из двух, совершенно противоречивых, известий об одном и том же, Ивана и Курбского, мы, на основании исторической критики, предпочитаем последнее. Обстоятельства, известные нам из других свидетельств, подтверждают Курбского. Не воеводы бросали войско, а сам государь прежде всех оставил его и побежал, можно сказать, опрометью. Поплывши из Казани и только переночевавши в Свяжске, царь без остановки плыл до Нижнего, там распустил войско и побежал на лошадях домой. Оба

шурина были с ним; это подтверждает известие Курбского о том, что шурия побуждали царя спешить к царице. В то время Ивану действительно был повод к этому бегству. Царица Анастасия была в последних днях беременности; любивший ее царь, естественно, беспокоился за нее, поэтому-то он спешил ехать до Владимира, а там известил его боярин Трахониот, что Анастасия разрешилась от бремени благополучно, и царь с этих пор ехал уже не торопясь, но заезжал к разным святым местам для поклонения. В письме к Курбскому Иван не признает никакого достоинства, никаких заслуг за боярами и воеводами своими в казанском деле: "Ни единья похвалы, аще истинно рещи достойно есть, понеже вси яко раби с понуждением сотворили есте, а не хотением, а паче с роптанием". Но если они были недостойны похвалы, зачем же сам Иван благодарил их и жаловал в свое время? Не у Курбского, а в других источниках (Карамз. VIII, пр. 544) мы встречаем такую речь царя Ивана к военачальникам, бывшим при взятии Казани: "О мужественнии мои воины, бояре и воеводы, и вси прочии страдателии знаменитии имене ради Божии и за свое отечество и за нас! Никто же толикую показа в нынешних временах храбрость и победу якоже вы любимии мною. Вторые есть македоняне, и наследователи есте храбрости прародителей ваших, показавших пресветлую победу с великим князем Дмитрием за Доном над Мамаем. За которое ваше преславное мужество достойны есте не точию от мене благодарения, но и от Божией десницы воздаяния" и пр.

Допустим, что это более летописная риторика, чем правда, что царь Иван Васильевич говорил не так (хотя он, несомненно, любил ораторствовать и вышеприведенная речь совершенно в его стиле); но вот другой летописец (Ник. VII, 197) описывает, как царь Иван, возвратившись в Москву, пировал три дня, дарил и жаловал бояр, воевод и

детей боярских. За что же он их дарил и жаловал, когда они недостойны были никакой похвалы? Ложь царя Ивана Васильевича о других событиях своего царствования, допущенная им в его письме к Курбскому, обличена уже Устряловым в примечаниях к его изданию "Сказаний князя Курбского". Таким образом (стр. 92), царь пишет в этом письме: "Мы послали тебя в нашу отчину Казань привести в послушание непослушных; ты же, вместо виновных, привел к нам невинных, напрасно на них наговаривая, а тем, против кого мы тебя послали, не сделал никакого зла". Здесь припоминается поручение, данное некогда царем Иваном Курбскому, — усмирить волнение в Казанской земле (1553—1555 гг.). Но, по справедливому замечанию Устрялова, царь не мог быть недоволен действиями Курбского, когда после того пожаловал его боярином. То же оказывается и по другому поводу. Царь укоряет Курбского, что когда он послан был против крымцев под Тулу, то ничего не сделал и только ел да пил у тульского воеводы Темкина и потом прибавляет: "Аще убо вы и раны многие претерпесте, но победы никоя же сотвористе" (стр. 93). По сопоставлению царских слов с Царственною книгою оказывается, что действительно сам хан убежал из-под Тулы еще до прихода воевод, однако эти воеводы не бездействовали, а погнались за ханом, поразили его, отняли у него пленников и обоз, и царь сам после того жаловал воевод за эту службу. Сам царь в письме к Курбскому, говоря, что в то время воеводы пировали у Темкина и ничего не сделали, упоминает, однако, о ранах, которые они претерпели. Но ни Курбский, ни его товарищи не могли претерпеть ран иначе, как в бою. "Уже сии раны свидетельствуют, что Курбский думал тогда не о пирах, а о битвах", — справедливо замечает Устрялов. Еще живее, несправедливее и бесстыднее является

Иван Васильевич там, где в своем письме касается ливонского дела. "Когда мы, — говорит он, — посылали вас на германские грады, семь посланий писали мы к боярину князю Петру Ив. Шуйскому и к тебе; вы же едва пошши с немногими людьми и по нашему многому приказанию взяли пятнадцать городов. Но вы взяли их по нашему напоминанию, а не по своему разуму" (стр. 74). Но, во-первых, если воеводы взяли столько городов, сами будучи с немногими людьми, то тем самым заслуживают более чести и славы; во-вторых, как мог царь ставить им в вину то, что они хорошо исполняли приказание царское? Царь не мог простить им того, что, будучи сторонниками Сильвестра, они не считали полезным делом начинать войны с Ливонией. Но если они как советники, по своему убеждению, были несогласны с тем, что нравилось царю, а как верные слуги и покорные исполнители воли верховной власти с успехом делали то, что угодно было этой власти, то не должна ли была эта власть тем более ценить их заслуги? Тиран этого не понимал и не чувствовал. Он помнил только одно и теперь попрекает Курбскому: "От попа Селивестра и от Алексея и от вас я потерпел много словесных отягчений; если мне делалось что-нибудь скорбное, вы все говорили, что это случилось ради германов". В другом месте своего письма Иван Васильевич (стр. 83) упрекает Курбского и прочих бояр и воевод, что если бы не их злобесное претыкание, то вся бы Германия была за православием, и что они воздвигли на православие литовский и готский язык и других. ("Тоже оттоле литовский и готский язык и иные множайшие воздвигосте на православие".) Таким образом, по воззрению Ивана Васильевича, его бояре и воеводы помещали ему подчинить православию всю Германию и подняли на православную Русь Литву и Швецию; если царь принужден был

вести войну с этими государствами, то виною этому его бояре и воеводы. Не знаешь, чему более изумляться, безумию ли и невежеству тирана и его бесовственности или же тем историкам, которые, слыша от самого Ивана такого рода обвинения, приходят в раздумье и задают вопрос: да не были ли, в самом деле, изменниками те, которых Иван казнил и мучил? Но если допустить веру словам этого чудовища, которое лжет на каждом слове, то почему же не разделить его мнения о том, что если бы не коварные изменники, то Россия подчинила бы всю Германию православию, и что Литву и Швецию подвинули на московского государя и с ним на православие все те же изменники.

Второе письмо царя Ивана, всего на шести страницах, отлично от первого по тону, хотя одинаково с ним по духу. Царь не ругается собакою, как в первом, начинает смирением, называет себя незаконным, блудником, мучителем, но это не более как молитвословная риторика; тут же он хвалится своими победами в Ливонии, потому что пишет из завоеванного Вольмара. Опять, как в первом письме, вспоминает он прошлое и обвиняет Сильвестра, Адашева и советников их партии, приводя некоторые события, о которых прежде не говорил. Та же ложь, что и в первом письме, пробивается и здесь. О некоторых намеках мы не можем ничего сказать, как, напр., о дочерях князя Курляева, о покупке узорочьев для них, о каком-то суде Сицкого с Прозоровским, о каких-то полуторостах четьях, которые, как говорит царь, были боярам дороже его сына Феодора, о какой-то стрелецкой жене. Курбский в ответе своем на это письмо, опровергая другие обвинения, об этих отозвался непониманием, заметив только, что все это смеху достойно и пьяных баб басни. Грозный жалуется, что его разлучили



с женою, Анастасией, и прибавляет, что если б у него не отняли "юницы", то не было бы "кроновой жертвы". Курбский превосходно отвечал ему, что предки его не привыкли есть, подобно московским князьям, своего тела и пить крови своей братья.

Обвинение в отравлении Анастасии, конечно, не имеет никакого основания; если были недовольны бояре, то собственно не ею, а ее братьями. Курбский действительно отзывался об них неблагоприятно, и потому, если бы в самом деле бояре покусились на злодеяние, то жертвою его были бы шурья царевы, а не царица, которую, напротив, многие любили. Другое обвинение бояр в намерении возвести на престол двоюродного брата царского, Владимира Андреевича, имеет некоторое основание, но перепутывается недоразумениями и явной ложью. Иван Васильевич говорит, будто дяди *ваши* (т.е. бояр) и господа уморили отца его в тюрьме и держали его самого, Владимира, с матерью в тюрьме, а он, царь, их освободил. Но уморила в тюрьме князя Андрея Ивановича мать царя Елена, а освободили его вдову и сына из заключения бояре после смерти Елены, а не царь Иван. Он указывает на то, будто хотели посадить на престол Владимира, а его, Ивана, с детьми извести. Но не видно ничего подобного такому злодейскому намерению. Известное приключение во время болезни Ивана еще в 1553 году очень темно. Действительно, ввиду ожидаемой кончины царя, некоторые боялись, чтобы при малолетстве его сына не захватили власти Захарыны, царские шурья, но трудно решить, кто именно и до какой степени готовы были действительно лишить престолонаследия сына Иванова и возвести Владимира. Сам Курбский за себя отвечал на это обвинение Ивану, что он никогда не думал возводить на царство Владимира, потому что считал его недостойным.

Странно, во всяком случае, что царь после своей болезни долго не выказывал

злости на то, что происходило между боярами во время его недуга; люди, которых он после обвинял по поводу этого события, долгое время были к нему близки. Чем объяснить это? Нам кажется, тем, что означенное событие уже впоследствии раздули в воображении царя новые его любимцы, заступившие место Сильвестра, Адашева и их друзей. У натур, подобных царю Ивану Васильевичу, нередко давние огорчения возрастают в позднейшее время, когда что-нибудь извне возбуждает об них воспоминания. Письмо царя к Курбскому вообще поясняет, что все неистовства тирана происходили оттого, что он никак не мог забыть своего унижения, которое он перенес в то время, когда допустил руководить и собою, и всеми делами государства Сильвестру, Адашеву и их благоприятелям. "Вы, — пишет он, — хотели с попом Сильвестром и с Алексеем Адашевым и со всеми своими семьями под ногами своими видеть всю Русь; вы не только не хотели мне быть послушны, но всю власть с меня сняли, сами государили как хотели, я только словом был государь, а на деле ничем не владел". Курбский не отрицает справедливости смысла этих слов! "Ласкатели твои, — пишет он, — клеветали на него пресвитера, что он устрашал тебя не истинными, но лъстивыми видениями. Во истину, скажу я, был он лъстец, коварный, но благокозненный; он тебя исторгнул от сетей диавольских и от челюстей мысленного льва, и привел было тебя к Христу Богу нашему. Умные врачи поступают подобно ему, когда вырезают бритвами дикое мясо и неудобоисцелимыя гангрены, а потом восстанавливают и исцеляют недужных; так и он творил — пресвитер блаженный Сильвестр, видя твои душевные недуги, застарелые и неудобные к исцелению!"

Под каким углом зрения ни смотрели бы на эту переписку, для нас второе письмо царя Ивана к Курбскому

служит подтверждением того убеждения, что царь этот обладал недалеким умом, или, по крайней мере, умственные способности его были подавлены чересчур воображением и необузданными порывами истерического самолюбия. Царь, у которого неограниченность власти была пунктом мышленного вращения, сам не замечает и не понимает, как он своими письмами унижал себя, как становился и страшен, и жалок, и мерзок, и смешон. В ответ на второе письмо Курбский заявил ему полное презрение. "Что ты, — пишет царю изгнанник, — исповедуешь предо мною грехи свои; как перед священником; я простой человек, воин. Оно было бы чему порадоваться, не только мне, бывшему твоему рабу, но всем царям и народам христианским, если бы твое покаяние было истинное; но в твоей эпистолии выказывается несовместимая с этим неблагочинная походка внутренняго человека, хромающего на оба бедра, изумительно и странно, особенно в землях твоих сопосатов, потому что здесь много людей, сведущих не только во внешней философии, но и в священном писании, а ты — то чересчур уничижаешься, то выше всякой меры превозносишься!" Надеясь на разорение Москвы татарами, Курбский выражается в таком презрительном тоне: "Собравшись со всем твоим воинством, как хороняка и бегун, ты трепещешь и исчезаешь, когда тебя никто не гонит. Только совесть твоя кричит внутри тебя, обличая тебя за твои дела и безчисленные убийства". В довершение презрения, Курбский запрещает Ивану писать к себе: "Не пиши, прошу тебя, к чужим слугам, где умеют отвечать тебе так, что сбудется на тебе сказанное одним мудрецом: говорить хочешь, за то услышишь то, чего не хочешь!"

Послание царя Ивана Васильевича в Кирилло-Белозерский монастырь драгоценно и замечательно как образчик лицемерства, ханжества, самообольще-

ния — всего, что в продолжение многих веков плодило у нас искаженное, превратно понятое христианство, легко успокоивавшее нечистую совесть риторикой богомыслия и внешними проявлениями благочестия и смирения, не искореняя в человеке дурных наклонностей, не возбуждая в нем подвигов добра, вместо прежних мерзких дел, а только прибавляя ко всем порокам еще один, тот, который божественный Основатель нашей религии наиболее громил в лице фарисеев во время своей земной жизни. И если где, то именно в этом послании царь Иван кажется нам мерзее своего языческого двойника — Нерона. Монастырское благочестие, с его философией, легендарной историей и приемами аскетической практики, для царя Ивана было такой же забавой воображения, как для Нерона антическое искусство. Иван входил в роль кающегося грешника, смиренного отшельника, сурового умертвителя собственной плоти и тешился этой ролью, как Нерон ролью артиста. Неудивительно, что в послании Ивана можно признать известную начитанность по этой части, когда такого рода увлечение доставляло ему удовольствие. Мечтание — вступить в монахи — давно уже не покидало царя Ивана; оно поддерживалось в нем его злодеяниями и бесчинствами. Как только в нем пробуждалась совесть или, лучше сказать, страх наказания на том свете, так тотчас являлся в его воображении успокоительный образ покаяния; ему представлялось, как он удалится от мира, запретя в Кирилло-Белозерском монастыре, будет ходить в волосянице, изнувать свою плоть сухоядением, набивать себе шишки и мозоли поклонами, смирать свою гордыню метаниями пред игуменом, направлять свои помышления к небу непрестанным произнесением Иисусовой молитвы и омыwać свои прегрешения слезными токами; он предавался такого рода представлениям, и ему становилось на душе легче; он читал тогда назидательные поучения о мни-

шеском\* равноангельском житии, повествования о подвигоположничестве отшельников и воображал себе, как он следует их примеру. Так он упивался своим будущим очищением и примирением с Богом, пока житейские ощущения не извлекали его из блаженного самообольщения и не увлекали к делам разврата, гордыни и зверства. И вот в те минуты, когда царь Иван, напившись человеческой крови, притекал к тихому пристанищу покаяния и благомыслия, написал он свое знаменитое "суесловие", как сам он, побуждаемый фальшивым смирением, очень верно назвал свое послание в Кирилло-Белозерский монастырь.

Трудно прибрать более резких, ругательных эпитетов, какими угощает себя Иван, обвиняя в тяжких грехах. Он грешный, скверный, нечистый, мерзкий, душегубец, пес смердящий, всегда в пьянстве, блуде, прелюбодействе, в убийстве, в граблении, хищении, ненависти, во всяком зле. Но это не более как обычные выражения, которые обильно можно найти в разных молитвах, особенно в последовании ко св. причащению; это для многих, если можно так выразиться, покаянный циркуляр, в котором один может увидеть для себя то, другой иное. Царь Иван без преувеличения мог применить к себе все грехи, какие только мог вычитать, но если бы он их и половины не сделал, то по благочестивому смирению все равно должен был их перечислить и так же точно называть себя всякого рода бранными эпитетами. Но вот где гнусное лицемерство: царь Иван считает себя недостойным, как бы не вправе вступаться со своею царственною властью в дела духовные: "Как лучше, так и делайте; сами ведаете, как себе хотите, а мне до того ни до чего дела нет". Если он решался давать советы и напоминать инокам о благочестии и правильном соблюдении монашеского жития, то это он

делает только потому, что к нему обратились, что его просят об этом; только поэтому он и согласился вмешиваться в церковные и монастырские дела. Так смиренничает пред достоинством церкви человек, умертвивший псково-печерского игумена Корнилия, задушивший добродетельного митрополита Филиппа, перебивший и перемучивший монахов в Новгороде, грабивший монастыри, облитые свежепролитой кровью своих обитателей, затравивший собаками Леонида! Сначала в его послании крайнее самоуничтожение, но под конец невольно чувствуется близкое пробуждение обычного зверства, на время усыпленного монашеством. "Нам к вам писати больши невозможно, да и писать нечего: се уже конец моих словес к вам. А вперед бы есте о Шереметеве и о иных таких безлепицах нам не докучали". За исключением приступа, преисполненного фраз о собственном недостойнстве, все послание загромождено выписками из сочинений Илариона Великого в похвалу мнишеского жития, в назидание постничества и умерщвления плоти, а ближайший интерес письма сосредоточивается на личности Шереметева и отчасти Собакина и Хабарова по поводу послаблений и снисхождения, оказываемого в монастыре лицам знатного происхождения, принявшим пострижение. Шереметев — старец Иона — стоит царю Ивану бельмом в глазу. Царь Иван ужасно недоволен, что этот бывший боярин, постригшись, пользуется возможностью жить с большим удобством, чем прочие монахи. По этому-то поводу царь прописывает игумену с братией поучения о монашеском воздержании и о равенстве между братией, поучения, правда, согласные с духом иночества в его идеальном значении, но нечистый источник потребности делать это наставление чересчур виден. Царь злится на Шереметевых вообще: этот боярский род ему ненавистен. Он прямо обвиняет братьев постриженного Шереметева в измене: "Оттого ли, — пишет он

\*Монашеском.

монахам, — вам так жаль Шереметева, оттого ли так жестоко за него стоите, что братья его и ныне не перестанут в Крым посылать, да басурманство на христианство наводити”. Оказывается, что этот постриженный Шереметев, под именем Ионы, был один из опальных — боярин Иван Шереметев. По известию Курбского, в начале своего мучительства, царь Иван мучил его заключением в узкой тюрьме, с острым полом, привесив ему на шею, на руки и на ноги вериги и обруч в десять пудов на эти вериги. Он допрашивал Шереметева, где у него сокровища, говорит Курбский, но страдалец отвечал, что он руками убогих передал их в небесное сокровище. Царь Иван не казнил его, однако приказал удавить одного из его братьев, Никиту, а сам Иван Шереметев принял монашеский образ. Так говорит Курбский. Царь Иван имел предлог быть недовольным Шереметевым за его неудачное дело с крымцами в 1555 году, в котором, однако, Шереметев был не виноват, напротив, лично показал храбрость, удерживаясь с семью тысячами против многочисленной орды. Вероятно, воспоминание об этой неудаче, которую припоминал царь и в письме своем к Курбскому, состоит в связи с теми обвинениями, которые он возводит на братьев Ивана Шереметева. Царь Иван всякую неудачу толковал тайной изменой и припоминал то, что было за двадцать лет, когда нужно было вылить злобу. Боярин Иван Васильевич постригся, вероятно, в 1570 году, когда по разрядным книгам он значится умершим. У боярина Ивана Васильевича было пять братьев: старший по ним — Григорий, значащийся в родословной книге бездетным, нигде не является; двое — следующих за ним — Семен и Никита были боярами; Семена не стало в 1562 году, Никита, по известию Курбского, умерщвленный царем, значится по послужным спискам умершим в 1565 году; затем Иван Васильевич Шереметев, называемый для отли-

чия от старшего брата того же имени Ивановом Меньшим, был убит при осаде Ревеля в 1577 году.

Так как послание Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь писано после казни Воротынского, происшедшей в 1577 году, то следовательно, и после смерти Ивана Васильевича Шереметева Меньшого; таким образом, нам известен один только из живших братьев Шереметевых, сыновей боярина Василия, некогда постригшегося в Сергиево-Троицком монастыре под именем Вассиана, — то был Федор Васильевич. Что касается до Григория, второго из этих братьев, то так как имя его не упоминается в продолжение долгого времени, когда меньшие братья его все перебивали окольными и боярами, то более чем вероятно, что Григория давно уже не было на свете и он скончался молодым: от этого-то имя его нигде не упоминается, кроме родословной книги. Даже если бы он и был жив, то разве где-нибудь был в монастыре, или же по болезни был неспособен участвовать в каких-либо делах. Во всяком случае, поклеп на братьев бывшего боярина Ивана, в монашестве Ионы, Шереметева мог относиться исключительно к Федору Васильевичу Шереметеву — к брату, а не к братьям. Зачем же Грозный написал о братьях, а не о брате? Нам кажется, не по какой иной причине, как по привычке лгать, приросшей к его существу; эту черту также часто можно заметить в таких натурах, к каким принадлежит Грозный. Как только их нервы приходят в раздражение, так язык невольно порывается к усугублению того, что приходится сказать. До какой степени были основательны подобные обвинения у царя Ивана и до какой степени он не церемонился с добрым именем своих слуг, можно видеть из того, что Федор Васильевич Шереметев находился в звании окольного до самой смерти царя Ивана. Этого мало. Шереметев был вовсе

не хороший полководец и с другими воеводами бежал от Кеси (Вендена), однако за это он не был наказан и даже, вслед за тем, получил начальство над войском. Ясно, что обвинение в измене было ложное. Как мог царь держать в своем государстве изменника, да еще и поручать ему дела? Да и как мог оставаться в государстве сам изменник, входивший в тайные сношения с крымским ханом ко вреду Московского государства? Навлекши на себя подозрение у своего государя, ему прямой расчет был уйти к тому государю, с которым он вступил в такую дружбу. А если так, если царю Ивану было нипочем всплепать на кого угодно измену, то как неосновательны суждения тех историков, которые считают возможным, что царь Иван не без причины свирепствовал, казня будто бы за измену, историков, допускающих, что злоба царя Ивана имела справедливую причину! Сам царь Иван Васильевич, впрочем, потрудился открыть потомству ту причину, за что он злился на Шереметевых, особенно на старца Иону. "Зачем, — пишет он в монастырь, — уже ровно год происходит у вас смятение из-за Шереметева и волнуется такая великая обитель? Другой на вас Селивестр наскочил, а *однако его семьи* (т.е. одного с ним поля ягода)!" Боярин Иван Васильевич Шереметев принадлежал к кружку бояр, сторонников Сильвестра, кружку, управлявшему вместе с Сильвестром одураченным царем Иваном! И Сильвестр, и все его благоприятели продолжали стоять костью в горле у царя, которого оскорбленное самолюбие не могло удовлетвориться никакими кровавыми потоками. От злобы к старцу Ионе переходила злоба и на братьев его; впрочем, к этим последним, или по крайней мере к Федору Васильевичу, она не выразилась чем-нибудь особенным, кроме, при случае, таких обвинений в измене, которые напоминают выходки злых и истеричных женщин,

всегда в раздражении готовых выражать свое неудовольствие против других поклепами и обвинениями. Есть нервные натуры, которые выкупают дурачества минутного раздражения непамятозлобием и добротой сердца. Иван Васильевич Грозный не принадлежал к таким натурам. Его глубоко злое сердце высказывается в той злопамятности, с какой он преследует опального боярина в монастыре, хотя уже много-много лет протекло с того времени, в которое оскорблено было безграничное царское самодержавие. Еще нагляднее выразилось это качество души царя Ивана в его отношении к замученному уже им князю Михаилу Воротыньскому. И этого челоука вина была та же, что и многих других: и он был муж Сильвестровой эпохи! Иван Васильевич обвинил его не в измене, а в чародействе, по доносу раба Воротыньского. Обвинение было подходящее для старого благоприятеля Сильвестра, которого так же, как и самого Сильвестра, враги представляли Ивану чародеем. Царь Иван, как рассказывают, жарил на углях казанского героя, победителя крымцев, и, измученного, истерзанного, отослал на Белоозеро — Воротыньский на дороге скончался. Его похоронили в Кирилло-Белозерском монастыре; быть может, там бы ему пришлось долго жить, если б смерть не сжалилась над ним и не прекратила его страданий. Но мученик беспокоил царя и в своем гробе. Вдова Воротыньского построила церковь на могиле мужа. Ивану это не понравилось, и вот в своем послании он выражает свое неудовольствие, прикрывая нечистое побуждение злобной зависти к мертвому личиною благочестия. "Я слышал, — пишет царь, — что один брат из ваших говорил: хорошо сделала княгиня Воротыньская; а я говорю: нехорошо, во-первых, потому, что это есть образец гордости и величания: церковь, гробница и покров приличны только царской власти; это не только не спасение душе, но пагуба; пособие же душе

бывает от всякаго смирения; во-вторых, это не малый зазор, что над ним церковь, когда над чудотворцем нет церкви". По этому поводу тиран прибавляет с иронией: "И на страшном судище Спасовом Воротынский да Шереметев станут выше чудотворца — Воротынский церковью, а Шереметев законом: их закон у вас крепче чудотворцева".

Кроме этого послания, существуют еще два (или три) короткие послания царя Ивана в тот же Белозерский монастырь, писанные во время болезни и, очевидно, уже незадолго до смерти. Как ни коротки эти послания, но характер царя отразился в них самым резким образом. Видно, что Иван, то падавший духом до уничтожения, то показывавший чрезмерное высокомерие, находился в самой крайней степени падения духа в то время, когда писаны были эти послания. Он явно страшится приближения смерти, боится наказания за гробом и спешит откупиться от него. Вот он посылает братии Кирилло-Белозерского монастыря по гривне, двадцать рублей братии на корм, десять рублей нищим за воротами да сто рублей на масло. Чрезвычайно знаменательная черта, живо представляющая и личность царя, и ту нравственную систему, в которой воспитывались люди не только века Ивана Васильевича, но люди многих веков под влиянием искаженных христианских понятий. Благодарение не приводило царя к обращению на путь справедливости и человеколюбия. Его покаяние, очевидно, было плодом страха; ни здесь и нигде в других своих писаниях Иван не заявлял даже на словах решимости исправиться, начать иную жизнь; он не чувствовал в этом потребности. Прежняя жизнь для него не становилась мерзкой, она только внушала опасность. Грешить, как он грешил, приятно, да, говорят, за это на том свете плохо придется, если не успеешь отомолиться и покаяться! И вот царь-грешник старается

отклонить от себя грядущий удар. Своекорыстие движет его покаянием. От этого он на страждущее человечество жертвует десять рублей в виде раздачи нищим у ворот монастыря, тогда как, будучи государем, он бы мог разом облагодетельствовать многие тысячи подвластного народа, если бы только действительно, а не призрачно, раскаявшись в своих мерзких делах, возымел твердое намерение показать пред Богом, требующим любви к ближнему, плоды истинного покаяния и обращения. Всего десять рублей: эти рубли могли насытить только на каких-нибудь несколько дней толпу нищих, из которых, без сомнения, было немало праздношатающихся! И только! Зато сто рублей — в десять раз более того — Богу на масло, т.е. чтоб перед образами горело масло. И вышло, что в голове царя Ивана Васильевича существовало такое понятие, что Бога всего более можно смягчить, этого мало, подкупить на неправое дело (ибо оставить без кары неисправившегося злодея, по духу христианства, было бы неправым делом) несколькими пудами масла! Вместе с тем царь как будто пытается обмануть Господа Бога ложным смирением. В знак смирения он бьет челом преподобию ног игумена и братии и называет себя не царем, а только великим князем — сам как будто понижает свое достоинство. Между тем он, конечно, не слишком смиренно расправился бы с теми же преподобными отцами и братьями, если б они прогневали его каким-нибудь признаком неуважения к его царственному сану и вздумали бы вправду считать его только великим князем, а не царем. Тиран, пришедши в болезненное состояние и приближаясь к смерти преждевременно вследствие истощения от развратной жизни и частных внутренних потрясений, не на шутку, видно, испугался тех чертей, которых изображения видал на иконах Страшного суда и на старых рукописях; верно, живо представлялось

ему то ощущение, которое должна была чувствовать его душа по исходе от тела, встречаясь с демонами, готовыми потащить ее крючьями в преисподнюю; и в этом испуге царь прибегает ко лжи: начинает лгать перед Богом и перед собственной совестью. Без лжи он не мог обойтись: она давно уже въелась в его существо.

Духовное завещание, писанное царем Иваном, по всем вероятностям, около 1572 года, страдает чрезвычайным пустословием, лицемерством, нескладностью сочинения. Оно загромождено отрывками из Евангелия; приводятся притчи и речи Спасителя, но не везде кстати, то есть не каждая в подтверждение данной мысли; несколько раз одно и то же повторяется, как, например, повеления сыновьям любить друг друга и жить в согласии. Царь Иван Васильевич сравнивает себя с библейскими грешниками, перечисляет члены своего тела, оскверненные разными грехами, соответствующими отправлениям этих членов; указываются всякого рода грехи, возможные в человеческой жизни, подобно тому, как они перечисляются в молитвах, которые рекомендуются для исповедания пред Богом грехов даже и тем, которые нередко неясно понимают значение этих грехов. Все это не более как формалистика. Вот если б Иван, вместо общих выражений, перечислил бы несколько своих гнусных поступков, указав время их совершения и обстоятельства, сопровождавшие их, тогда другое дело: тогда можно было бы считать такое сознание признаком истинного раскаяния. Но Иван не в силах был сделать этого.

В политических понятиях Иван Васильевич вовсе не представляется умом, достигшим до уразумения самобытности государства в его неделимости и неподлежания его состава временным переменам правительства. Для царя Ивана государство не более как вотчина. Он де-

лит его между сыновьями. Правда, части, предоставляемые двум сыновьям, не равны между собою; удел меньшего несравненно менее владений старшего; кроме того, меньшой сын должен оставаться в повиновении у старшего брата; ему запрещается восставать даже и тогда, когда бы старший брат обидел его чем-нибудь; но все-таки за этим меньшим остается некоторого рода феодальное право; его бояре не могут отъезжать от него во владения старшего брата, а иначе они потеряют свои имения — это самое правило наблюдалось и в случае отъезда тех же бояр в иное государство. Сверх того, царь Иван предоставляет некоторые города и волости тем своим детям, которые еще не явились на свет, но могут появиться. При таком основном взгляде на государство как на собственность царственного рода Русь неминуемо раздробилась бы на многие части, если бы только царская семья размножалась и разветвлялась. Владетели уделов были бы по праву подчинены одному верховному владетелю, носящему знаменательное название царя; но ведь известно, что такого рода подчинение бывает продолжительно только до тех пор, пока подчиняющий в действительности силен, а подчиняемые в сравнении с ним малосильны. Само собой разумеется, что власть верховного владетеля тем более будет ослабевать, чем менее в его непосредственном владении останется населенной территории, а территория непременно будет уменьшаться по мере того, как удельных владетелей станет больше, потому что тот же верховный владетель в своем уделе должен будет отводить уделы сыновьям. Опыт всех времен и всех стран уверяет нас, что, где только государственная область делилась между членами царственного рода, там неизбежны были междоусобия, и власть того, кто должен был иметь значение верховного владыки, главы всех владетелей, непременно умалывалась до тех пор, пока, при содействии благо-

приятных внутренних и внешних обстоятельств, ей не удавалось подниматься искусственными и всегда насильственными и нечистыми средствами; притом она возвышалась более или менее постепенно. Нельзя сомневаться в том, что если бы у Ивана были живы все рожденные им дети и все оставили после себя наследников, Восточная Русь опять бы разделилась, опять бы повторились в ней прежние междоусобия. Если произошло иначе, если Восточная Русь сохранила свое государственное единство, то этим обязана она была не мудрости царя Ивана, а чисто слепому случаю: московская линия Рюрикова дома не расширялась, а вымирала. Что касается до тех отношений, которые устанавливал царь Иван Васильевич между своими сыновьями, то надобно слишком большого простодушия, чтобы на них основывать какое-нибудь ручательство будущего спокойствия государства. Если царь, деливши государство между сыновьями, расточал им нравouchения о том, чтоб они жили в согласии и меньшей находились в подчинении у старшего, то это было не более как лекарство (притом ненадежное и много раз напрасно употребляемое на Руси) от такой болезни, которую сам же царь и производил. Если бы московский тиран был в самом деле мудрый политик, каким его воображают себе некоторые ученые, то, заботясь об единодержавии и самодержавии, он бы, прежде всего, избежал такого опасного распоряжения: по старинным примерам, его последствия могли быть достаточно видны для светлых умов и XVI века. Положим, что в этом отношении царь Иван поступил не безрассуднее всякого другого на его месте человека, не особенно умного, непроницательного и неспособного подняться до большей широты и высоты воззрения, чем какая была у его предшественников; но все-таки несомненно, что здесь царь Иван вовсе не дальновидный политик.

Посреди общих и избитых нравouchений, противоречивших поступкам всей жизни Ивана, в его духовном завещании мы встречаем признаки той, так сказать, исторической лжи, которая почти нигде не покидала царя Ивана в его писаниях и речах. В этом духовном завещании говорится, что царь изгнан самовольными боярами и скитается по странам. ("А что по множеству беззаконий моих, Божию гневу распростершуся, изгнан есмь от бояр самовольства их ради от своего достоинства и скитаюся по странам, аможе Бог когда не оставит (?) и вам есмь грехом своим беды многия нанесены".) Все важные деяния царя Ивана и все случаи его царствования нам достаточно известны, по крайней мере, в общих, главных чертах: если бы было иначе, кто бы решился оспаривать такое важное свидетельство, как духовное завещание самого царя о том, что он был изгнан, лишен власти и скитался по странам? Это, по-видимому, подтверждается и дальнейшими выражениями того же духовного завещания; Иван говорит своим сыновьям: "Докудова вас Бог помилует — освободит от бед" и далее: "А будет Бог помилует и государство свое допустите и на нем утвердитесь". Не ясно ли, что завещание писано в то время, когда царь находился где-то в изгнании, в чужой земле, или если в своей, то никак не в столице, не у себя во дворце, и если бы он вскоре после этого завещания скончался, то сыновьям его пришлось бы вступить в свои владения, указанные им завещанием, не иначе как посредством борьбы с врагами? Так подумал бы всякий, прочитав это завещание и недостаточно зная события царствования завещателя. А между тем история не представляет нам ничего подобного: Иван Васильевич не был изгнан и не скитался по причине самовольства бояр. Итак, это ложь, вопиющая, отвратительная ложь пред самим собой, пред Богом, во имя которого пишется завещание, ложь пред современ-



никами и потомством! Как же после этого можно предполагать какую-нибудь справедливость в его жалобах на измену и оправдывать его казни тем, что, быть может, он, в самом деле, казнил действительно изменников?!

Завещание это, как видно, было составлено недолгое время спустя после знаменитого сысского изменного дела, связанного со страшным разгромом Новгорода и после разорения Московского государства Девлет-Гиреем. На существование сысского изменного дела указывает одна опись дел 1626 года. Самое дело потеряно. Потеря чрезвычайно важная, но из того, что мы знаем об ужасных событиях, относящихся к утраченному делу, уже можно заключить, что дело это было плодом необузданной, чудовищной фантазии кровожадного тирана. В вышеупомянутой описи дел 1626 года указывается, что в этом деле рассматривался заговор лишить Ивана Васильевича престола и жизни и возвести на его место его двоюродного брата Владимира Андреевича, а Новгород и Псков отдать великому князю литовскому. Но какое неестественное сочетание! Тем, которые хотели возводить на престол Владимира Андреевича, зачем было отдавать Новгород и Псков? С другой стороны, если бы существовали в Новгороде и Пскове такие, которые желали бы лучше поступить под власть Литвы, чем оставаться под властью Москвы, то для них не все ли равно, кто бы после Ивана ни царствовал? Характер расправы царя Ивана по этому делу никак не вяжется с изменой. Таким образом, если целью ее было наказать и уничтожить измену в Новгороде и Пскове, то зачем он сначала производил убийства в Твери? Зачем начал с пленников? Зачем, после бойни в Новгороде, не произвел такой же в Пскове: он приехал в Псков с целью делать то же, что делал в Новгороде, но, как говорят, был потрясен выходкой юродивого Николая,

предложившего ему кусок сырого мяса в пост, в знамение того, что он, царь, пожирает людей. Понятно, что царем не руководило правосудие, он действовал только по внушению страстей, иначе никакие юродивые не могли бы спасти виновных от суда и расправы. Весь характер расправы царя Ивана по этому делу носит на себе такие признаки, которые несовместимы с производством суда над изменниками, напротив, представляют вид всеобщего разграбления с корыстной целью. Прежде всего, собрали со всех новгородских церквей попов, диаконов и других лиц и поставили на правех: с каждого правили по 20-ти новгородских рублей. За что могли они быть подвергнуты варварскому взысканию по делу об измене? По приезде царя игуменов, попов черных и диаконов и соборных старцев, которых прежде мучили на правехе, избивали палицами до смерти. Других держали на правехе долее, а в заключение отправили в Москву. Как согласить такие поступки: сначала поставить на правех, взыскивать деньги, а потом побить! После варварских мучений и утоплений царь ездил по монастырям, грабил монастырскую казну, приказывал сжигать разные хозяйственные заведения, истреблять скот; то же, по его приказанию, делалось с торговыми людьми в Новгороде. Где же тут суд и кара за измену?

Главным поводом ко всем ужасам новгородской бойни представляется алчность. Иван был эгоист и потому уже алчен. Он любил тешиться богатствами и украшениями. Он слышал, что в Новгороде как в монастырях, так и у частных лиц было много драгоценного, и ему хотелось захватить все это себе. Алчность была не только одним из качеств его личности, но перешла к нему и по наследству, и по преданию. Все его предки, московские государи, отличались скопидомством и редко стеснялись в выборе мер приобретения,

когда представлялись удобные случаи. Вот и Ивану такой случай представился. Какой-то Петр Вольнец подал донос, будто новгородский владыка с некоторыми новгородцами хочет изменить царю. Письмо такого содержания, за подписью разных лиц, было найдено за иконою в церкви св. Софии. Это письмо, как говорят, было подложное; сам доносчик, злобясь на Новгород, где он потерпел наказание, составил его, искусно подделавшись под руки других, положил за икону, где оно, по его указанию, было потом отыскано. Самый способ отыскания если не прямо свидетельствует о его подложности, то при вышеприведенных обстоятельствах представляет возможность подлога. Мы не станем уже вдаваться в то, что в условиях тогдашнего положения Новгорода не видим никаких данных, выказывавших подобный замысел отпадения Новгорода и Пскова от Московского государства и присоединения их к Литве. Предположим, что Пимену и другим взшло в голову предлагать Сигизмунду-Августу северные русские области во владение. Но как же мог узнать о содержании и месте хранения такого важного документа не природный новгородец, а чужеземец, бродяга? Кроме того, мы узнаем, что этот донос сделан после того, как уже царь Иван положил свою немилость на Новгород и перевел оттуда сто пятьдесят семей. Очень подручно было доносчику устроить свои козни: Иван, по всякое время склонный верить изменам, теперь был особенно доверчив; таким образом, желание грабежа само собою покрывалось благовидным предлогом кары за измену. Но вместо суда и казни тех, которые по суду оказались бы виновными, тиран повальным избиением и правого, и виноватого, правежами и свирепствами в тех местностях, которые не могли быть включены в предполагаемый замысел, касавший двух древних народоправных земель, слишком об-

личает несостоятельность обвинений, которыми он хотел заклеить свой народ.

К памятникам литературной деятельности Ивана Васильевича можно отнести его речи, которые он говорил перед иноземными послами, блистая своим красноречием, особенно перед польскими, которые, к сожалению, еще не изданы полным собранием. Из них мы преимущественно укажем на те, которые произносились по поводу предположения избрать королем польским и великим князем литовским принца из Московского дома. По смерти Сигизмунда-Августа хотели избрать собственно сына Иванова, Феодора, Ивану же хотелось царствовать самому; и вот он истощал свое красноречие перед литовскими послами очень оригинальным образом. Когда приехал в Москву первый посланник по этому поводу, Воропай, царь Иван счел долгом оклеветать ему своих. Он объявлял, что если бы его, царя, выбрали королем, то он был бы для избравших его удивительным защитником. Но он тогда же сообразил, что, конечно, поляки и литовцы знают о его злодеяниях, и потому надобно было ему оправдать себя перед ними, а чтобы оправдать себя; неизбежно было очернить других. Царь замечал, что об нем рассказывали, будто он вспыльчив и зол; он сознавался, что точно он вспыльчив и зол только против тех, которые против него злы, "а кто против меня добр, — говорил он, — тому я не пожалею отдать с себя цепь и одежду! Не диво, что у вас паны любят своих людей, когда и люди любят своих панов, а мои люди подвели меня крымскому царю". Грозный рассказывал иноземцу небывицы про посещение Девлет-Гирея. Воеводы его сносились, мол, с ханом, подвели его, оставили царя с малым числом войска, только с шестью тысячами, и он, царь, должен был немного отойти в сторону! Тогда татары вторгнулись в Москву. "Если бы в Москве, — гово-

рил царь, — было не более тысячи людей для обороны, и тогда бы она могла оборониться. Но если большие люди не хотели обороняться, то как могли меньшие. Москву сожгли, а мне знать не дали. Посуди же, какова измена моих людей, и потому, если кто и был казнен, то за свою вину”.

Здесь ложь. Вины ваты ли были воеводы, которых выставили вперед против хана с войском, или нет — решить трудно; во всяком случае, если они были виноваты, то разве в неспособности и неискusstве, а уж никак не в измене. Из дел оногo времени, а равно из описаний событий не видно, где именно хан, которого не следовало пропускать через Оку, перешел через эту реку, и насколько воеводы действовали по своему усмотрению и насколько по приказанию царя. Царь Иван Васильевич говорит, что с ним было всего-навсего только шесть тысяч. По всем вероятностям, здесь значительное уменьшение того количества, какое на самом деле было. Независимо от войска, выставленного в числе пятидесяти тысяч против хана, другое войско находилось близ самого царя, с передовым и сторожевым полками. Невозможно, чтобы все это войско ограничивалось количеством шести тысяч; царь слишком заботился о сохранении своей особы, чтоб ограждать себя таким незначительным отрядом. В то же время царь, уменьшая перед литовским посланником число собственного войска, уменьшал и силу крымского полчища до сорока тысяч, тогда как по другим известиям его было до 120 000; последнее число вероятнее, потому что татарский хан не пустился бы в такую даль иначе, как с огромной ордой. Чтобы оправдать себя и обвинить своих воевод, царю нужно было сделать такое уменьшение; расчет понятен: когда бы мало было татар, воеводам, стало быть, можно было с ними померяться; а когда мало было войска с царем, стало быть, царь не от трусости, а от крайней необходи-

мости удалился немного в сторону<sup>4</sup>. Царь Иван Васильевич лжет, уверяя, будто Москва оставалась без обороны, и что если б там была хоть тысяча человек, то столицу можно было бы охранить. Оказывается, что те воеводы, которых царь чернит изменниками и предателями, поспешили оборонить Москву, тогда как царь бежал в Ярославль. Девлет-Гирей не взял Москвы: она сгорела во время его приближения к ее стенам, сгорела от смятения и беспорядка, возникшего именно вследствие того, что царь оставил ее в такое страшное время неприятельского нашествия. Хан все-таки отступил от нее, потому что русское войско готово было сразиться с ним. Понятно, что царю надобно было себя как-нибудь выгородить, а воевод обвинить; если бы из своих никто не осмелился упрекнуть его в глаза, то все же самолюбие его сильно страдало, когда он воображал, что другие считают его трусом, да и перед самим собой ему делалось стыдно. Одно ему было спасение — измена других. Измена действительно была. Но какая? Некто Кудеяр с пятью детьми боярскими, да после него двое новокрещеных татар прибежали к хану, извещали его о бедствиях в Московском государстве, о том, что там уже два года сряду была меженина (голод) и мор, что царь многих побил в опале, что большая часть войска в Ливонии, а близ Москвы его немного, что теперь-то наступило самое удобное время напасть на Русскую землю. Этот Кудеяр был, во-первых, сам татарин, а во-вторых, разбойник: таким называет его в своем письме к хану сам царь; и в народной памяти сохранилось это имя в звании разбойника. Достоинo замечания, что во многих местах Великой Руси осталось предание о татарине-разбойнике Кудеяре; там и сям указывают даже на следы пещер, где жил или проживал Кудеяр, на курган, где он погребен. Народная фантазия представляет его необыкновенным силачом и

волшебником; говорят, что много бед приняли от него русские, пока победили. Кудеяр Тишенков, называемый в письме царя к хану разбойником, вероятно, одно и то же лицо с татаринoм-разбойником народных преданий под именем Кудеяра. Из этого оказывается, что хану Девлет-Гирею во время похода его к Москве в качестве изменников помогала разбойничья шайка под начальством татарина, а может быть, и вообще составленная из татар, хотя бы и крещеных; нередко крещеный татарин долго оставался с татарскими симпатиями и, при случае, готов был выказать себя враждебно по отношению к Руси. Таким образом, о двух изменниках, в то же время подговаривавших хана и служивших ему проводниками, Иване Урманове и Степанке, мы положительно знаем, что они были новокрещеные татары. Более чем вероятно, что главный коновод этой измены, Кудеяр, был татарин и помогал татарам по симпатии, какую питал к ним как к своим землякам, да притом он, как разбойник, более, чем всякий другой, был способен на дело, вредное тому краю, где жил. Такого рода измена была вполне естественна, но царю Ивану она не годилась: ему нужно было измены не какого-нибудь разбойника, а людей знатных и начальствующих, измены боярской и воеводской. И вот он выдумал такого рода необходимого для себя измену: он взял с одного из воевод, Мстиславского, клятвенную запись с признанием в измене. Мы не знаем, один ли только Мстиславский давал тогда такую запись или, быть может, то же самое взято было и с других воевод, а потому можем судить только об одной, и по этой одной делать заключение о всем деле. В своей клятвенной записи князь Мстиславский говорит, что он "православному христианству и всей Русской земле изменил, навел есми с моими товарищами безбожнаго Девлет-Гирея крымскаго на святых православных церкви" и пр. Вместе

с тем с некоторых бояр взяли за него, Мстиславского, поручную грамоту, чтоб ему никуда не убежать, а за этих бояр взяли поручную грамоту с других лиц.

Может ли быть какое-нибудь вероятие в измене Мстиславского и оговоренных его товарищей воевод, начальствовавших разом с ним в войске, выставленном против татар? Если Мстиславский был действительно изменник, то как он мог оставаться по-прежнему близ царя цел и невредим? Мы видим, что Мстиславский, сознавшись в измене отечеству, на другой же год ездил с царем в Новгород, а потом воевал в Ливонии. Чем же представляется сам царь, допуская сидеть у себя в совете и начальствовать войском человеку, умышленно предавшему отечество врагам, виновнику страшного московского пожара и гибели людей, которых число преувеличивали до 800 000? Неужели есть возможность человеку, принужденному сознаться в таком ужасном преступлении, где бы то ни было, в какой бы то ни было стране, не только оставаться без казни, но даже пребывать с высшими почестями? А товарищи, на которых Мстиславский указывает как на соучастников своего преступления, кто они и что с ними стало? Это, без сомнения, воеводы, начальствовавшие в одном и том же войске, где Мстиславский был воеводой правой руки. Ближайший его товарищ, второй по нем воевода правой руки, был Иван Васильевич Шереметев Меньшой; мы видели, что царь обвинял его, как будто еще живого, уже тогда, когда его не было на свете; но такое обвинение не имеет основания. Главным воеводой в том войске, где был Мстиславский, был князь Иван Дмитриевич Бельский: по разрядным книгам он значится убитым в приход Девлет-Гирея к Москве, а по известию летописи, он задохся во время пожара в погребе, в своем дворе. Если бы он был изменник, едва ли бы он поспешил защищать от крымцев покинутую царем столицу.

Надеемся, что никто не станет чернить клеветою ни князя Михаила Воротынского, впоследствии одержавшего победу над крымцами на берегах Лопасни, ни Ивана Петровича Шуйского, геройски защищавшего Псков против Батория. В 1570 году, во время нашествия Девлет-Гирея, первый начальствовал передовым, второй — левой руки полком. Нельзя также подозревать в измене воеводу сторожевого полка князя Ивана Андреевича Шуйского; он оставался в чести и был убит в 1573-м в сражении в Эстонии. Бывший товарищем князя Воротынского в передовом полку, князь Петр Иванович Татев, самым царем Иваном впоследствии возведен был в сан окольничего, а потом боярина. Товарищ князя Ивана Петровича Шуйского, Михаил Яковлевич Морозов, пострадал от царя Ивана Васильевича, но сравнительно уже поздно, вместе с князем Михаилом Воротынским в 1577 году, следовательно, не за измену в 1571-м. Таким образом, все лица, которых огулом царь обвинял в измене, из которых, сколько нам известно, один князь Мстиславский сознался в измене и оговорил в том же преступлении своих товарищей, все эти лица остались без наказания, участвовали в государственных делах, начальствовали войском, находились в царском совете и получали от царя повышения. Вслед за нашествием Девлет-Гирея казнены были, в числе других лиц, князь Михаил Темрюкович Черкасский, шурин царя, и Василий Петрович Яковлев; люди эти были во время нашествия крымского хана воеводами в том войске, которое находилось вместе с царем. Но по всему видно, что казнь их имела другой повод и связана была, как справедливо полагал Карамзин, с болезнью и скорой смертью новой царской жены Марфы Собакиной, а никак не произошла по каким-нибудь обвинениям в предательских сношениях с Девлет-Гиреем во время его нашествия,

тем более что казнь эта в то же время постигла лиц, не участвовавших в отражении крымского нападения. Во всяком случае, жалуясь литовскому посланнику на измену своих воевод, царь ясно разумел тех, которые находились в выставленном впереди войске, где главным воеводой был князь Иван Дмитриевич Бельский. Царь говорит, что воеводы, которые пред ним *впереди шли*, не дали ему знать о приближении крымского хана и не хотели вступить в битву, что он был бы доволен, если б они, потерявши несколько тысяч человек, прислали ему хоть бы одну татарскую плеть. Не подлежит ни малейшему сомнению, что царь Иван разумел здесь именно тех воевод, в числе которых был признавшийся в измене князь Мстиславский, а не тех, которые окружали тогда самого царя. Между тем, не церемонясь с другими, царь, однако, не наказывал тех, кого чернил пред иноземцами как государственных изменников. Иван лгал, говоря, что если после крымского прихода кто и был казнен, то за свою вину. Из тех, кого он чернил по поводу нашествия Девлет-Гирея, никто казнен не был.

Ясно, что тиран, для оправдания своей трусости, выдумал измену и обвинял других. Но в таком случае, отчего же он прямо не казнил тех, которых обвинял, и отчего, взяв с Мстиславского запись с сознанием измены, совершенной вместе с товарищами, оставил в прежнем сане и Мстиславского и его товарищей? Как объяснить такую несообразность?

Мы думаем, что не ошибемся, если объясним это следующим образом.

Царь Иван в это время сильно трусил, но он трусил не только хана и его татар, он трусил и своих подданных. В самом деле, как ни покорна была погруженная в рабство масса, но всему есть предел, и она при своей покорности иногда теряла терпение и проявляла свое неудовольствие диким, кровавым образом. Иван помнил первый москов-

ский пожар, после которого пострадал от народа царский дядя Глинский, и сам царь подпал влиянию ненавистного Сильвестра. Он мог опасаться от народа волнения, подобного прежнему, и предметом народной ненависти, естественно, должен был на этот раз сделаться сам царь, постыдно оставивший свою столицу в минуту опасности и думавший только о себе, а не о своих подданных. С народной толпой уже не может справиться никакое самовластие, если только она протрет себе глаза и потеряет терпение. И вот царь Иван Васильевич задумал обеспечить себя от этой стороны. Он обвинил своих воевод, но потребовал от них сознания в их вине, а за то обещал помиловать и простить. Повторяем, нам не известно, давал ли еще кто-нибудь, кроме Мстиславского, такую своеобразную запись, какую дал последний; но, если бы и существовала только одна, которая до нас дошла, все равно Иван имел уже, на случай народного волнения, вместо себя козла отпущения: он выдал бы его народу для утоления народной досады, да не пожалел бы также и других товарищей Мстиславского. В таких видах Ивану Васильевичу гораздо подручнее и выгоднее было не казнить обвиненных, а оставить их целыми и невредимыми и беречь их на случай, когда можно будет ими заместить самого себя. Вот, по нашему мнению, разгадка такого странного и непонятого документа, как запись Мстиславского, в которой этот князь добровольно сознается в государственной измене, оставаясь после того полководцем и государственным человеком. Но царю Ивану Васильевичу пригодился тот же способ взваливания своих царских грехов на воеводские плечи и для оправдания себя пред иностранцами. Он чувствовал за собой бесславию как трусости, так и жестокости; ему досадно было, что за рубежом его государства писали и говорили о его пороках, всего более он злился за то на своих беглецов вроде Курбского;

царю бы хотелось уверить всех, что на него наговаривают напраслину, а не представляют его поступков в настоящем их виде. Когда литовский посланник явился к нему с предложением желания некоторых избрать его королем, первым делом царя Ивана было объявить литвину, что московский царь не трус и не мучитель, а человек очень хороший, и вместе с тем очернить своих слуг.

Нельзя приписывать личной мудрости царя Ивана высказанное им много раз сознание права на возвращение русских земель как древнего достояния державы, имевшей название Русской и хотевшей быть всерусской пред целым миром. То же говорилось и предшественниками Ивана; этому надлежало повторяться из уст его преемников — то было прирожденное стремление Москвы. Но отношения царя Ивана к Польше и Литве были иные и исключительные; его предшественники не бывали в таком положении, как он. Прекращение Ягеллоновой династии не только открывало новый путь будущности соединенной державы Польши и Литвы, но должно было отразиться важным влиянием на историю всего севера Европы. Была известная партия, желавшая избрать в короли принца из Московского дома, но была партия, искавшая, напрогив, таких связей, которые бы вели к враждебным отношениям с Москвою. В чем же состояла задача московского царя? Воспользоваться обстоятельствами и стараться повернуть их как можно лучше для московской державы, и, разумеется, так или иначе, но возможно ближе к заветной цели.

Царь Иван Васильевич показал в этом случае неуменье и сделал так, как только можно было сделать хуже для Москвы.

Сначала приехал посланником в Москву Воропай и привез желание многих избрать на престол Речи Посполитой царского сына Феодора. Царь Иван Васильевич не желал давать в ко-

роли Польше и Литве сына, а предлагал самого себя. Несомненно, что ему очень хотелось получить корону, хотя избрание Феодора, во многих отношениях, могло бы совершиться гораздо легче, чем избрание самого царя. Но как же поступал в этом случае царь Иван? Получив согласие и выслушав от царя апологию своих поступков, Воропай уехал. Прошло потом полгода. Иван не старался подвигать этого вопроса к разрешению в пользу своей державы никоим образом. У него не было ни искусных послов на сейме, не развязал он своей скупой московской калиты на подарки; а между тем ловкий француз Монтлюк расположил своим красноречием и обещаниями поляков в пользу дома Валуа. Во второе посольство к царю, которое возложено было на Михаила Гарабурду, царь явно гневался за медленность поляков и литовцев и на этот раз уже не торопился с прежним жаром сделаться польским королем, говорил ни то ни се: то соглашался отдать полякам в короли сына, но не иначе как наследственно<sup>5</sup>, то сам себя предлагал в короли, и также наследственно, то заявлял желание быть выбранным на литовский престол без польской короны, то, наконец, вовсе не желал, чтоб у поляков и литовцев был королем он, московский царь, или его сын, а рекомендовал принца из Австрийского дома. Понятно, что дело обратилось совсем в противную сторону и на польский престол избран был французский принц; совершилось такое избрание, насчет которого царь Иван Васильевич предупреждал литовского посла, что если оно состоится, то ему, царю, над Литвою промышлять. Но избранный на польский престол Генрих д'Анжу, как известно, скоро убежал из Польши; тогда хотели снова избрать короля из Московского дома и притом уже прямо самого царя Ивана, следовательно, хотели сделать то, чего желал Иван в самом начале и о чем

заявлял Воропаю; партия за него была немаловажная, особенно в Литве, Волыни и других русских землях; примас королевства Яков Уханский был его горячим сторонником и подавал царю советы, как склонить тех и других влиятельных панов. Иван Васильевич не воспользовался этим советами; ему хотелось получить польскую корону, но жаль было издержек для этой цели; он не решался поступить ни тем, ни другим образом, он более всего боялся, чтоб ему как-нибудь не унизиться и не сделать какого-нибудь шага, недостойного того сана, которым он величался, хотя постоянно, во всю свою жизнь, делал это. Теперь он опять и еще сильнее благоволил к избранию на польский престол принца из Австрийского дома. Дело в Польше окончилось тем, что при нерешительности и бездействии московского царя партия, ему враждебная, взяла перевес и был избран королем Стефан Баторий. Тогда, пропустив удобное время, московский государь начал заявлять свое неудовольствие, не хотел называть новоизбранного короля братом, а называл только соседом, требовал, как уже вошло в Москве в обычай, Киева, Витебска, Канева, то есть русских земель, присоединенных к польско-литовской державе, и даже изъявлял притязание, что со смертью Ягеллонов вся польская корона и Великое княжество Литовское по праву делаются вотчиною московских государей. Что же было последствием таким несвоевременных заявлений? Иван Васильевич навлек на себя несчастную войну, потерял все сделанные им прежде приобретения на западе и перенес великое нравственное унижение.

Избрание на польский престол либо самого Ивана, либо его сына непременно совершилось бы, если б сам Иван не помешал этому своим колебанием, скупостью, пустым высокомерием и вообще неумением вести дело. Мы не будем сожалеть, что не случилось именно того, что могло случиться, уже потому,

что не решимся положительно утверждать, чтоб это послужило к пользе Русской земли в будущем<sup>6</sup>. Но несомненно, что Иван не руководился какими-либо глубокими соображениями о последствиях в будущем и не показал ни малейших следов той мудрой политики, которая бы клонила к тому, чтоб тем или другим способом дело в Польше окончилось к пользе московской державы. Все его речи и поступки показывают, что он действовал по впечатлениям, по тем или другим страстным движениям, а никак не по разумному плану. Его благоволение к избранию на польский престол принца из Австрийского дома не показывает в нем прозорливости. Допущение в Польшу этой династии было бы вовсе не выгодно для Московского государства, и, вероятно, если б оно совершилось, то повело бы к худшим последствиям, чем те, которые произошли тогда вразрез с желаниями царя Ивана<sup>7</sup>.

Обозревая круг литературной и умственной деятельности царя Ивана Васильевича, мы считаем излишним коснуться и его препирательства с Антонием Поссевином, тем более, многие что по этому поводу готовы изумляться уму, остроумию и сведениям московского государя.

Хитрый иезуит, преследуя давнюю цель римского первосвященнического престола, приискивал средства подвинуть вопрос о соединении церквей или о подчинении русской церкви папе, и для этого хотел вызвать московского государя на спор о вере. Он, очевидно, надеялся, с одной стороны, на свою ученость и ловкость, с другой — на невежество своего противника и на его неумение вести подобные состязания. Сначала царь уклонялся от такого вызова. "Если нам с тобою говорить о вере, — сказал он, — то тебе будет нелюбо. Нам без митрополита и освященного собора о вере говорить не пригоже. Ты поп и от

папы прислан; ты поэтому и говорить дерзашь, а мы не умеем об этом говорить без митрополита и освященного собора".

Нельзя не сознаться, что такая речь была благогазума.

Но были ли эти слова произнесены по собственному побуждению? Не были ли они, скорее, выражением взгляда, так сказать, общего Москве и подсказанного царю боярами?

Полагаем последнее. Это видно из того, что после произнесения этих слов Иван, в противность их смыслу, вступил в состязание с иезуитом.

Очевидно, сказавши то, что слышал от других и что ему понравилось с одной стороны, Иван не мог утерпеть и преодолеть своей склонности к разумничанью и богословствованию; он выступил на состязании против ученого иезуита с запасом своих знаний и с силами своего ума. И здесь-то он показал, какова у него была "огромная начитанность и логичность изложения".

"Ты говоришь, Антоний, — сказал иезуиту московский царь-богослов, — что ваша вера римская с греческою одна вера: и мы веру держим истинную христианскую, а не греческую; греческая словет потому, что еще пророк Давид пророчествовал до Христова Рождества за много лет: от Ефиопии предварит рука ея к Богу, а Ефиопия то место, что Византия, что первое государство греческое в Византии".

Таким образом, царь Иван, читая священное Писание, получил такие представления, что Ефиопия стояла на том месте, где была Византия, и относил к последней то, что сказано было о первой!

Далее царь Иван показал, что он знает о важном вопросе разъединения церквей и как понимает его.

Конечно, от человека с большой начитанностью и со светлым умом, человека, каким хотя и представлять царя Ивана его апологисты, можно и



должно было ожидать, что, решившись вступить в спор о различии вер восточной и западной, он прежде всего укажет на те главные черты, которые составляют существенную сторону этого различия. Вышло противное. Царь Иван не вступает с Поссевином в прение о главенстве папы, не доказывает ни смыслом св. Писания, ни церковной историей несправедливости притязаний римских первосвященников на абсолютную власть в делах веры, не касается прибавления к символу веры слов *и от Сына*, составляющего догматическое различие церквей, не говорит о противном буквальному смыслу слов Христа Спасителя причащении св. Тайн под одним видом, не знает или знает не хочет ни чистилища, ни обязательного безженства священников: обо всем этом царь Иван не произнес ни одного намека. Он знает, что "римская церковь с нашею верой христианскою во многом не сойдется". Но в чем же она не сходится, по его понятиям? "Видим, — московский государь говорит иезуиту, — у тебя бороду подсечену, а бороды подсекать и подбривать не велено, и не попу, и мирским людем, а ты, римской веры поп, а бороду сечешь?"

Так вот в чем, по взгляду московского государя, различие веры? Вот что отделяет римскую веру от "истинной христианской"! Не напоминает ли это упорного простолюдина-раскольника последующих времен, не решающегося есть и пить вместе с "скобленным рылом" и поставляющего сущность христианского благочестия в соблюдении старинных обычаев?

«Но Иван, — возразят нам, — беседуя с иезуитом, оговорился, заявив ему, прежде замечания о бороде, что ему известны различия вер, гораздо важнейшие („мы больших дел говорить с тобою о вере не хотим, чтоб тебе не в досаду было")». Следовательно, Ивана нельзя подозревать в круглом невежестве относительно раз-

личия восточной и западной церквей. Не следует ли, скорее, заключить, что царь Иван, сознавая заранее бесполезность толков о вере, хотел отстраниться от них, а сделал вскользь замечание, которое имело вид некоторой иронии? Правда, из слов Ивана мы видим, что у него было какое-то смутное понятие о существовании более важных различий в вере, чем "подсечение" бороды, но отчего он не коснулся их? Он говорит Антонию: "...чтоб тебе в досаду не было". Но отчего Антонию могло быть досаднее, если б царь заговорил с ним о принятии св. Даров под одним видом, а не было досадно, когда он с ним толковал о бороде? Если царь Иван видел бесполезность всяких споров о вере и хотел решительно от них уклониться, то ему не следовало уже касаться ровно ничего; его замечание насчет бороды ровно ни к чему не могло повести и вызвало только у Антония ответ, который пресекал всякие дальнейшие толки о бороде. "И Антоний перед государем говорил, что он бороды ни сечет, ни бреет". Этим ответом, устраняя самый предмет разговора из области религиозных вопросов, куда хотел ввести его московский государь, иезуит, так сказать, одурачил последнего, указав ему, с одной стороны, что предмет этот может касаться только личных свойств человека и никак не относится к области веры, а с другой — что царь настолько глуповат, что не может распознать подстриженной или выбритой бороды от небритой и неподстриженной. Не проще ли объяснить замечание, сделанное Иваном насчет бороды, тем, что царь, зная плохо сущность предмета той беседы, на которую вызывал его иезуит, не решился вдаваться в эту беседу, чтобы по причине собственного неведения не стать в тупик и не прийти в такое состояние, когда поневоле придется согласиться с противником, не в силах будучи опровергать его доводами. Плохо же он был подготовлен к возможности вести спор с ду-

ховным западной веры о религиозных недоразумениях, потому что он, как вообще большинство русских и того времени, и других времен, мало интересовался высшей стороной религии, а прилеплялся только к внешним ее признакам. Кто знаком с историческим развитием русского благочестия, кто наблюдал над его настоящим проявлением, тот, вероятно, согласится с нами, что русский благочестивый человек очень часто не только не знает церковной истории и св. Писания, но совершенно равнодушен к желанию узнать их; даже чтение и слушание св. Евангелия (во время богослужения оно важно для него только как часть обряда) не составляет любимого занятия благочестивого человека; зато он углубляется в мельчайшие подробности богослужения, в правила, касающиеся разных внешних проявлений благочестия, читает или слушает с удовольствием повествования о подвигах святых, о их борьбе с бесами, поучения, относящиеся преимущественно к монашескому житию или к соблюдению разных приемов, приближающих человека, хотя бы внешним только образом, к монашескому идеалу. Таков был и царь Иван, и в этом отношении он был сын своей страны и своего народа. Он, как показывают его послания в Кирилло-Белозерский монастырь, читал аскетические поучения Иларiona и других отцов; монашеское звание было для него идеалом христианского благочестия; он мечтал сам некогда отречься от мира и постричься: он даже выговаривал себе это право на будущее время у поляков, когда ему представлялась возможность быть польским королем; он знал и любил богослужение до того, что сам основал у себя подобие монастыря; он исполнял положенные церковью правила, строго соблюдал посты и пришел в ужас, когда псковский юродивый предложил ему кусок мяса в великий пост; совершая ужаснейшие злодеяния, Иван Васильевич калялся, называл себя,

ради смирения и сердечного сокрушения о содеянных грехах, псом и другими унижительными названиями; он заботился о спасении душ тех, которых сам лишал жизни преждевременно, посылая за упокой их милостыню по монастырям и вписывая их имена в синодики. Одним словом, Иван был очень благочестивый человек своего века; но его благочестие было слишком дюжинное; Иван ни на волос не был выше рядовых благочестивцев своего времени. Он мало занимался такими вопросами, как сущность различия церквей, для чего требовались знания — исторические и догматические; он обращал свое благочестивое настроение совсем к другой стороне религии. Его взгляд был ничуть не шире взгляда тех, которые считали важнейшим вопросом веры вопрос о рошении или пострижении бороды; над такими вопросами он задумывался: они его интересовали более других; в той сфере, которой касались подобные вопросы, он был знаток, а потому-то с ними он смело выступал против иезуита. То же сделал бы на его месте всякий другой русский дюжинный благочестивый человек. Ясно, что в беседе с Антонием Поссевином царь Иван Васильевич не показал себя человеком с особенно светлым умом, широтою взгляда и умственным превосходством пред своими современниками. Мы думаем, что если б царь Иван Васильевич был замечательно умным человеком, то, находясь в таком положении, в каком был поставлен относительно иезуита, он бы совершенно устранился от всяких препирательств и, раз объявивши ему, что не станет толковать с ним о вере, твердо стоял бы на этом, не поддаваясь искушению показать перед чужеземцем свое разумничанье.

Второе замечание, сделанное московским царем папскому послу, было более к стати, чем первое. Царь Иван Васильевич говорил: "Сказал нам наш паробок Истома Шевригин, что папа Григорий

сидит на престоле, и носят его на престоле, и целуют его в ногу в сапог, а на сапоге у папы крест, а на кресте распятие Господа Бога нашего; и только так, ино пригоже-ль дело? И в том первом, вере нашей христианской с римскою будет рознь. В нашей христианской вере крест Христов на враги победа, и поклоняемся древу честнаго креста, и чтим и почитаем, по преданию святых апостол и святых отец вселенских соборов; у нас того не ведется, чтобы крест ниже пояса носить, также и образ Спасов и Пречистыя Богородицы и всех святых богоугодивших ставить так, чтоб на образ зрети душевными очима, возвышающе на первообразное, а в ногах ставити не пригоже. Также и престолы делают по церквам в груди человеку, что ниже пояса всякой святыни быть не пригоже. А то у папы Григория делается через устав святых апостол и святых богоносных отец вселенских седми соборов, и то от гордыни такой чин уставлен”.

Здесь, хотя также идет дело не о сущности религии, а только об обычаях, по крайней мере об обычаях действительно религиозных, исключительно относящихся к внешнему благочестию. Обычай, на который нападал московский государь, явно указывал на такое высокомерие, которое трудно согласить с духом христианского смирения. Но хитрый иезуит старался предмету спора дать такой оборот, что сам царь Иван оказывался, в отношении своей особы, до некоторой степени с такими же требованиями уважения, какие западная церковь предъявляла для своего видимого главы. Сказавши, что папа есть всем государям отец и учитель, сопредстольник св. Петру и пользуется честью от немецкого императора, испанского короля и других европейских монархов, Антоний поставил в параллель с уважением, подобающим папе, уважение, подобающее московскому царю. ”Ты, государь великий в своем

государстве и прародитель твой в Киеве был великий князь Владимир, и вас государей как нам не величать и не славить и в ноги не припадать!”

Так говорил иезуит и с этими словами поклонился низко московскому государю.

Этими знаками раболепства не удалось иезуиту убедить московского государя признать справедливость целования ног папе, но он заставил его высказать на этот раз свою душевную догматику о безмерной власти самодержавного государя.

”В нашей царской державе, — сказал царь, — и всех великих государей братии нашей нас пригоже почитать по царскому величеству, а святителем всем апостольским ученикам должно смирение показывать, а не возноситься и превьше царей гордостью не обноситься”.

Вот где главная причина, почему спорить о вере было бесполезно! Иван договорился до нее, до этой причины! Если мы оспариваем мнение о его начитанности, широте взгляда, умственном превосходстве над современниками, то никак не отрицаем в московском государе твердости принципа самодержавной власти. Об этот принцип разбивались всякие попытки римского двора, всякие козни Исусова ордена! Как мог согласиться на какое бы то ни было соединение с римской церковью, а следовательно, на какое бы то ни было подчинение папе государь, которого воля была превьше всего, который, по своему желанию, возводил и низводил архиереев, ругался над ними, травил собаками, который заставил освященный собор нарушать в отношении царской особы канонические правила, обязательные для всякого православного? То, что он слышал от Шевригина, коробило его: церковная власть присвоивала себе знаки величия, подобные тем, которые он мог признать только за царской! Церковная власть хочет быть вышше царской! Этого Иван Васильевич никак не мог переварить!

Нам могут сделать такого рода замечание: Иван Васильевич много сделал для утверждения самодержавия на Руси; он довел его до высшей степени; разве тут не нужно было особых способностей и большого ума?

Мы предвидим такое замечание и потому заранее отвечаем на него. Иван Васильевич находился в такой обстановке, что для усиления самодержавной власти и доведения ее до высшей степени в том виде, как он понимал ее, не нужно было государю ни особых способностей, ни большого ума, напротив (как это с первого взгляда ни покажется странным), недостаток того и другого только помогал достижению цели. Вообще преследовать одну цель и склоняться к ней все поступки и стремления не есть признак большого ума, так как упрямство не есть признак силы воли и характера. Там, где должна происходить борьба, где нужно изыскивать меры к одолению противных стихий, там необходимы и сильный ум, и крепкая воля. Но какого рода борьба предстояла царю Ивану? Мы видели тех, которые могли казаться в качестве его противников. Какой принцип проводили они, когда захватили временно власть в свои руки? Они считали царя своего глупым, неспособным к управлению, находили, что он поэтому должен слушаться умных советников. Но эти люди не думали такого временного положения дел превращать в постоянное на будущие времена, не пытались обеспечить его никаким законным учреждением, не стремились устроить так, чтоб верховный глава Московского государства всегда находился в необходимости советоваться с другими и подчинять свой произвол голосу своих советников. Кружок, сложившийся около Сильвестра и овладевший правлением государства, вовсе не имел признаков того кружка, который при вступлении на престол императрицы Анны Ивановны хотел ограничить самодержавную власть. Правда, эти люди помнили, по преданию,

что прежние московские государи слушались во всем совета своих бояр, и такое же положение, какое имели некогда их предки, хотелось и им приобрести для себя при царе Иване Васильевиче, и они приобрели его, не вследствие каких-нибудь дружных стремлений, а случайно, по стечению обстоятельств, но они не думали и не прискивали средств упрочить его и потому легко потеряли; они не противодействовали царскому гневу, и только Курбский бежал и изливал свою досаду в письмах к царю. Все прочие покорно подчинились тяжелой судьбе своей. Время, в которое они жили, было уже не то, что время их предков. Когда московские государи нуждались в боярах, опирались на них, и бояре нуждались в великих князьях: между ними борьбы не могло быть, поддерживалось взаимное расположение; если когда великий князь и положит опалу на какого-нибудь боярина, то было дело, касавшееся одного последнего, а не других; поступив круто с той или другой личностью, государь все-таки держался бояр как сословия и сообразовывался с их советом — без бояр он был слаб. В XVI веке стали совсем иные условия. Верховная власть уже слишком окрепла и не нуждалась в боярах настолько, чтобы угрожать им. За самодержавие была масса народа, а против этой силы что могли сделать попытки каких-нибудь десятков личностей, хотя бы и знатных и влиятельных?

Царь Иван рубил головы, топил, жег огнем своих ближних слуг: народ не роптал, не заявлял ужаса и неудовольствия при виде множества казней, совершаемых часто всенародно. По этим признакам нельзя ли заключить, что царь Иван делал народу угодное, поражая аристократов, которых народная громада не любила? Это предположение тем легче допустить по аналогии, когда история представляет нам множество примеров, что тиранские поступки государей над знатными особами принимались с одобрениями народом, но это было бы само-

обольщением с нашей стороны. При Иване Васильевиче было совсем не то. Народ безмолвно и безропотно сносил злодеяния в Новгороде, где гибли не одни знатные люди. Опричнина свирепствовала над всеми. После падения Сильвестра и его друзей мы не видим, чтоб царь Иван, преследуя знатные роды, делал какие-нибудь благодеяния народной массе; напротив, состояние народа было очень тяжело уже по причине жестоких войн, за которые ученые историки восхваляют царя Ивана. Причину безучастия народа скорее следует искать в общем качестве масс, привыкших к повиновению. Вообще казни и всевозможные злодеяния, совершаемые верховной властью над отдельными личностями или даже фамилиями, очень редко возбуждают негодование народной громады и еще реже могут довести ее до каких-либо действий, имеющих смысл угрозы и опасности для верховной власти. Всякий член этой громады, видя то, что совершается над его собратом (если этот собрат, в частности, не близок ему), не чувствует на себе чужой беды, а скорее боится, чтоб с ним не случилось того же, и потому съезживается и хочет казаться как можно покорнее и смиреннее. Поэтому совершение казней может часто иметь только полезное действие для самовластия: народ приучается к большому повиновению и безгласности; толпа уважает грозную и страшную власть, благоговевает пред нею — от этого царь Иван не получил в народе названия мучителя; народ нарек его только грозным царем.

Совсем иною заявляет себя та же видимо-безгласная громада, если ее постигнет такая беда, которая в равной степени будет поражать каждого, принадлежащего к ней. Тогда негодование народа при первом удобном случае может разразиться бунтом. Понятно, что тогда каждый, обращаясь со своим горем к своему собрату, встречает и у последнего такое же горе:

эта взаимность, это единство горя соединяет, сплочает разрозненных членов народной громады, и громада поднимается, руководимая одними для всех побуждениями и стремлениями, тогда как, напротив, если беда постигает только некоторые личности, то те, которых эта беда не коснулась, прежде всего ответят на жалобы своих собратьев: а нам что за дело? Вот почему московский народ, безгласно и безропотно смотревший на варварские казни, совершаемые царем, взбунтовался во время московского пожара, поразившего слишком многих одинаким для всех бедствием, посягнув на царского дядю, да и самому царю угрожала тогда опасность. Подобное могло случиться и после нашествия Девлет-Гирея, и недаром боялся этого царь Иван Васильевич. На счастье ему, этого не случилось, быть может, оттого, что недавние казни и избиения нагнали на всех такой ужас, что недоставало смельчаков заговорить к народу.

Как бы то ни было, народ смотрел безропотно на все, что делал царь Иван Васильевич; жертвы не сопротивлялись; ему собственно не с кем было вести борьбу. Царь делал все, что хотел, не стеснялся ничем: ни нравственными убеждениями народа, ни верой, ни человеческими чувствами — власть самодержца в лице его была превыше всего, но она, в сущности, и без того была уже сильна... царь, можно сказать, только сделал пробу, точно ли она так сильна, — и проба вышла удачной. Все, что, как казалось царю Ивану, могло хотеть поставить предел произволу, было уничтожено, без борьбы, без противодействия. Но для этого не нужно было царю Ивану большого ума; достаточно было самодурства — цель достигалась лучше, чем могла быть достигнута умом.

Этим и закончим нашу характеристику личности царя Ивана Васильевича.

Наш взгляд, как могут видеть читатели, в своем основании не заключает ничего нового. Мы старались только развить и защитить сложившееся под пером Карамзина и господствовавшее у нас мнение о сумасбродном тиране,

которого новейшие историки, постепенно поднимая, дотянули уже до того, что указывают в нем идеал не только для Руси, но для целого славянского племени.

---

## О следственном деле по поводу убийства царевича Димитрия

Вопрос о смерти царевича Димитрия и о виновности Бориса Годунова в этой смерти сдавался не раз в архив нерешенным и снова добывался оттуда охотниками решить его в пользу Бориса. Никому этого не удавалось, хотя, конечно, в свое время авторам защиты казалось иное.

Недавно в "Журнале министерства народного просвещения"<sup>8</sup> появился пространный разбор следственного дела, произведенного некогда Василием Шуйским с товарищами в Угличе, написанный Е.А.Беловым, опять с целью внушить доверие к этому следственному делу. Таким образом, старый вопрос, о котором толковали в нашей литературе назад тому около 40 лет, снова вносится на суд отечественной истории. Постараемся высказать наши замечания относительно следственного дела; это для нас необходимо, тем более что в той же статье нам делают упрек за то, что в сочинении "Смутное время" мы не останавливались над этим делом и не придавали важности известиям, заключающимся в этом деле.

Следственное дело, известное в неполном виде по редакции, напечатанной в "Собрании Государственных Грамот и Договоров", никак не может для историка иметь значения достоверного источника по той очень ясной причине, что производивший следствие князь (впоследствии царь) Василий Иванович Шуйский два раза различным образом отрекался от тех выводов, которые вытекали непосредственно из его следствия, два раза обличал самого себя в неправильном производстве этого следствия. Первый раз — он признал самозванца настоящим Димитрием, следовательно, даже уничтожал факт смерти, постигшей царевича в Угличе; другой раз — он, уже низвергнувши и побив-

ши названного Димитрия, заявлял всему русскому народу, что настоящий Димитрий был умерщвлен убийцами по повелению Бориса, а не сам себя убил, как значилось в следственном деле. С тех пор утвердилось и стало господствовать мнение, основанное на последнем из трех показаний Шуйского, который во всяком случае знал истину этого события лучше всякого другого. Понятно, что следственное дело для нас имеет значение не более как *одного из трех* показаний того же Шуйского, и притом такого показания, которого сила уничтожена была дважды им же самим. Поэтому-то в нашем сочинении "Смутное время" мы не давали никакой веры, ни историческому значению известиям, заключающимся в этом деле, как бы ни казались они важными по содержанию.

Главнейшая ошибка защитников Бориса состоит в том, что они верят этому делу, опираются на приводимые из него показания, допускают тот или другой факт единственно на том основании, что находят об нем известие в следственном деле, тогда как если что-нибудь можно признавать в этом деле достоверным, то разве по согласию с чем-нибудь другим, более имеющим право на вероятие. Находя в следственном деле показание того или другого лица, защитник принимает его прямо за свободно произнесенный голос того лица, кому оно приписывается в следственном деле; забывая, что тот, кто сообщил нам показания в следственном деле, сам же признал их лживость или поддельность. Так, например, можно ли показание, данное будто бы детьми, игравшими с царевичем, о том, что царевич зарезался сам, принимать за искреннее показание этих детей, когда тот, кто передал нам это показание, впоследствии объяснил, что царевич не сам зарезался, а был зарезан? Скажут нам: Василий лгал тогда, когда уничтожал силу следственного дела, но производил следствие справедливо. Мы на это отве-

тим: если он лгал один раз, два раза, то мог лгать и в третий раз; и если он лгал для собственных выгод после смерти Бориса, то мог лгать для собственных же выгод и при жизни Бориса. Все три показания взаимно себя уничтожают, мы не вправе верить ни одному из них; и, таким образом, все, что исходило от Василия Шуйского по делу об убиении Дмитрия, не имеет для нас ровно никакой исторической важности по вопросу об этом убиении. Поэтому, если желают восстановить силу следственного дела, то должны это сделать на основании каких-нибудь новых свидетельств и источников, которые бы доставили нам сведения, согласимые с известиями, заключающимися в следственном деле, а никак не на основании самого же следственного дела, хотя бы даже при помощи разных психологических соображений, имеющих мало убедительной силы.

Из всех старинных сказаний о смерти царевича Дмитрия мы знаем одно, более всех заслуживающее вероятия, — это повесть в отрывке, которой содержание мы привели в "Смутном времени". А.Ф.Бычков напечатал ее в "Чтениях" Московского общества истории и древностей. Вот что там говорится:

"И того дни (15 мая), царевич по утру встал дряхл с постели своей и голова у него, государя, с плеч покати-лася, и в четвертом часу дни царевич пошел к обедне и после евангелия у старцев Кириллова монастыря образы принял, и после обедни пришел к себе в хоромы, и платьице переменял, и в ту пору с кушаньем взошли и скатерть постлали и Богородицын хлебец священник вынул, и кушал государь царевич по единожды днем, а обычай у него государя царевича был таков: по вся дни причащался хлебу Богородичну; и после того похотел испити, и ему государю поднесли испити; и испивши пошел с кормилицею погуляти; и в седмой час дни, как будет царевич противу церкви царя Константина, и по

повелению изменника злодея Бориса Годунова, приспевши душегубцы ненавистники царскому кореню Никитка Качалов да Данилка Битяговский кормилицу его палицею ушибли, и она обмертвев пала на землю, и ему государю царевичу в ту пору киняся перерезали горло ножом, а сами злодеи душегубцы вскричали великим гласом. И услыша шум мати его государя царевича и великая княгиня Мария Федоровна прибегла, и видя царевича мертва и взяла тело его в руки, и они злодеи душегубцы стоят над телом государя царевича, обмертвели, аки псы безгласны, против его государевой матери не могли проглаголати ничтоже; а дяди его государевы в те поры разъехалися по домам кушати, того греха не ведая. И взяв она государыня тело сына своего царевича Дмитрия Ивановича и отнесла к церкви Преображения Господня, и повелела государыня ударити звоном великим по всему граду, и услышал народ звон велик и страшен яко николи не бысть такова, и стекошася вси народы от мала до велика, видя государя своего царевича мертва, и возопи гласом велиим мати его государева Мария Федоровна плачася убиваяся, говорила всему народу, чтоб те окайные злодеи душегубцы царскому корени живы не были, и крикнули вси народы, тех окайных кровоядцев камением побили" и пр.

Г-н Бычков, издавая этот драгоценный отрывок, заметил: "Сведения, заключающиеся в повести, показывают, что она составлена современником, бывшим близко ко двору царевича или имевшим знакомство с лицами, к нему принадлежавшими. Подробности о том, как царевич провел день, в который совершилось убийство, служат очевидным тому доказательством, а самый рассказ об этом происшествии носит на себе всю печать достоверности. Вообще в целой повести не встречается ни одной черты, которая бы давала возможность заподозрить ее достоверность". Мы вполне соглашаемся с этим приговором; прибавим от



себя еще вот что: почему, например, мы не должны предпочесть этого чрезвычайно правдоподобного сказания следственному делу, исполненному, как ниже покажем, несообразностей и уничтоженному в своей силе тем самым человеком, который производил его? Покажите нам что-нибудь подобное, независимое от следственного дела, но вполне согласное с известиями, заключающимися в последнем, и тогда будете иметь возможность поверять это — более чем сомнительное — следственное дело.

Из приведенного рассказа видно, что убийцы совершили свое дело в некотором отношении ловко. Убийство произошло без свидетелей. Кормилица, ошеломленная ударом, не видала ничего. Убийцы, перерезавши горло ребенку, сейчас начали кричать. О чем они кричали? Конечно, о том, что царевич зарезался сам. Понятно, зачем они ударили кормилицу и каким бы образом они объясняли этот удар впоследствии, если бы остались живы. Они бы, вероятно, сказали, что кормилица не смотрела за царевичем; они увидали, что с царевичем припадок, что у него в руках нож; с досады они ударили кормилицу, сами бросились на помощь к царевичу, но уже было поздно — он мгновенно перерезал себе горло. Им бы поверили, да кормилица, ошеломленная ударом и не видавшая, как они резали ребенка, не смела бы ничего сказать против двух свидетелей. Царица прибежала уже после, услышавши крик, и не видала убийства. Таким образом, не оставалось бы других свидетелей совершившегося факта, кроме тех лиц, которые его совершили.

Что Борису был расчет избавиться от Димитрия, — это не подлежит сомнению; роковой вопрос предстоял ему: или от Димитрия избавиться, или со временем ожидать от Димитрия гибели самому себе. Скажем более, Димитрий был опасен не только для Бориса, но и для царя Федора Ивановича. Димитрию

еще пока был только восьмой год. Еще года четыре, Димитрий был бы уже в тех летах, когда мог, хотя бы и по наружности, давать повеления. Этих повелений послушались бы те, кому пригодно было их послушаться; Димитрий был бы, другими словами, в тех летах, в каких был его отец в то время, когда, найдя себя под властью Шуйских, вдруг приказал схватить одного из Шуйских и отдать на растерзание псарям. Димитрию хуже насолил Борис, чем Шуйские отцу Димитрия Ивану Грозному! Димитрию с детства внушали эту мысль. Все знали, что царь Федор был малоумен, всем управлял Борис; были люди, Борисом недовольные, иначе и быть не могло в его положении; были и такие, которые с радостью увидели бы возможность низвергнуть Бориса с его величия, чтоб самим чрез то возвыситься или обогатиться; и те и другие легко уцепились бы за имя Димитрия; они провозгласили бы его царем, потребовали бы изложения малоумного Федора, заточения в монастырь, куда и без того порывалась душа этого нищего духом монарха. Попытка заменить Федора Димитрием проявлялась уже тотчас после смерти Грозного, когда еще Димитрий был в пеленках, и вследствие этой-то попытки с тех пор держали Димитрия в Угличе. Попытка, наверное, повторилась бы так или иначе, когда Димитрий бы вырос. А что бы случилось с Годуновым, если бы Димитрий стал царем? Понятно, что Борису Годунову было очень желательно, чтобы Димитрий отправился на тот свет: чем раньше, тем лучше и спокойнее для Бориса Годунова.

Защитники следственного дела полагают, что для того чтобы избавиться от Димитрия, Борису нужен был заговор. Но кого и с кем? Борис правил самодержавно, и все, чего хотел он, все то исполнялось как воля самодержавного государя. Заговор мог составляться только против Бориса, а не Борисом с кем бы то ни было. Нужно было, чтоб

Димитрия не было на свете. Для этого вовсе не представлялось не только заговора, но даже и явного, высказанного приказа убить Димитрия; достаточно было Борису сделать намек (хотя бы, например, перед Клешниним, ему, как говорят, особенно преданным), что Димитрий опасен не только для Бориса, но и для государя, что враги могут воспользоваться именем Димитрия, могут посягнуть на помазанника Божия, произвести междоусобие, подвергнуть опасности спокойствие государства и церкви. Если подобные намеки были переданы Битяговскому и его товарищам, назначенным наблюдать в Угличе за царевичем и за его родней, этого было довольно; остальное сами они смекнут. Убийцы могли посягнуть на убийство Димитрия не по какому-нибудь ясно выраженному повелению Бориса; последний был слишком умен, чтобы этого не сделать; убийцы могли только сообразить, что умерщвление Димитрия будет полезно Борису, что они сами за свой поступок останутся без преследования, если только сумеют сделать так, чтобы все было шито и крыто, что их наградят, хотя, разумеется, не скажут, за что именно их наградили. В Московской земле самодержавие стояло крепко; к особе властителя чувствовали даже рабский страх и благоговение; но все такие чувства не распространялись на всех родичей царственного дома. Предшествующая история полна была примеров, когда их сажали в тюрьму, заключали в оковы, морили, душили, потому что считали опасными для верховной особы и для единовластия. И убийц Димитрия не должна была останавливать мысль, что Димитрий принадлежит к царственному роду.

”Но отчего же, — нам возражают, — они не отравили царевича Димитрия ядом? Это было легче и удобнее, чем зарезать”. ”Оттого, — скажем мы, — что вовсе не было так легко и удобно, как кажется с первого взгляда: при

тогдашних нравах, охранители царевича всего более боялись отравления, и против этого рода опасности, конечно, принимались тогда меры”. Кто бы из приближенных решился дать отраву? Нужно было чересчур большой отваги и презрения к собственной жизни, к чему обыкновенно неспособны тайные убийцы. Как бы только яд начал действовать, ребенок указал бы на ту особу, которая давала ему яству или питье, и тотчас принялись бы за эту особу и досталось бы этой особе прежде, чем соумышленники могли бы ее спасти. Путь, какой выбрали убийцы, был вполне удобен и мог увенчаться совершенным успехом, если бы царица не взволновала народа набатным звоном, — только этого последнего обстоятельства убийцы не рассчитали и не предвидели. Они выбрали и время самое подходящее: Нагие ушли обедать, царица была в хоромах, ребенок гулял с одною кормилицей, и кроме ее никого с царевичем не было; кормилицу ударили, чтобы она не увидела того, чего никто не должен был видеть, в тот же момент перерезали горло ребенку, да сами же и стали кричать, что царевич зарезался. Они же и свидетели. Не взволнуйся народ, вся беда обратилась бы на бедную кормилицу, если бы она осмелилась заявить себя против них; свидетельство убийц было бы принято, и было бы им хорошо, и, наоборот, плохо тем, которые дерзнули бы говорить, что царевича зарезали они.

Вышло, однако, не так, как убийцы предполагали. Народ побил их. Весь Углич стал уверен, что они зарезали Димитрия, а между тем не было в Угличе ни одного свидетеля, видевшего убийство. Дошло до Бориса. Борис, конечно, сразу понял, что все это значит: люди, ему преданные, хотели угодить ему, спасти и его, и царя Федора на будущее время, но погибли сами. Событие, неприятное для Бориса, лучше было бы, если б они остались живыми. Теперь во что бы то ни стало нужно было, чтоб

царевич зарезался сам, чтобы были свидетели его самоубийства, иначе, кто бы его ни зарезал, подозрение будет падать на Бориса. Правда, Борис все-таки никому не приказывал убивать царевича; и никто не в силах был сказать на него. Но для Бориса необходимо было, чтобы не оставалось и подозрения. Борис посылает Шуйского на следствие вместе с преданным Борису Клешниным. "Да ведь Шуйский, — говорят нам, — неприязнен Борису? Как же Борис мог выбрать его для такого дела?"

А чего было бояться Борису, когда он никому не давал приказания убивать царевича? Что мог открыть Шуйский такого, что бы повредило Борису? Положим, что Шуйский поехал с желанием повредить Борису. Что же тогда нашел Шуйский на месте? Свидетелей смерти царевича не было. Кормилица могла бы только сказать, что ее так и то ударили и закричали, что царевич зарезался, но ведь сама она все-таки не видела, как его резали. Царица тоже этого не видала: она выскочила из хоров, услышавши крик. Если бы Шуйский представил дело в этом настоящем виде, осталось бы подозрение, но не более. Что же? Разве невозможно было рассеять подозрения? Привезли бы кормилицу в Москву, привезли бы Нагих и под пытками заставили дать те же показания, как мы встречаем в следственном деле, т.е., что царевич страдал припадками падучей болезни, кусался, на людей бросался и в неистовстве сам себя зарезал; и вышло бы то же, что вышло, только Шуйскому после того уже несдобровать, Борис бы не простил ему! Понятно, что Шуйский, как человек хитрый и смьшленный, уразумел, как нужно ему действовать, и Шуйский стал действовать так, чтобы и Борису угодить, и себя спасти на будущее время от беды. Вот что говорит современный летописец об образе действия Шуйского в Угличе:

"Князь Василий со властью при-

идоша вскоре на Углич и осмотри тела праведнаго заклана, и помянув свое согрешение, плакася горько на мног час и не можаше проглаголати ни с кем, аки нем стояше, тело же праведное погребоша в соборной церкви Преображения святого. Князь же Василий начат спрашивать града Углича всех людей како небрежением Нагих заклася сам".

Известие летописца о приемах допроса согласуется с самым следственным делом, в котором при всей его лживости проглядывает действительный способ его производства; в этом деле говорится, что Шуйский с товарищами спрашивали так: "Которым обычаем царевича Димитрия не стало, и что его болезнь была". Итак, из этого же дела видно, что следователи с самого начала отклонили всякий вопрос о возможности убийства, заранее предрешая, что смерть Димитрия, так или иначе, но последовала от болезни. Вероятно, Шуйский с товарищами еще в Москве получил необходимый намек на то, что по следствию должно непременно оказаться, именно что Димитрий был болен и лишил себя жизни в припадке болезни.

Далее летописец повествует:

"Они же вопияху все единогласно, иноки, священницы, мужие и жены, старые и юные, что убиен бысть от раб своих, от Михаила Битяговскаго, по повелению Бориса Годунова с его советники".

Здесь летописец в своем известии хватил через край, сказавши "единогласно", но не солгал относительно многих угличан. Были в Угличе такие, которые сразу поняли, как следует отвечать, и говорили, что царевич зарезался; но в то же время раздавались голоса, смело приписывавшие смерть царевича убийству, совершенному людьми, присланными от Годунова и уже растерзанными от разъяренного народа. Что в Угличе говорили именно так, показывает суровое мщение Бориса над

Угличем, казни, совершенные над его жителями, переселение в Пелым, запустение Углича. Но что мог сделать Шуйский с такими показаниями? Он знал заранее, что в Москве таких показаний не хотят, да притом и все показания были голословны: никто из говоривших об убийстве не был сам свидетелем убийства.

И вот, по словам того же летописного повествования:

”Князь Василий, пришед с товарищи в Москве и сказа царю Федору неправедно: что сам себя заклал”.

Летописец далее говорит, что ”Борис с бояры Михайла Нагаго и Андрея и сих Нагих пыташа накрепко, чтоб они сказали, что сам себя заклал”.

Согласно с этим и в окончании следственного дела говорится: ”...и по тех людей, которые в деле объявились, велел государь посылати”.

Принимая во внимание это последнее известие, нельзя быть уверенным, чтобы те показания, которые представляются отобранными Шуйским и его товарищами в Угличе, была на самом деле все там составлены; некоторые из них могли быть записаны уже в Москве, где, как сообщает летописное известие, пытками добывали сознание в том, что Димитрий зарезался сам в припадке падучей болезни. Нельзя не обратить особенного внимания на то обстоятельство, что в конце того же следственного дела, где сказано вообще, что ”по тех людей, которые в деле объявились, велел государь посылати”, говорится вслед за тем, что ”в Углич послан был Михайла Молчанов, по кормилицына мужа, по Ждана Тучкова и по его жену по кормилицу по Орину, а взяв везти их к Москве бережно, чтоб с дороги не утекли и дурна над собою не учинили”. Отчего эта особая, как видно, заботливость о кормилице и ее муже? Не потому ли, что кормилица была при царевиче в те минуты, когда он лишился жизни? Но ведь по след-

ственному делу не одна она была свидетельницей, и подобно другим она представляется давшей еще в Угличе показания о том, что царевич зарезался сам. Муж ее совсем не значится в числе спрошенных в Угличе, а между тем ее вместе с женою тащат в Москву. Если мы вспомним, что говорит то повествование о смерти Димитрия, которое мы признаем самым достовернейшим, то окажется, что здесь следственное дело само невольное проговорилось и обличило себя. Кормилица была единственной особой, в присутствии которой совершилось убийство и, вероятно, она совсем не давала в Угличе такого показания, какое значится от ее имени в следственном деле, — вот ее-то и нужно было прибавить к рукам паче всякого другого, а вместе с нею политика требовала прибавить и ее мужа, так как в Московском государстве было в обычае, что в важных государственных делах, смотря по обстоятельствам, расправа постигала безвинных членов семьи за одного из их среды. Само собой разумеется, что Тучкова-Жданова была опаснее всех: она хотя также не видела своими глазами совершения убийства, но могла разглашать такие обстоятельства, которые бы возбуждали сильное подозрение в том, что Димитрий не сам зарезался, а был зарезан, и потому-то ее необходимо было уничтожить; а чтоб муж не жаловался и не разглашал того, что должен был слышать от жены, то следовало и мужа сделать безвредным. Недаром русская пословица говорила: муж и жена — одна сатана! Защитник Бориса говорит: ”Если б она (Тучкова) погибла по приказанию Бориса, то после о том не умолчали бы враги его”. А что такое за важные особы эти Тучковы, чтоб их погибель возбуждала большое сожаление и была особенно замеченною современниками? В Московском государстве в те времена не слишком-то дорожили жизнью одного или двух незнатных подданных. Да притом,

если никто не поименовал в числе жертв Бориса Тучковых, то летописец не забыл сказать о целой топе жертв, пострадавших в эпоху смерти Димитрия: "...иных казняху, иным языки резаху, иных по темницам разсылаху, множество же людей отведоша в Сибирь и поставиша град Пелым и ими насадиша и от того ж Углич запустел". Разве не могла быть и эта несчастная супружеская чета в числе каких-нибудь из этих *иных*?

Здравая критика не допускает принимать показаний о смерти царевича, заключающихся в следственном деле уже, как мы сказали, и потому, что следователь сам сознал несправедливость его и, стало быть, обличил его фальшивое производство. Нет, как мы тоже выше сказали, никаких иных достоверных современных свидетельств, которые бы согласовались с известиями, сообщаемыми следственным делом. Напротив, существуют известия, носящие все признаки достоверности, но противные тому, что вытекает из следственного дела. Затем уже если это лживое следственное дело может возбуждать любопытство исторического исследователя, то разве с той стороны, каким образом оно было в свое время составлено. По тому отрывку, который сохранился, мы теперь едва ли в состоянии будем вполне отличить: какие из показаний были отобраны Шуйским с товарищами в самом Угличе, какие, быть может, после того в Москве; какие из них вынуждены были страхом, пыткой или ласкою, какие даны добровольно смекнувшими заранее, как им следует говорить, и какие, наконец, могли быть написаны следователями от лица тех, которые и не говорили того, что писалось от их имени (что, например, мы думаем о детских показаниях). Никакой ученый не уверит нас, чтобы это дело в том виде, в каком до нас дошло, писалось непременно в Угличе; напротив, — что оно писалось в Москве, на это указывает его конец в распоря-

жениями о доставке в Москву кормилицы, ее мужа и ведуну Андрюшки. Таким образом, показания Нагих в том виде, в каком они значатся, были отобраны в Москве, хотя и включены в число отобранных в Угличе. Замечательно, что единственное лицо, заявлявшее упорно в следственном деле, что царевич зарезан, а не зарезался, один из дядей царевича, Михайла Нагой. В летописи говорится: "Борис с бояры поидоша к пытке и Михайла Нагого и Андрея, и сих Нагих пыгаша накрепко, чтоб они сказали, что сам себя заклал, они же никак того не сказаша, то и глаголаху, что от раб убиен бысть". Сопоставляя это известие со следственным делом, окажется, что из Нагих, подписавших свои показания, один Михайла, запираясь в том, что он поднимал народ на убийц, прямо говорит, что царевича зарезали; другие же его братья, Григорий и Андрей, показали, что царевич зарезался, повторяя рассказы о его падучей болезни. Из этого видно, что летопись, говоря о твердости Нагих, справедлива только в отношении одного Нагого, Михаила, а прочие Нагие, как оказывается, под пыткой или под страхом пытки заговорили так, как следовало. Единственное показание о том, что царевича зарезали, противное прочим показаниям, говорившим, что царевич зарезался сам, показание, подписанное Михаилом Нагим, оставаясь в следственном деле, не только не вредило результату, какого добивались, но еще помогало ему: становясь вразрез со всем остальным, оно по своему бессилию и в сравнении со всеми как бы служило уликой, что мнимое убийство Димитрия есть выдумка Нагих, особенно Михайла, более всех (как говорят другие показания) возбуждавшего народ к истреблению Битяговских и их товарищей. Показание Андрея Нагого дано явно по следам показания Василисы Волоховой, признаваемой летописями соумышленницей убийц. Так, например, Василиса Волохова говорит: "И преж того сего же

году, в великое говенье таж над ним болезнь была, падучей недуг, и он поколол сваю и мать свою царицу Марью и вдругоряд на него была там болезнь перед великим днем и царевич объел руки Ондреевой дочери Нагова, едва у не Ондрееву дочь Нагова отняли". В показании Андрея Нагого: "А на царевиче бывала болезнь падучая, да ныне в великое говенье у дочери его руки переел и уго него, Андрея, царевич руки едал же в болезни, и у жильцов и у постельниц, как на него болезнь придет и царевича как станут держать, и он в те поры ест в нецывеньи<sup>9</sup> за что попадется". При других условиях сходство в показаниях в следственном деле вело бы к признанию справедливости сообщаемых фактов, но в таком деле, о котором мы уверены, что оно велось недобросовестно, с предвзятою заранее целью, подобное сходство свидетельствует только о том, что одно показание служило образцом для другого; пристрасные следователи спрашивали у допрашиваемого прямо о справедливости того, что сообщило им полезного раньше данное показание, и допрашиваемый из угождения или от страха говорил то же, что говорили прежде него. Фальшивость производства видна как в содержании показаний, так и в приемах. Величайшая невероятность, заключающаяся в этом деле, — это, прежде всего, самоубийство мальчика семи лет, совершенное таким образом, как сообщают показания. С большим мальчиком делаются по временам припадки, и в один из таких припадков он заколол себя в горло ножом. А что за признаки этих припадков? Какая-то злость, бешенство, мальчик бросается на людей, кусается, мальчик сваей пырнул собственную мать.

Спрашивается, как бы ни были просты женщины, окружавшие ребенка, но возможно ли предположить, чтоб они все были до такой степени глупы, чтобы после всего того, что царевич

уже делал, давали ему играть с ножом? И неужели мать, которую он ранил, не приняла мер, чтоб у мальчика не было в руках ножа? Допустим, однако, что несчастный больной царевич был предоставлен на попечение таких дур, каких только можно было, как будто нарочно, подобрать со всей Московской земли. Способ его самоубийства чересчур странный. Он играет в тычку с детьми, с ним делается припадок; судя по тому, как он кусал девочке руки, бросался на жильцов и постельниц и даже ранил мать свою, надобно было ожидать, что царевич ударит ножом кого-нибудь из игравших с ним детей, — нет, он сам себя хватил по горлу! Как же это случилось?

Постельница Марья Самойлова рассказывает: "И его бросило о землю, а у него был ножик в руках, и он тем ножиком сам покололся". Василиса Волохова говорит: "Бросило его о землю, и тут царевич сам себя ножом поколол в горло, и било его долго". Огурец говорит: "Тут его ударило о землю, и он, бьучись, ножом сам себя поколол". Стряпчий Юдин говорит: "Бросило его о землю, и било его долго, и он накололся ножом сам, а он (стряпчий) в те поры стоял у поставца и то видел". Царицыны дети боярские, числом четверо, говорят: "А у него в ту пору в руках был нож и его-де бросило о землю и било его долго, да ножиком ся сам себя поколол и от того и умер". Истопники говорят: "Мы были в передних сенях и в те поры понесли кушанье на верх, а царевич Димитрий играл с жильцы ножом и пришла на него старая болезнь падучий недуг, и его в те поры ударило о землю, и он на тот нож набрушился сам".

При подобном припадке могло скорее статься, что ребенок ранил бы себя ножом в бок, в ногу, в руку, но всего менее в горло, тем более, что в те времена носили ожерелья вроде поясков, украшенные золотом, жемчугом и камнями; на царском сыне, конечно, было такое ожерелье, которое бы могло за-

щитить его от прикосновения ножа, случайно коснувшегося горла. Все это кажется до крайности придуманным и невероятным. Вопрос о том, в какой степени возможно в припадке такого рода ребенку заколоть себя до смерти по горлу, предоставляем медикам, по опыту наблюдавшим за такими болезнями, да, кроме того, следует поискать таких примеров: ведь не один же царевич Дмитрий умер такой смертью; если она могла постигнуть его, то могла постигнуть и других больных детей. Исторический факт убийства Димитрия стоит того, чтобы специалисты обсудили и решили этот вопрос с точки зрения своей науки.

Сколько было по следственному делу свидетелей смерти Димитрия? В показаниях жильцов, игравших с детьми, сказано: "...были в те поры с царевичем кормилица Орина да постельница Самойлова жена Колобова Марья". Но чем более было свидетелей, тем было лучше для цели. И вот была с ними еще Василиса Волохова, как сама о том показывает: "...приходчи от обедни, царица велела царевичу на двор итить гулять, а с царевичем были она Василиса, да кормилица Орина, да маленькие ребятишки жильцы, да постельница Марья Самойлова, а играл царевич ножиком, и тут на царевича пришла опять таж черная болезнь и бросило его о землю, и тут царевич сам себя поколол в горло" и пр. Затем нашлись и еще свидетели; четыре боярских сына говорят: "...ходил-де царевич тешился с жильцы с маленькими в тычку ножем, на дворе, и пришла-де на него падучая немочь, а у него был в ту пору в руках нож, и его бросило о землю и било его долго, да ножиком ся сам себя поколол и от того и умер, и как пришел шум великой и они разбежались". По смыслу слова "разбежались" ясно, что и эти четыре человека заявляют о себе в числе очевидцев события. За ними видел смерть царевича стряпчий Юдин,

стоявший у поставца, и, как бы казалось, видели ее истопники, находившиеся в сених. Если такое множество людей видело, как с ребенком сделался припадок, да еще ребенок бился долго, как же это они все не бросились к нему, не отняли у него ножа? Да подобное равнодушие почти равняется убийству! И как, слыша эти показания, следовательно не сказали дававшим их: вы видели, как с царевичем сделался припадок, почему же вы не бросились к нему и не отняли у него ножа?

Так как чем более показаний, свидетельствующих о самоубийстве царевича, тем для цели было лучше, то являются в числе дающих подобные показания и такие, которые не говорят и не делают даже намека на то, что сами были при смерти царевича, однако утвердительно объявляют, что царевич зарезался. Так губной староста Иван Муринов говорит: "Тешился царевич у себя на дворе с жильцы своими с ребятики, тыкал ножом и в те поры пришла на него немочь падучая, зашибло его о землю и учало его бити и в те поры он покололся ножом по горлу сам". А почему этот губной староста знает, что именно так было, а не иначе? Очевидно потому, что этот губной староста смекнул, чего надобно тем, кто его допрашивал. По такому же поводу говорит утвердительно Огурец-пономарь, что царевич "бьучись, сам себя ножом поколол", а между тем этот Огурец, по собственным словам, сидел дома, когда услышал первый набатный звон; выбежавши, встретил Субботу Протопопова, который ударил его в шею и приказал ему исполнять свою обязанность — звонить посылнее. Вот городской приказчик Русин-Раков уже пред отъездом следователей подает бывшему вместе со следователями митрополиту Геласию челобитную и в ней также утвердительно и положительно говорит: "Мая в 15-й день, в субботу, в шестом часу дня, тешился государь царевич у себя на дворе

с жилицы своими с робятки, тыкал государь ножом и в те поры на него пришла падучая немочь и зашибло, государь, его о землю, и учало его бити, да как де его било и в те поры он поколослся ножом сам и от того государь и умер". Можно, пожалуй, подумать, что Русин-Раков видел все то, что рассказывает. Ничуть не бывало. "И учюл, — продолжает он, — яз в городе звон и яз государь прибежал на звон, ажно в городе многие люди и на дворе на царевичеве, а Михайло Битяговский да сын его Данило, да Никита Качалов, да Осип Волохов, да Данило Третьяков, да их люди лежат побиты". Слушая все это, почему следователи не спросили дававших такие показания о смерти царевича: а вы откуда знаете, что царевич сам зарезался, а не был зарезан? Оттого не спросили, что им нужно было, чтобы поболее оказывалось свидетельств о том, что Димитрий заколол сам себя, и они мало обращали внимания, каким образом сообщались такие свидетельства и кто их сообщал. Самые эти показания очень однообразны; мы нарочно и привели одно за другим, чтоб читатели наши видели и поняли, что все они плелись по одной мерке; камертон дан — все запели унисоном! Не могло не быть показаний в противном смысле; те, которые побили Битяговских, Волохова, Качалова и их братию, побили их в уверенности, что они именно умертвили царевича: эти люди должны же были что-нибудь за себя сказать. Однако мы не находим их показаний в следственном деле. За исключением Михайла Нагого, все говорят только те, которые показывают, что царевич зарезался сам. Вопрос о том, не зарезан ли Димитрий, не допускается, явно и умышленно обходят его, стараются закрыть благоразумным молчанием.

Не говорим уже о том, что мы не встречаем ни показания царицы, ни осмотра тела Димитриева. На этот счет говорят: да ведь дело не полное, мы имеем только отрывок. Правда, но этот

отрывок начинается приездом в Углич следователей, надлежало бы тотчас и быть осмотру. Летописец прямо и говорит, что он совершился тотчас по приезде Шуйского с товарищи: "...и осмотри тела праведнаго заклана". Иначе и быть не могло. Отчего же этого осмотра нет в следственном деле? Конечно, оттого, что этот осмотр давал выводы, противные заранее решенному результату следственного дела, который должен был состоять в том, чтобы из всего оказывалось, что царевич зарезался в припадке болезни. Напротив, раны на теле Димитрия, вероятно, очень явно показывали, что он был умерщвлен, и потому-то в день его смерти угличане, видя тело только что испутившего дух зарезанного ребенка, с полной уверенностью бросились бить тех, которых считали убийцами.

Судя по всем известиям того времени и по соображениям обстоятельств, предшествовавших этому событию, сопровождавших его и последовавших за ним, кажется, едва ли можно сомневаться в истине того факта, что Димитрий-царевич был зарезан. Правительство того времени, когда совершено было убийство, имело свои поводы стараться уверить всех, что царевич зарезался сам. Если бы убийство случилось не только по воле, но против воли Бориса, тогда Борису должно было представляться лучшим средством избавить себя от всякого подозрения — поставить дело так, как будто царевич убил себя сам.

В какой степени Борис участвовал в этом факте, мы едва ли в силах решить положительно. Одно только считаем вероятным, что Борис, как умный и осторожный человек, не давал прямого повеления на убийство тем лицам, которых он отправил в Углич наблюдать за царевичем и его родней и которые умертвили царевича. Быть может, до них доходили намеки, из которых они могли догадаться, что



Борис этого от них желает; быть может, даже они и по собственному соображению решились на убийство, достаточно убеждаясь, что это дело угодно будет правителю и полезно государству. Могла их к этому подстрекать и вражда, возникшая у них с Нагими. Во всяком случае, они совершили то, что было в видах Бориса: без сомнения, для Бориса казалось лучше, чтоб Димитрия не было на свете. Раздраженное чувство матери, лишившейся таким образом сына, не дало убийцам совершить своего дела так, чтоб и им после того пришлось пожить в добре, и Бориса не подвергать подозрению. Убийцы получили за свое злодеяние кару от народа, смерть царевича осталась без свидетелей, за неимением их набрали и подставили таких, которые вовсе ничего не видали; но все жители Углича знали истину, видевши тело убитого, вполне остались убеждены, что царевич не зарезался, а зарезан. Жестоко был наказан Углич за это убеждение; много было казненных, еще более сосланных; угличан, видевших своими глазами зарезанного Димитрия, не оставалось, но зато повсюду на Руси шепотом говорили, что царевич вовсе не убил себя сам, а был зарезан. Не только русские — иностранцы разносили этот слух за пределами московской державы. Следственное дело с его измышлениями не избавило Бориса от подозрения.

Это подозрение, однако, не помешало Борису по смерти Федора взойти на престол при посредстве козней, расположения к себе духовных и подбора партии в свою пользу. Борис не был человек злой, делать другим зло для него не составляло удовольствия, ни казни, ни крови не любил он. Борис даже склонен делать добро, но это был человек из тех недурных людей, которым всегда своя сорочка к телу ближе и которые добры до тех только пор, пока можно делать добро без ущерба для себя; при малейшей опасности они думают уже только о себе и не останавливаются ни пред

каким злом. От этого Борис в первые годы своего царствования был добрым государем и был бы, может быть, долго таким же, если б несчастное угличское дело не дало о себе знать. Воспоминание об нем облеклось таинственностью, которая породила легенду, что Димитрий не зарезался и не зарезан, а спасся от убийц и где-то живет. Этой легенде естественно было в народном воображении родиться именно при той двойственности, какая существовала в представлениях об угличском событии. Правительство говорило, что Димитрий сам убил себя; в народе сохранилось представление, что Димитрий зарезан; в противоположности двух различных представлений образовалось третье представление, наиболее щекавшее воображение. Борис, услышавши об этом, хотел найти виновников такого толка, уже более опасного для него, чем были толки о том, что царевич зарезан, но найти творцов этого слуха он был не в состоянии, потому что их не было, — была только мысль, носившаяся, как по ветру, в народе. Борис сделался тираном, возбудил против себя ненависть, а с ненавистью возрастала уверенность в существовании Димитрия и явилась надежда на его появление.

И он явился после того, как слухи о Димитрии дошли в Украину, страну приключений и отважных предприятий, и достигли до иезуитов, увидавших удобный случай подать руку помощи удалому молодцу, с целью вслед за ним наложить свои сети на восточно-русские земли.

Борис пал, погибла семья его. Одна ложь о Димитрии сменилась другой ложью. Прежде говорили, что Димитрий зарезался сам, теперь, спустя тринадцать лет, говорят, что Димитрий спускался и сел на престоле отца своего. На стороне новой лжи было более силы, чем на стороне прежней. Мать Димитрия, та самая, которая когда-то подняла весь Углич за убитого сына и показывала его труп всему народу, взывая о мщении, теперь в сем говорит, что ее сын жив! Трудно сказать,

как долго пришлось бы названному Димитрию сидеть на престоле, если бы он был более осторожен. Легкомыслие и доверчивость погубили его. Его убивают, объявляют Гришкой Отрепьевым, хотя не знают, кто он такой на самом деле. На престол садится Василий Шуйский, тот самый, который производил следствие, по которому Димитрий оказался самоубийцей. Что делается теперь, при новом царе? Объявляется наконец правда о Димитрии, та правда, которую народ давно уже знал и в которой усомнился в последнее время: Димитрий не сам зарезался. Димитрий и не спасался от смерти. Он был зарезан теми людьми, которых в свое время побил угличский народ. Димитрий зарезан по воле Бориса. Мать Димитрия кается пред народом в том, что признавала сыном бродягу, и уверяет всех, что ее сын в той раке, в которой выставили мощи его, причисливши к лику святых.

Но народ уже не верит и тому, чему так долго сам верил; не верит, что Димитрий был зарезан в Угличе; не верит даже и тому, чтобы тот, кто царствовал под именем Димитрия, был убит. Если он спасся в Угличе, почему ему не спастись в другой раз, в Москве? С одной стороны, народ приучили к умышленной лжи, с другой — к самообольщению. Бедный народ потерял голову с этим Димитрием. Является один Димитрий, другой, третий, четвертый. Государство разлагается, земля в разорении; царь Василий низвержен. Чужеземцы овладевают столицей, чужеземцы рвут по частям землю Русскую. Только на краю гибели народ опомнился; он страшивает с себя бремя лжи и самообольщения, собирает последние силы. Ошибки и неумение врагов, овладевших Русью, помогли Руси освободиться. Восстанавливается государственный строй. Восходит на престол новая династия.

Прошлое прошло. Что же теперь скажут народу о Димитрии?

И ему сказали только то, что уже

сказал Шуйский: что Димитрий был зарезан по повелению Бориса в Угличе и за невинное страдание удостоился чести быть причисленным к лику страстотерпцев. И такой взгляд остался на Руси в течение веков, он разделялся, в сущности, и наукой. Кто утвердил его? Василий Шуйский, по своем вступлении на престол открывавший мощи св. Димитрия. Понятно, что человек, говоривший розно об одном и том же, смотря по обстоятельству, не может назваться образцом честности и добродетели. Но мы бы, с другой стороны, погрешили против беспристрастия, если бы в Василии Шуйском видели чудовище пороков, способное на все, что устрашало нравственное чувство его современников. Нет. При всех пороках своих он был лучше многих тогдашних деятелей. Здесь не место распространяться вообще о характере этой личности: это завлекло бы нас чересчур далеко. Спросим только самих себя вот о чем: способен ли был царь Василий и способна ли была вся среда, окружавшая его, на то, чтобы вырыть остатки самоубийцы, поставить их в качестве мощей в церкви, причислить самоубийцу к лику святых, притворно поклоняться ему и смотреть, внутренне смеясь, как народ толпами будет ему поклоняться? При всех пороках, к которым приучила московских людей печальная история, в особенности еще недавняя всеразвращающая эпоха мучительства Грозного, все-таки были пределы, за которые едва ли могла перешагнуть тогдашняя Русь. Что такое Димитрий по следственному делу? Мальчик, подверженный какому-то бешенству, элонравный, лютый; он бросается на людей, кусается, мать свою пырнул свайе, наконец, в припадке бешенства сам себя заколол. Да это, по тогдашнему образу представлений, что-то проклятое, отверженное, одержимое бесом! Вероятно, и было намерение представить его таким, как видно из следственного дела! Возможное ли дело, чтобы из каких бы

то ни было побочных видов решались возвести такого мальчика во святые и поклоняться ему? Положим, что нравственное чувство не удержало бы от этого людей, глубоко сжившихся с ложью, но, наверное, их удержал бы от такого поступка суеверный страх ввести в церковь орудие темной силы дьявола и поклоняться ей. Как бы ни были испорчены наши предки, люди XVII столетия, но все-таки, несомненно, они боялись дьявола, а отважиться на подобный обман могли бы только такие, которые не верили ни в существование Бога, ни в существование дьявола: всякий согласится, что таких философов не производила Русская земля в начале XVII столетия.

Нам кажется, напротив, что при канонизации царевича Дмитрия хотя и участвовали политические соображения, но не были главными двигателями; здесь действовала значительная доля искренности и действительного благочестия. Шуйский не был еще в том положении, когда, как говорится, утопающий хватается за соломинку. Новый названный Дмитрий еще не являлся, и Шуйский едва ли мог предвидеть, чтоб он непременно явился. Посылка за мощами Дмитрия произошла тотчас по воцарении Шуйского, 3 июня 1606 года; следовательно, через восемнадцать дней после низвержения самозванца последовало торжественное причисление Дмитрия к лику святых, начало поклонения его мощам в Архангельском соборе! Не правдоподобнее ли, не сообразнее ли как с обстоятельствами, так и с духом понятий того времени видеть в этом событии плод раскаяния Шуйского, которое, как нельзя более, должны были возбудить в нем минувшие события? Шуйский был человек не злого сердца. Летописец, сообщаящий известие о его нечестном поведении во время следствия в Угличе, говорит, однако, что он плакал над телом зарезанного ребенка. Но

в эти критические минуты благородный расчет самосохранения заставил его, скрепя сердце, потакать неправде. Прошли годы. Шуйский видел одно за другим, грозные, потрясающие события: они должны были показаться ему явлением божеского мщения. По желанию Бориса или, по крайней мере, в угоду ему совершилось злодеяние над невинным ребенком; Борис избавился от опасностей, которых ожидал от этого ребенка; Борис достиг престола. И что же? Прошло семь лет, не стало Бориса, а за ним страшным образом искоренился род его с лица земли. Московское государство попадает под власть неведомого бродяги: пусть все будут ослеплены и искренно признают названного Дмитрия настоящим, Шуйский видел самолично труп зарезанного царевича, Шуйский не может впасть в самообольщение, Шуйский хорошо знает, что на престоле не Дмитрий, мало этого, Шуйский видит, что этот названный Дмитрий — орудие чужеземных козней, угрожающих православной вере в Русской земле. Рановременно попытавшись выступить против всеобщего увлечения, Шуйский попадает на плаху; в эту-то минуту должно было в его сердце кипеть сильнейшее раскаяние пред Богом, которому он готовился дать отчет за преступные дни, проведенные в Угличе, когда он ради земной жизни потакал неправде. Но плаха миновала его. Не названному Дмитрию (которого он никогда не может признать тем, чем признавали другие) Шуйский приписывает свое спасение, а Богу и, быть может, заступничеству того настоящего Дмитрия, которого он так бессовестно оклеветал в угоду его врагам. С тех пор мысль уничтожить дерзнувшего носить имя Дмитрия делается его священным обетом. Ему удастся. Средства, употребленные им, нам теперь кажутся возмутительными; он сам по духу времени не считал их такими. Нет более ложного Дмитрия. Сам Шуйский на престоле. Что

могло быть естественнее, если этот человек счел первым долгом благодарности высшей силе, не только избавившей его от позорной плахи, но вознесшей на царский престол, восстановить память невинно замученного и очерненного отрока, загладить свой прежний грех против него и поклониться ему со всей Русской землей? Что могло быть естественнее, если после всего, что совер-

шилось пред глазами Шуйского, по его понятиям, как Божия кара за убийство царственного отрока, он искренно уверовал в его святость; что, наконец, естественнее, если Шуйский в прославлении Дмитрия видел тогда залог счастья для своего начинавшегося царствования, оказавшегося до такой степени плачевным?

---

## Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила

Русские и поляки — два народа одноплеменные и соседние, сходные притом во многом между собою и по нравам, и по близости языка, не могли ужиться между собою так, чтобы и у тех, и у других сохранилось свое независимое государство. Завязался такой узел, что либо Русь должна была покорить Польшу, либо Польша — Русь. Испокон века русский край был поделен на земли: в каждой земле держался свой порядок, были отличия в обычаях, но сходства было больше, чем различия, и оттого все считали себя одним народом. После принятия Христовой веры еще более настало соединения: во всех землях была одна вера, одна церковь, один богослужебный и ученый язык. В землях были свои особые князья, но все русские князья были из одного рода; людям вольно было переходить из одной земли в другую, приобретать в разных землях имения и служить то одному, то другому князю. Над всеми князьями считался один старший и назывался великий князь: он большой власти не имел, но все-таки уважался за главного на все русские земли. Это поддерживало связь. Были на Руси неурядицы, смуты; князь шел на князя, город на город, земля на землю; в середине земель поднимались междоусобства, крупные земли дробились на мелкие; в мелких появлялись свои особые князья, но из одного и того же рода — все это между собою ссорилось, воевало; а тут соседние народы нападали на русский край: с востока, из-за Волги, одно за другим выходили кочевые племена и ломались на Русь, сильнее других были половцы, и страшны они были Руси наипаче тем, что князья сами приводили их на своих

недругов, таких же русских князей. Они довели полуденный край — Киевщину и Северщину — до великого разорения, так что люди стали оттуда переселяться все более на северо-восток; на Оку, на Клязьму, на верхнюю половину Волги; там проживали чужеплеменники, не такие воинственные, как половцы, а больше мирные и слабые; русские покорили их себе: они принимали христианскую веру, а вслед за тем перераживались\* совсем в русских. Это были народы племени, которое ученые называют финско-турецким. И теперь есть остатки этого племени и составляют на востоке Русского государства народы, которых обыкновенно называют инородцами, — это мокша, мордва, чуваша, черемисы, вотяки, мещеряки. Прежде было их много; были такие народы этого племени, от которых теперь ничего не осталось; таковы мурома, меря, весь и другие. Все они через многие века обрусьели, и память их почти потерялась. Так и теперь на наших глазах целые села мордовские делаются совсем русскими, забывают и речь свою, и обычаи отцов своих, и память утрачивается у правнуков о том, каковы были их прадеды. Так и тогда делалось.

Наконец, после того как многие кочевые народы нападали на Русь и опустошали ее, набежали самые страшные, самые многочисленные — татары. Несогласная Русь не могла от них оборониться; вся почти пострадала от их нашествия, принуждена была покориться им и досталась в неволю татарским ханам, которые заложили себе столицу Сарай-город, в низовье Волги на берегу реки Ахтубы. Горькая доля постигла Русь — чужая неволя. Мало того что русские должны были платить дань татарскому хану, татары часто разъезжали по русским городам и своевольствовали, как хотели.

Но, на счастье Руси, татары, во-первых, не истребили христианской веры;

\*Перерождались.

во-вторых, их царство не долго было крепким, и лет через сто с небольшим после нашествия татар на русские земли оно совсем расшаталось и начало распадаться на части. Между тем святая вера сберегла силу русского народа, и, когда пора пришла, русский народ показал ее. Татарская неволя хоть и была в свое время тяжела, и без пользы для Руси не осталась: она была для нее, словно обруч для расшатавшейся бочки; земли и княжения не знали над собой крепкой власти, а теперь поневоле должны были признавать одного господина над всеми — татарского хана; все ему должны были платить дань. Но татарские ханы поверяли свою власть и сбор дани со всей Руси русскому старейшему, или великому князю, и оттого власть этого князя стала вырастать и начала зреть на Руси дума, чтоб Русь вся была единою державою, чтоб старейший, или великий князь, был государь, хозяин, владелец целой Руси, чтоб все: и князья, и простые люди — ему одному повиновались, его одного знали за владыку, чтоб его воля, как Божия воля, уважалась всеми и всех подвигала на дело. Невозможно было Руси выбиться из неволи, невозможно было ей и наперед охранить себя от иноплеменных завоевателей и разорителей до тех пор, пока русский край будет разбит на части и все части не будут знать над собой одной для всех верховной власти.

Лет через сто после нашествия татар, в XIV веке, явились и выростали на Руси два государства — Москва и Литва, стало два государя — московский и литовский, а прежние земли и княжения с их князьями стали повиноваться — иные Москве, другие Литве. Русь, таким образом, разделилась на две половины. Но трудно было размежеваться этим половинам так, чтоб и той и другой были собственно только ей принадлежащие земли и одна другой не трогала. И в той, и в другой половине народ был русский. Были, правда, отличия, и не малые, да все не такие, чтоб жившие под

Литвою и под Москвою забыли, что они один народ. Вера православная и там и здесь одна, язык церковный один, разговорная речь сходственна. Окраины двух государств то и дело что поступали то к одному, то к другому; а кому из князей, бояр или вообще всякого звания людей не пригоже покажется жить в Московском государстве, тот уезжает в Литовское, а кому в Литовском не хорошо — тот переселяется в Московское. И пошло на то, что Москва и Литва хотели друг друга завоевать.

Но Литва соединилась с Польшею. Сначала это вышло так, что поляки выбирали себе литовских государей одного за другим в короли, а потом, в XVI веке, Польша с Литвою составила одно соединенное государство. Через это Польша втянулась в спор с Москвою. Польша с Литвою стала для Московского государства тем, чем прежде была для него одна Литва, а Московское государство сделалось для Польши тем, чем прежде было для одной Литвы. Как прежде Литва добивалась господствовать над всею Русью, так теперь уже не одна Литва, но с нею и Польша того же добивалась.

Польша, соединившись с Литвою, взяла над нею во всем верх. Польские обычаи и польский язык принимались в Руси, соединенной с Польшею. Самой православной вере угрожала там опасность от господствовавшей в Польше римско-католической веры, особенно когда римские папы, главы римско-католической церкви, домогались уже издавна, и притом неустанно, подчинить своей власти восточную православную церковь. От этого с присоединением новых русских областей к польско-литовской державе должна была и в этих новых областях делаться, как в старых, коренная перемена — и в обычаях, и в понятиях, и в управлении, и в житейском быту, и в языке, и даже мало-помалу в самой вере. Польша домогалась не только покорить себе Русь, но и опоялчить ее.

Но против Польши стояло уже твердою стеною Московское государство. Освободившись от татарской неволи, оно быстро выросло, укреплялось и расширялось. Присоединен был к Москве Великий Новгород со всею полуночною страню до Ледовитого моря и до Уральских гор, потом — Псков со своею областью: земли русские, но до того времени много веков сами собою управляемые. Успела Москва отбить у Литвы русские земли — Северщину и Смоленщину; завоеваны были при царе Иване Васильевиче царства Казанское и Астраханское, со всем поволжским низовьем. Стала Москва голосно заявлять, что хочет присоединить к своему государству Киевщину, Волынь, Подоль, Белую Русь — все земли, исстари русские, находившиеся во власти польско-литовской державы. Польша увидала, что приходится ей стараться скорее покорить и присоединить к себе Московское государство, как ей уже удалось сделать это с Литовским, а иначе если Москва еще более усилится, то заберет себе все русские области у Польши, да в борьбе с нею, отнявши Русь и Литву, самую Польшу (без Руси и Литвы несильную) завоеует. Польша стала приискивать средства, как бы овладеть Москвою и ее огромным царством. Сначала поляки думали дойти до этого таким путем, какой им посчастливилось с Литвою: приходилось им, по их обычаю, выбирать себе королей; они пытались не один раз выбрать на свой престол московского государя; потом бы они устроили вечное соединение двух государств. Это не удавалось. В начале XVII века случилось в Московском государстве такое событие, что полякам было на руку. Царствующий в Москве род прекратился. Последний из этого рода государь Федор Иванович, человек слабый и бездетный, еще при жизни своей отдал все правление своему шурину Борису Годунову. Этот последний мог надеяться, что по смерти царя Федора

Ивановича выберут его, Бориса, на престол. Но у Федора Ивановича был малолетний брат Димитрий Иванович. Он жил в Угличе. Он был помехою надеждам Бориса. Вдруг он умер скоропостижно насильственною смертью. Народ в Угличе перебил людей, на которых падало подозрение, что они извели московского царевича. Борис послал произвести следствие. На этом следствии вывели, что царевич сам себя заколол ножом в припадке падучей болезни, но в народе осталось подозрение, что Борис приказал тайно убить царевича Димитрия. Много лет спустя после того царь Федор Иванович умер. У Бориса было много доброжелателей, которых он, бывши при Федоре Ивановиче правителем, расположил к себе разными благодеяниями. Были у него и враги, но они не смели тогда поднять голоса. Бориса выбрали на престол. Тогда стал носиться слух, что царевич Димитрий жив, что его успели спасти от убийц, подменивши другим мальчиком, которого и убили, а царевич где-то проживает в неизвестности. Слух этот мог произойти сам собою. На нашей памяти случалось, что умрет скоропостижно какое-нибудь высокое лицо, в народе начнутся нелепые слухи, но как большого внимания не обращают, то народ поболтает, поболтает да и перестанет. Так было бы и при царе Борисе Годунове, если б этот царь не испугался слуха о Димитрии; а то он вообразил, что ему устраивают тайне что-то дурное; быть может, он и впрямь подозревал, не жив ли Димитрий и не хочет ли отнять у него престол; а может быть, он боялся, что враги его подучают кого-нибудь назваться Димитрием. Так ли он думал или иначе, только он начал доискиваться тайных врагов, приказал хватать людей, отдавать на муки в пытку, резать языки, кидать в тюрьмы, ссылать в пустыни. Таким образом много знатных родов потерпело безвинно, и в том числе семья Романовых, любимая народом. Тяжело стало жить

людям: соберутся ли в гости или на улице сойдутся между собою — сейчас подозрение, лихие люди доносят; оговоренных пытаются и мучат ни за что ни про что. Народ, прежде любивший Бориса, стал его ненавидеть за жестокости. Тут, на беду Борису и Русской Земле, наступил ужасный голод, и народ начал думать, что Борисово царство не благословляется Богом; что он царь не законный, а хищник, и через него на всю Русь посылается такая кара. Дмитрия меж тем Борис все искал, да не находил; а слух об нем расходился все больше и больше, и узнали об этом в Польше. Был в Польше пан воевода сандомирский Юрий Мнишек, человек хитрый, лукавый; был он в родстве и свойстве с очень знатым и богатым родом князей Вишневецких. Они объявили королю своему Сигизмунду III, что явился царевич Дмитрий. Кто был этот бродяга, до сих пор не решено, хотя в Московском государстве и укоренилось, что он был беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Король принял его как царевича, хотя он никакого верного свидетельства не представил. Зато он обещал, что станет вводить в Московском государстве римско-католическую веру и устроит на будущие времена соединение Московского государства с Польшей. Много панов не поверили ему: король не мог довести дела до того, чтоб Польша целым государством повела его на престол, но дозволил панам кому-либо оказать пособие названному царевичу; а как Вишневецкие были очень сильны, то составили войско из разных сорванцов, пристали туда запорожские казаки, охотники воевать с кем угодно; и с такою шайкой названный Дмитрий вступил в Московское государство. Ему бы, однако, никогда не удалось, если б сами русские не помогли ему. Русские поверили, что к ним идет настоящий Дмитрий, думали, что Бог, из милости к Русской стране, чудесно

сохранил ее законного государя. Много стало приставать к нему сразу. Жива была мать настоящего Дмитрия. Если б ее поставили перед народом и она бы сказала всем, что сын ее подлинно убит и тот, который идет на Москву, ей не сын, то народ бы, конечно, не поверил обману, стал бы грудью за царя Бориса. Но Борис не смел этого сделать; он держал мать в заточении в дальнем монастыре и боялся, что если ее поставить перед народом, так она нарочно из мести за смерть своего сына и за свое горе скажет народу такое, что пойдет не к добру Борису и его роду. Борис умер скоропостижно 13 апреля 1605 года. Сын его Феодор нарекался царем. Но тут все войско, которое воевало против названного Дмитрия, под городом Кромами передалось ему. Московские люди низвели Федора Борисовича с престола, а потом 10 июня 1605 г., как говорят, по тайному приказанию названного Дмитрия, умертвили вместе с его матерью. Названный Дмитрий сел на престол. Мать настоящего Дмитрия признала его сыном пред всем народом, из мести к Годунову за убиение ее сына. Названный Дмитрий должен был исполнить слово, которое дал в Польше пану Юрию Мнишку, и жениться на дочери его, Марине. По этому поводу Мнишек с дочерью и с роднею в мае 1606 г. приехал в Москву, а с ним прибыло туда тысячи две с лишком поляков. Здесь, во время свадебных праздников, поляки стали вести себя нагло, оскорблять народ, не оказывали должного уважения к вере и русским обычаям. Народ негодовал. Пользуясь этим, бояре составили заговор, заманили в него кое-каких служилых и торговых людей и 17 мая 1606 года возбудили народ бить поляков, разгостившихся в Москве, сами напали на дворец и убили самозванца, называвшего себя Дмитрием. Выбрали царем князя Василия Ивановича Шуйского, уверившись, что прежний убийца названный Дмитрий был не настоящий Дмитрий, а Гриш-



ка Отрепьев, дьякон-расстрига, и притом затевал ввести в Московском государстве латинскую веру. Но народ был недоволен тем, что Василий сел на престол неправильно: не вся земля через своих выборных людей избрала его на царство, а прокричали его царем и посадили на престол благоприятели его и нахлебники в Москве. Начались смуты, бунты. Появились бродяги, называвшие себя царскими именами, и волновали народ. В Польше, в доме Мнишка (а сам Мнишек сидел тогда в плену в Ярославле), стали опять творить Димитрия, распространили слух, что тот, который недавно царствовал в Москве этим именем, не убит, а спасся от смерти. Вслед за тем в Северщине (нынешняя Черниговская, Орловская и Курская губернии) появился новый вор, назвавший себя Димитрием. Около него столпились поляки, казаки и разные русские бродяги. Стали сдаваться ему города. Он дошел до Москвы и стоял станом в подмосковном селе Тушине целых полтора года, держал столицу в осаде, а взять ее не мог. Другое его полчище стояло под Сергиевым монастырем св. Троицы и также не могло взять монастыря. Тем временем Московское государство пришло в ужаснейший беспорядок. Одни стояли за Димитрия, другие за Василия. Жена первого бродяги, Марина Мнишек, признала нового Димитрия за одно лицо с прежним своим мужем, и это много расположило к нему народ. "Стало быть, — говорили, — он и впрямь тот, кто царствовал и кому мы присягали". Были такие, которые не верили, чтоб он был Димитрий, а стояли за него оттого, что не любили царя Василия и не хотели, чтобы он, неправильно севший на престол, утвердился на нем своим родом. Они хотели через Димитрия свалить с престола Шуйского, а потом извести самого вора, что назывался Димитрием, и выбрать нового царя всюю землей. Сперва Димитриева

сторона брала верх над Васильевой, но скоро поляки, которые разослали из тушинского стана по разным городам и уездам собирать продовольствие для войска, наделали народу русскому оскорблений и насилий и так его озлобили, что он повсеместно поднялся и стал приставать к Шуйскому. Тогда царь Василий Шуйский пригласил на помощь шведов. Молодой боярин Михайло Васильевич Скопин-Шуйский, человек необычного дарования, вместе со шведами победил поляков и русских воров, которые держались Димитрия, и освободил Троицкий монастырь от осады. Король польский Сигизмунд III поднялся на Московское государство как будто за то, что во время убийства того царя, что назывался Димитрием, в Москве перебили его подданных, поляков.

Сигизмунд осадил Смоленск и послал под Москву, в Тушино, звать к себе тех поляков, которые служили Димитрию. Тогда те московские бояре, что были в Тушине и служили вору, увидали иной способ низложить Василия Шуйского, отстали от вора и заявили, что хотят на московский престол сына Сигизмундова, королевича Владислава. Вор, называвший себя Димитрием, увидал, что ему плохо, и с казаками 7 января 1610 г. убежал в Калугу. За ним побежала и жена его. Весь тушинский табор разошелся. Москва освободилась от осады.

Но Василию после этого стало не лучше, а хуже. Сигизмунд ухватился за то, что некоторые русские заявили, что хотят на престол сына его Владислава, и намеревался идти на Москву. Боярин Михаил Васильевич Скопин-Шуйский умер скоропостижно в Москве 24 апреля 1610 года. Народ прокричал, что его извела невестка царская, жена Васильева брата. Подозревали и самого царя, потому что не любили его и прежде. Летом польское войско пошло к Москве. Выступил против него царский брат Димитрий; но московское войско неохотно

шло биться за Шуйских, а иностранцы, которые помогали Шуйскому, изменили во время самого сражения под Клушином. Предводитель, или гетман, польского войска, Жолкевский, победив Димитрия Шуйского, пошел к столице. Тогда в Москве сделался переполох, ждали поляков, а тут на пушью ей беду явился под нее из Калуги с казаками тот вор, что называл себя Димитрием. Тогда, угрожаемые с двух сторон и от поляков, и от вора, москвичи низложили царя Василия с престола; держали промеж себя совет и порешили пригласить на царство польского королевича Владислава. Жолкевский подступил к столице. Здесь бояре на Девичьем поле 17 августа 1610 г. заключили с ним договор на том, чтоб им выбрать на престол королевича Владислава и послать под Смоленск к королю посольство об этом важном деле. Вор был прогнан и через несколько месяцев (10 декабря 1610 г.) был убит в Калуге.

Но оказалось, что Сигизмунд и поляки только обманывали и дурачили русских, показывали вид, что хотят дать на московский престол своего королевича, а у них была совсем иная тайная дума: они хотели покорить себе все Московское государство и присоединить его к Польской державе. Польское войско вошло в Москву под начальством Гонсевского, которого вместо себя поставил в русской столице гетман Жолкевский. Поляки без всякой церемонии стали распорядиться царскою казною, а бояре, составлявшие верховный совет, только по имени были правителями; в самом же деле должны были поступать так, как поляки прикажут. Под Смоленском посланные туда к королю послы — митрополит ростовский Филарет (бывший боярин Феодор Никитич Романов) да боярин Василий Голицын с товарищами — не могли столковаться с польскими панами; русские послы домогались, чтоб Владислав крестился

в греческую веру; поляки на это не соглашались и обходились с послами высокомерно; Сигизмунд требовал, чтоб ему сдался Смоленск, и, стоя под этим городом, раздавал имения в Московском государстве разным московским людям не от имени сына, которого в цари выбрали, а от имени своего, когда он на то не имел никакого права. Тем временем и поляки, и их русские сторонники в Москве стали открыто говорить, что следует целовать крест не одному Владиславу, а вместе и Владиславу, и отцу его Сигизмунду. Это уже явно показывало, что идет дело вовсе не о том, чтоб Владислав, польский королевич, был на московском престоле, а о том, чтоб все Московское государство признало государем короля польского и таким образом было бы присоединено к Польше. Но все знали, что Сигизмунд был всею душою католик и в своем Польско-Литовском государстве паче всего о том старается, чтоб весь православный народ, ему подвластный, подчинить власти римского папы. Справедливо было опасаться, чтоб и в Московском государстве, если он им овладеет, не началось того же. Тогдашний глава духовенства патриарх Гермоген, как ему и подобало яко верховному пастырю, стал возбуждать народ на защиту веры. Старик он был крутой, суровый, неподатлив ни на какие прельщения. Поляки никак не могли его обойти и обмануть. С самого начала, как послы русские с ними вошли в согласие, Гермоген один им не верил, не терпел латинства, был против выбора Владислава; притихнул было на время, а как польские хитрости стали выдаваться на явь, так начал писать грамоты и призывал православный русский народ на оборону своей веры. Его воззвание кстати пришлось рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову. Этот человек уже прежде такую силу приобрел в Рязанской земле, что стоило ему слово сказать — и все за ним пойдут. Человек он был горячий, живой, поспешный, побор-

ник по правде, сам был бесхитростен, оттого очень доверчив; но зато, как только становилось ему заметно, что делается не так, как прежде казалось, он тотчас изменялся. Бориса он не любил за его неправды; когда шел против него первый названный Димитрий, Ляпунов искренно поверил, что явился настоящий царевич русский, и все войско склонил на передачу Димитрию; после смерти названного Димитрия не хотел покориться Шуйскому, сначала пошел на него с его врагами, думал, что царствовавший в Москве под именем Димитрия и впрямь спасся от смерти, но потом, уверясь, что обман, отстал от воров, служил Шуйскому, но только по нужде, затем, что надобно под какое-нибудь начальство стать против смуты; не любил царя Василия, не мог простить ему, что он сел на престол не по закону, не по избранию всей Земли Русской, как следовало; затевал было устроить новое избрание волею всей земли, думал посадить на престол боярина Михаила Скопина-Шуйского, но это не удалось — Михаил Васильевич Скопин-Шуйский скоро умер, и, когда пошла ходить весть, что его извели, Ляпунов начал возбуждать народ против Василия, послал брата своего Захара в Москву, и при его содействии Шуйского заставили сложить царский венец. Прокопий Ляпунов искренно присягнул Владиславу, думал, что польский королевич примет русскую веру, станет русским человеком и Московское государство усилится, а Польша будет жить с Москвою в дружбе, союзе и согласии, через то, что в одном государстве будет государем отец, а в другом — сын; и оттого Ляпунов скоро привел к присяге всю Рязанскую Землю, велел возить припасы польскому войску, стоящему в Москве; но как только получил Ляпунов от патриарха грамоту да проведаль, что делается под Смоленском, тотчас уразумел, что поляки русских дурачат, написал грамоты и

разослал в разные города; писал, что вера в опасности, просил, чтобы везде собирались ополчения и выходили по дороге к Москве, а на дороге ополчения сходились бы вместе, как кому пригоднее по пути, и все бы дружно и единомышленно шли выручать от иноверцев и иноземцев царствующий град и его святыню — Божьи церкви, честные образа и многоцелебные мощи. По голосу Ляпунова поднялась Земля Рязанская; за нею поднялись Нижний Новгород, Кострома, Галич, Вологда, Ярославль, Владимир и другие города. Ляпунов не разбирал людей, лишь бы шли к нему; всех готов был принимать: он одно конечное дело видел впереди и хотел совершить его как можно скорее. Оттого не пренебрег и казаками. Был казацким атаманом Иван Мартынович Заруцкий: родом он был русин, из Тарнова, в Галиции; служил он прежде второму вору — Димитрию, отстал было от него и пристал к полякам, да увидел, что у поляков не быть ему первым человеком, ушел от гетмана Жолкевского в Калугу опять к вору, а после его смерти, связавшись с его вдовою Мариною, думал волновать Русскую Землю именем ее сына, рожденного недавно от второго вора. Для Заруцкого Московское государство было чужое; ему лишь бы в мутной воде рыбу ловить; казацкая шайка у него была большая, но сбродная; наполовину, если не больше, она состояла из малороссов; а этот народ в те поры еще принадлежал не к Московскому государству, а к Польше, но поляков не любил; оттого в этом деле он был чужой сердцем: ни тем, ни другим добра не хотел, чинил только смуту. Ляпунов вошел в союз с Заруцким, хоть не любил его, как и Заруцкий не любил Ляпунова.

Русские ополчения собрались очень скоро. В январе 1611 г. Ляпунов разослал свои грамоты, а в марте уже со всех сторон шла народная сила на Москву выгонять поляков. Тогда поляки увидели, что им беда, в ополчении могли

быть против них десятки тысяч народа, а их в Москве каких-нибудь тысяч шесть, а как придут ополченцы, так московские жители, разумеется, станут помогать своим, — и весь город подымется. И вот поляки, спасая себя от гибели, как услышали, что Ляпунов и прочие предводители ополчений были близко, во вторник на страстной неделе, марта 19-го, начали бить русских и выгонять из Китай-города; и так погибло народу обоюдо поля и разного возраста тысяч до восьми; а потом поляки зажгли Москву со всех сторон, только Кремль и Китай-город не жгли. Русские ополчения прибыли к столице, когда в ней торчали только обгорелые каменные церкви, да погребя, да печки (жилые строения в те поры были все почти деревянные). Русские обложили Москву и держали поляков в осаде месяца четыре, но взять их не могли, оттого что в таборе у русских пошла безладница. Заруцкий спорил с Ляпуновым. На стороне Заруцкого казаки, на стороне Ляпунова земские люди — спорили меж собою. Ляпунов приказывает так, а Заруцкий наперекор ему иначе. Казаки своевольничали, бесчинствовали. Ляпунов их за это наказывал. Казаки волновались. Провели про это поляки и воспользовались несогласием своих врагов. Они составили фальшивое письмо, как будто бы от Ляпунова, а в том письме говорилось, что лишь бы только Москву взять, а потом казаков всех надобно перевести; поляки так ловко подписались под руку Ляпунова, что никак распознать нельзя было. Это письмо нарочно было пущено меж казаками. Потребовали Ляпунова в казачий круг к ответу. Тот, как ничего за собой не знал, то и пришел. "Ты это писал?" — спрашивали его. Ляпунов сказал: "Рука совсем моя, только я этого не писал". "Врешь! — кричали казаки. — Писал!" И кинулись на него с саблями. Тогда был там дворянин Ржевский; он был недруг Ляпунову,

но человек правдивый. Вместо того чтобы обрадоваться беде своего недруга, он кинулся к казакам и стал кричать: "Прокопий не виноват!" Но казаки не послушались его, изрубили Ляпунова, а потом изрубили и Ржевского за то, что стоял за Ляпунова.

После смерти Ляпунова казаки стали стеснять и обижать земских людей и довели их до того, что большая часть их убежала. Эти убежавшие служилые люди, а также и крестьяне составляли шайки, ходили по окрестностям, нападали на поляков, которые собирали продовольствие по краю, и мешали сообщению с теми, которые сидели в тюрьме и Китай-городе. Таких называли шишами. Казаки продолжали стоять под Московом табором. Для вида над всем войском был главным князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой, человек знатного рода, но всем заправлял Заруцкий: он хотел быть господином Русской Земли, раздавал самовольно и отбирал имения.

Под Смоленском как услышали поляки, что Русская Земля поднялась, стали стеснять послов, подозревали, что они сносятся с своими земляками, которые восстали, а потом, разгневавшись на их упорство и что они не хотели ни за что отступаться от того, с чем их послала вся земля, посадили в лодки и как пленников отправили в Польшу. Потом они решились во что бы то ни стало взять Смоленск. Уже близ двух лет стояли они под этой крепостью и не могли взять — им было стыдно. Смоленск защищал тогда храбрый боярин Михайло Борисович Шеин, не поддавался ни на какие предложения и отбивал много раз приступы. Наконец, 2 июня 1611 года, поляки взяли Смоленск дружным приступом. Русские, как ворвались к ним, до того ожесточились, что жгли свой город, чтобы ничто не доставалось полякам, и сами бросались в огонь.

После взятия Смоленска король с панами отправились в Варшаву и туда

повезли пленного царя Василия Шуйского с братьями. Поляки ради того устроили праздник, заставили пленного московского государя при всех сенаторах кланяться польскому королю, тешились унижением Москвы, веселились своими победами и думали, что уж теперь они навсегда покорили русский народ.

На пушью беду Русской Земле шведы взяли Новгород: они придрались к тому, что им не выплачены были деньги, которые им следовало получать на жалованье войску, помогавшему царю Василию; но главное, зачем тогда шведы напали на Новгород, было то, что им было страшно допустить Московское государство попасть под власть Польши. Польский король Сигизмунд был наследственный шведский король; но, когда он жил в Польше, Швецию отдал своему дяде в управление, а дядя сам сделался королем. Когда бы Сигизмунду удалось покорить Московское государство, тотчас бы, усилившись через это, мог расправиться с дядей. Да и без того для Швеции было опасно допустить поляков так широко раскинуться. Поэтому шведы поспешили захватить себе часть России; и Новгород, после того, как будто добровольно просил государем шведского королевича и обещал стараться, чтобы этого королевича остальные части России признали царем.

В Пскове явился новый вор и назвался Димитрием, как будто в третий уже раз спасенным от смерти. Псков с пригородами признал его за царя. С полудня набегали на русские земли татары. На востоке взбунтовалась черемиса. Повсюду ходили шайки разбойников разного происхождения и звания, а больше черкасы, т.е. малороссы. Московское государство, казалось, дошло до последнего конца.

В это время выступил на дело спасения Руси Дионисий, архимандрит Троицко-Сергиева монастыря. Был он прежде священником, потом пошел в монахи, сделан игуменом Пафнутьева Боров-

ского монастыря, а потом выбран был братиею Троицко-Сергиева монастыря в архимандриты. Принявши этот сан, Дионисий тотчас отличился делами милосердия. Тогда везде около Москвы поляки ходили по русским селениям и мучили народ. В монастырь приходили мученые крестьяне: у иных волосы были опалены, у других полосы со спины содраны, у иных глаза высверлены или выпечены. Дионисий устроил для них больницы, где некоторые выздоравливали, а другие умирали и удостоивались христианского погребения. Кроме того, Дионисий посылал монахов и служек собирать мертвые тела: много было таких, что умирали под муками в лесах и на полях; иные оконечевали от холода, после того как солдаты польские сжигали их деревни. Посланные Дионисием привозили их тела в монастырь и там хоронили. Злодействовали тогда не одни поляки: в польском войске было чуть не наполовину немцев; тогда в Польше было войско наемное; кто хотел, тот и вступал на службу ради жалованья. Кроме польских солдат, бесчинствовали и черкасы, и свои русские из Московского государства воры. Власти не было, оттого в русском народе настала большая распушенность. К св. Сергию Чудотворцу всегда стекалось множество народа. Дионисий составил грамоту, посадил у себя в келье переписчиков, приготовил таким образом много списков и разослал их в разные стороны с людьми, приходившими в обитель. С ним трудился тогда келарь Авраамий Палицын, известный еще и тем, что составил описание печальных событий, происходивших на Русской Земле в его время, и особенно осады Троицко-Сергиева монастыря. Авраамий происходил из знатного рода; вступивши в монашество, получил он должность келаря в Троицко-Сергиевском монастыре и в этой должности отправился с другими духовными лицами при митрополите Филарете в посольство к польскому королю

под Смоленск, но, как увидел, что из этого посольства ничего доброго не выйдет, а рано ли, поздно поляки отошлют его в плен, рассудил, что лучше пораньше убраться и работать для своей земли, а потому прикинулся расположенным к королю Сигизмунду, получил от него жалованную грамоту и выбрался из-под Смоленска и, вместо того чтобы служить врагам, служил своему народу. В грамоте, разосланной из Троицко-Сергиева монастыря, было так, между прочим, написано:

”Сами видите близкую конечную погибель всех христиан. Где только завладели литовские люди, в каких городах, какое разорение учинилось Московскому государству. Где святая церковь? Где Божий образ? Где иноки, цветущие многолетними сединами, где и хорошо украшенные добродетелями? Не все ли до конца разорено и обречено злым поруганиям? Где народ общий христианский? Не все ли скончались лютою и горькою смертию? Где безчисленное множество христианских чад в городах и селах? Не все ли без милости пострадали и разведены в плен? Не пощадили престаревших возрастом, не устрашили седин многолетних старцев, не сжалились над сущими млеко незлобивыми младенцами. Не все ли испили чашу ярости и гнева Божия? Помните и смилуйтесь над видимою нашею смертною погибелью, чтоб и вас не постигла такая лютая смерть. Бога ради, положите подвиг своего страдания, чтоб вам и всему общему народу, всем православным христианам, быть в соединении, и служилыя люди, однолично, без всякаго мешканья, поспешили под Москву на сход, ко всем боярам, и воеводам, ко всему смиренству народа всего православнаго христианства. Сами знаете: ко всему делу едино время надлежит; безвременное же начинание всякому делу бывает суетно и бездельно. А если есть в ваших пределах какое-нибудь недоволье, Бога ради, отложите

на это время, чтоб вам всем с ними заодно получить подвиг свой и страдать за избавление православной христианской веры, покаместь они (т.е. враги) в долгом времени, гладным утеснением, боярам и воеводам и всем ратным людям какой-нибудь порухи не учинили. И если мы совокупленным единогласным молением прибегнем ко всещедрому Богу и ко Пречистой Богородице, заступнице вечной рода христианскаго, и ко всем святым, от века Богу угодившим, и обще обещаем сотворить подвиг и пострадать до смерти за православную христианскую веру, неотложно милостивый Владыко человеколюбец отвратит праведный гнев свой и избавит нашедшей лютой смерти и вечнаго порабощения безбожнаго латинскаго. Смилуйтесь и умилитесь незаконенно, сотворите дело сие, избавления ради христианскаго народа, ратными людьми помогите, чтоб ныне под Москвою скудости ради, утешением не учинилось какой-нибудь порухи боярам, и воеводам, и всяким воинским людям. О том много и слезно всем народом христианским вам челом бьем”.

Такая грамота прислана была в Нижний Новгород в октябре 1611 года. Был там воевода Алябьев, человек дельный и основательный. Он с товарищем своим Репниным созвал к себе на воеводский двор старейших людей из города. Пришли туда Печерского монастыря архимандрит Феодор, протопоп соборный Савва, попы, дьяконы, дворяне, дети боярские и старосты посадские, а в числе старост был Кузьма Захаревич Минин-Сухорук. Был он ремеслом говядарь — торговец скотом. Прежде он служил в ратной службе у воеводы Алябьева и маленько спознался с ратным делом. Этот староста Кузьма Захаревич сказал тогда миру такое слово:

”Вот прислана грамота из Троицко-Сергиева монастыря; прикажите прочитывать ее в церкви народу. А там что Бог

даст. Мне было видение: явился св. Сергий и сказал мне: разбуди спящих”.

На другой день после того зазвонили в большой колокол у св. Спаса.

Сошлись люди у св. Спаса. Отслужили обедню. После обедни вошел на амвон протопоп Савва и сказал:

”Православные христиане! Господа братья! Горе нам! Пришли дни конечной гибели нашей. Пропадает наше Московское государство! Гибнет и вера православная. Горе нам! Лютое обстояние. Польские и литовские люди в нечестивом совете между собою умыслили разорить Московское государство, искоренить истинную веру Христову и водворить латинскую многопрелестную ересь. Как нам не плакать? Горе и нам, и женам, и детям нашим. Еретики разорили достославный богохранимый град царствующий Москву и предали всеядному огню чад ея. Что нам делать? Не утвердиться ли нам на единении и не постоять ли за чистую и непорочную веру Христову и за святую соборную церковь Богородицы Ея честнаго Успения и за многоцелебныя мощи московских чудотворцев. А вот, православные христиане, и грамота из Троицко-Сергиева монастыря от архимандрита Дионисия с братиею”.

Грамоту прочитали. Тогда в народе послышались жалостные стоны. Говорили люди со слезами: ”Горе нам! Беда нам! Погибла Москва, царствующий град. Погибнет все наше Московское государство!”

Вышел народ из собора и столпился подле церкви. Тут староста Кузьма Захаревич Минин-Сухорук стал говорить к миру и сказал громко:

”Православные люди! Коли нам похотеть подать помощь Московскому государству — не пожалеем животов наших, да не токма животов, дворы свои продадим, жен, детей в кабалу отдадим; будем бить челом, чтоб шли заступиться за истинную веру и был бы у нас начальный человек. Дело ве-

λικое мы совершим, если нам Бог благословит, слава будет нам от всей Земли Русской, что от такого малаго города произойдет такое великое дело. Я знаю, только мы на это дело подвигнемся, — многие города к нам пристанут и мы вместе с ними дружно отобьемся от иноземцев”.

Нижегородцам люба эта речь показалась. Все как бы в один голос дали свое согласие и, приступивши к Минину, говорили:

”Ты, Кузьма Захаревич, будешь старшой человек. Отдаемся тебе на всю твою волю”.

Стали потом думать, кого бы из бояр выбрать им начальным человеком ратной силы. Нужно было такого, чтоб имел смысл в ратном деле, да и в измене Земле Русской и ни в каком дурном деле не объявился. Не найти было такого с первого раза. Много бояр осрамили себя в прошлые годы: одни — тем, что приставали к ведомому вору, который назывался в другой раз Димитрием; другие — кланялись полякам и держали их сторону; теперь иные из них хоть и раскаялись, увидевши въявь, что поляки русских только обманывают, да народ им не верил; притом важнейшие бояре сидели в Кремле, а хоть бы который из них хотел пристать к своим, поляки бы его не пустили из Кремля. Вспомнили князя Димитрия Михайловича Пожарского. В прежние времена он не стоял на виду, но и не делал никакой неправды; не был он в воровских шайках, не просил милостей у польского короля. Как только покойный Прокопий Петрович Ляпунов поднялся против польской власти, князь Димитрий Михайлович Пожарский был из первых, которые стали с ним заодно. Он был первый, который с передовым отрядом вошел в Москву в то самое время, как поляки зажгли ее. Он бился с ними на Лубянке под Введением; его увезли раненого, и с тех пор он сидел в своей деревне, за сто двадцать верст

от Нижнего Новгорода, и тогда чуть оправился от ран. К нему приехали печерский архимандрит Феодосий и дворянин Ждан Болтин, а с ними несколько посадских. Они просили его от всего Нижнего Новгорода постоять за Землю Русскую и принять начальство над ополчением.

Князь Пожарский сказал:

“Я рад за православную веру пострадать до смерти, а вы изберите из посадских людей такого человека, чтоб ему в мочь и за обычай было со мною быть у нашего великаго дела — ведал бы он казну на жалованье ратным людям”.

Стали думать посланцы, кто бы мог быть такой у них пригодным, но князь Пожарский не дал им додуматься и сказал:

“У вас в городе есть такой человек, Кузьма Захарьевич Минин-Сухорук, человек он бывалый; его на такое дело станет”. Посланцы воротились в Нижний и рассказали на сходке, что им отвечал князь Димитрий Михайлович. Тогда весь мир приступил к Кузьме Захарьевичу Минину-Сухоруку; стали просить, чтоб он был у великаго дела, собирал бы казну и заведовал ею.

Минин-Сухорук отговаривался не оттого, чтоб он в самом деле не хотел на себя принимать важнаго дела, а затем, чтоб его поболее попросили, и он как будто поневоле согласился угодить миру, чтобы его потом слушали, а не станут слушать, так он бы мог им говорить: “Я ведь не хотел этой чести и власти: вы меня приневолили всем миром; так теперь я имею над вами власть. И круто вас поверну, коли захоу”.

За этим-то Минин-Сухорук не решался долго-долго, а напоследок согласился: сейчас же велел написать мирской приговор на свой выбор, посадским людям приложить к нему руки и тотчас после того отправил его к князю Димитрию Михайловичу Пожарскому. Это он сделал затем, чтобы нижегородцы не одумались и не переменяли своей

воли. Скоро увидели нижегородцы, что Кузьма Захарьевич Минин-Сухорук им тяжел. Он устроил оценщиков, велел ценить у всех дворы, скот, имущество и от всего брал пятую часть, а у кого не было денег, у того продавал имущество. Не давал он спуску ни попам, ни монастырям, ни богатым, ни бедным. Иных самих с женами и детьми в кабалу отдавали. Положили, чтоб никто не остался, не давши своей доли для общего дела. Были примеры, что иные давали добровольно и более чем следовало. Одна богатая вдовица копила много лет деньги и скопила 12 000 руб. и отдала из них 10 000.

Приехал князь Пожарский. Тогда написали грамоту от него и от всех нижегородцев: и духовного и мирского чина людей, и больших и малых. Эту грамоту послали в списках по городам с гонцами: в Кострому, Вологду, Казань, Ярославль, Углич, Белоозеро, Владимир, Рязань и в другие во многие. Как только эта грамота приходила в какой-нибудь город, воеводы посылали бирючей (т.е. рассыльщиков) собирать в город людей. Приказывали прочитать грамоту в соборной церкви, потом народ собирался на сходку. Там постановляли миром взять такую-то деньгу со всех по разверстке (т.е. такую-то часть с оценки имуществ), составить ополчение, назначили, когда ему выходить и куда идти, кому оставаться беречь город, готовили порох и оружие, а бабы пекли сухари и готовляли сухое толокно в поход ратным людям. Скоро стали приходять в Нижний ратные люди из соседних городов. Пожарский устраивал на свой счет кормы, а Минин раздавал им жалованье по статьям, кто чего был достоин по своей службе: дворяне и дети боярские, у которых были поместья, отказались от денежного жалованья, а раздавалось жалованье казакам и стрельцам. Когда уже в Нижний пришло довольно войска, Пожарский с Мининым вышел из Нижнего и прибыл в Ярославль. Патриарха Гермогена не



было уже на свете. Когда в Москву дошла весть о том, что в Нижнем составляется ополчение, поляки приступили к Гермогену и требовали, чтоб он написал в Нижний и велел распустить ополчение и остаться верными присяге, данной Владиславу. Гермоген отвечал: "Да будет над ними милость Господа Бога, а от нашего смирения благословение, а на изменников излиется от Бога гнев, и будут они от нашего смирения прокляты в сем веке и в будущем". За это патриарха стали содержать в большей тесноте и томить голодом. Он скончался в Чудовом монастыре 17 февраля 1612 года, как говорили, от голода.

Пожарский простоял в Ярославле с марта до половины месяца августа. Были многие причины этой долгой стоянки. Надобно было подождать, пока подойдут из городов ополчения и пришлют казны; надобно было узнавать и поразведывать, что делается в Польше и какие силы может против нас выдвинуть польский король, кроме того, Новгород договорился со шведами принимать шведского королевича, и Пожарскому надобно было обезопасить себя от шведов, чтобы они на него не пошли войною принуждать Московское государство брать на царство шведского королевича. Для этого Пожарский посылал в Новгород к шведам согласие и обещание, что как только русские поконтчат с поляками, так и станут выбирать в цари шведского королевича, а на уме у Пожарского и у всех русских было другое: они натерпелись вдоволь от иноземцев, ни за что не захотели бы никакого чужого государского сына в цари себе, а думали выбрать на престол кого-нибудь из своих боярских родов. Для этого Пожарский из Ярославля писал по городам Русской Земли, чтоб земство везде выбирало из чинов всех званий по два человека выборных и чтоб эти выборные приезжали в Ярославль и составили около Пожарского земскую думу, и подума-

ли бы вместе, как и кого выбирать в государи. И оттого еще долго стоял Пожарский в Ярославле, что у него в ополчении сделалась большая неурядица; как съехались к нему бояре и дворяне, так вместо того чтоб всем быть в совете, они только ссорились меж собою: один хотел быть выше другого, а глядя на них, и те служилые люди, что были ниже их по чинам, не повиновались начальству и своевольствовали, а Пожарский был человек не такой, чтоб все его боялись, и не умел их держать в грозе и в порядке. Ничего с ними не сделавши, он вызвал из Троицко-Сергиева монастыря бывшего митрополита ростовского Кирилла, который у Троицы жил на кое. Тот своими пастырскими словами с трудом мог завести какой-нибудь лад, по крайней мере его уважали; было постановлено, что кто с кем поссорится, обе стороны должны идти судиться к митрополиту, и как митрополит порешит и рассудит, так тому и быть.

Под Москвой тем временем все по-прежнему стояло казачье войско. Князь Димитрий Тимофеевич Трубецкой хотел быть заодно с князем Пожарским; он хоть и служил вору, и потом хоть и потакал казакам, а все-таки был человек Московского государства и хотел добра своему народу. Заруцкий, не смея явно показать, что он недруг Пожарскому и земским людям, должен был прикинуться, что радуется приходу новой силы, и вместе с Трубецким послал от себя к Пожарскому звать его под Москву, а меж тем подослал злодеев убить Пожарского. Случилось в Ярославле, когда князь Димитрий Михайлович Пожарский осматривал пушки и рассуждал, какие взять с собой под Москву, а какие оставить, злодеи подкрались к нему посреди народа стоявшего кругом князя, и один хотел ударить его ножом в живот, да не попал и ударил в ногу своему товарищу. Тут их перехватили; они во всем сознались; народ хотел их разорвать, но Пожарский велел их только пос-

лать в тюрьму; может быть, он сохранил для того, чтоб ими уличить Заруцкого.

После этого Заруцкий, видя, что ему нет удачи, а Пожарский скоро придет, убежал ночью из-под Москвы, взявши с собой и Марину с сыном. За ним пошла толпа самых завязтых казаков.

Вышедши из Ярославля, Пожарский шел через Ростов и Переяславль. Тамошние люди пристали к нему. Он остановился у Троицко-Сергиева монастыря. Здесь вся его ратная сила поставлена была на горе Волкуше. Архимандрит Дионисий со всею братиею служил молебен, освящал воду, все войско окропил св. водою. Молили Бога, чтоб даровал победу православному воинству над иноверцами.

23 августа подошло ополчение к Москве. Трубецкой сначала просил соединиться с ним в один стан, но земские люди не согласились: они не доверяли казакам, помнили, как они извели Ляпунова и как потом ругались над земскими людьми. Одни с другими никак не могли сойтись и быть в единомыслии, хоть и сражались против общего врага. Казаки, признавая начальство князя Димитрия Тимофеевича Трубецкого, стояли на реке Яузе, а земские с князем Димитрием Михайловичем Пожарским вправо от них — у Арбатских ворот.

Через день после прибытия Пожарского появился под Москвою гетман Ходкевич. За ним шли ряды возов, числом четыреста, с запасами, которые надобно было провезти в Кремль или Китай-город.

Ходкевич стал переходить через Москву-реку на Девичье поле и хотел, переправившись, повернуть направо, пробиться через Белый город и провезти запасы в Кремль. Русские его отбили.

На другой день после того, утром рано, Ходкевич поставил свои возы с запасами в порядок и велел с ними войску идти направо. Пошли от Донского монастыря по Замоскворечью и дума-

ли пробраться к Москве-реке, перейти ее и везти в Китай-город. Им тут мешали казацкие острожки да рвы, да окопы, да накиданные кучи щебня: нельзя было двигаться с лошадьми, и поляки потащили возы сами. Как дошли они до церкви Климента святого на Пятницкой улице, тут у них завязался жестокий бой с казаками. В это время казаки заволновались, видели, что с другой стороны земские люди им не помогают, и стали кричать: "Что ж это? Дворяне да дети боярские только смотрят на нас, как мы бьемся да кровь за них проливаем! Они и одеты, и обуты, и накормлены, а мы и голы, и босы, и холодны. Не хотим за них биться".

Тут прибежал к ним келарь Авраамий Палицын и стал уговаривать. "Храбрые, славные казаки, — говорил он им, — от вас началось доброе дело; вам вся слава и честь, вы первые перетерпели и голод, и холод, и наготу, и раны. Слава о вашей храбрости гремит в далеких землях, на вас вся надежда. Неужели, милые братцы, вы погубите все дело!" Эта речь старца Авраамия Палицына так их привела в чувство, что все закричали: "Хотим помирать за православную веру! Иди, отче, к нашим в таборы. Умоли их всех идти с нами на неверных!" Палицын перешел назад через реку, пошел в табор к реке Яузе и там застал атаманов, которые пили вино, играли в карты да песни пели. Палицын проговорил им такое горячее слово, что все бросились и кричали: "Пойдем, пойдем, не воротимся назад, пока не истребим вконец поляков".

"Вот вам ясак! — сказал Палицын. — Кричите: Сергиев! Сергиев! Чудотворец поможет. Вы узрите славу Божию".

Весь табор казацкий поднялся, одни в богатых, золотом шитых, зипунах, другие, босые и оборванные, кидались за Москву-реку и кричали: "Сергиев! Сергиев!"

Тогда Минин сказал Пожарскому: "Князь, дай мне войска, я пойду".

"Бери, сколько хочешь!" — ска-

зал ему князь Димитрий Михайлович Пожарский.

Минин взял с собой людей, перешел реку, ударил на поляков у Крымского двора и сбил их. Тем временем завязался свирепый бой у казаков на Пятницкой улице. Казаки так призывали имя св. Сергия, что их крик покрывал ружейные выстрелы. Наконец, поляки не выдержали, подались и побежали; казаки отрезали у них и потащили к себе четверста возов с запасами. Ходкевич увидел, что все у него пропало, с чем пришел, и приказал протрубить своим, чтоб уходили к Воробьевым горам. Казаки хотели было преследовать, но воеводы запретили и говорили: "Довольно! Двух радостей в один день не бывает! Как бы после радостей да горя не отвеждать!"

После этой неудачи ничего не оставалось Ходкевичу, как удалиться от столицы: продовольствия не было ни для тех, что в Кремле сидели, ни для его собственного войска; надобно было идти или по Московской Земле собирать его снова, или уходить совсем из Московской Земли. 28 августа Ходкевич отошел от Москвы, но, отходя, все-таки успел дать знать осажденным землякам, что воротится скоро, да еще уверял, что король придет скоро. Ходкевич ушел к Вязьме, послал отряды собирать запасы, а сам дожидался своего короля, который в самом деле тогда уже собирался в поход.

Освободившись от литовского войска, русские обступили Китай-город и Кремль. Выкопали глубокий ров, заплели плетень в две стены и между стенами его насыпали земли. В трех местах построили деревянные высокие туры и на них поставили орудия, из которых палили в город. Трубецкой и Пожарский до тех пор стояли разными станами, косились друг на друга; Пожарский остерегался казаков и самого их предводителя, но после ухода Ходкевича оба военачальника помирились, и хотя не стали жить в одном таборе, но

каждый день съезжались для совета на Трубе. Казаки опять было забурлили, начали требовать большего жалованья и грозили уйти прочь, да еще похвалялись ограбить земских. Дать им жалованье следовало, да казны неоставало. Хоть изо всех городов и земель русских и присылали деньги, но вся Русь была так разорена и до того обнищала, что никакими способами нельзя было из нее выжать многого. Чтоб чем-нибудь успокоить казаков, келарь Авраамий привез им из Троицко-Сергиева монастыря в залог церковные облачения, шитые золотом и вышитые жемчугом. Но казаки, как прослушали грамоту от монастыря, которую им привез Авраамий вместе с облачениями, до того пришли в умиление, что не взяли залога. "Всякие многие беды перетерпим, — говорили они, — а, не отнявши у врагов Москвы, не отойдем".

15 сентября Пожарский послал к полякам письмо: "Ваш гетман, — писал он, — далеко: он ушел в Смоленск и к вам не воротится скоро, а вы пропадете с голоду. Королю вашему не до вас теперь: на ваши границы турок напал, да и в государстве вашем нестроение. Не губите напрасно душ своих за неправду вашего короля. Сдайтесь! Кто из вас захочет служить у нас, мы тому жалованье положим по его достоинству, а кто захочет в свою землю идти, тех отпустим, да еще и подмогу дадим".

Но тогда над поляками, вместо Гонсевского, который уже уехал домой, начальствовал пан Николай Струсь, человек храбрый, упрямый и заносчивый. Он обнадеживал своих земляков, что вот скоро прибудет к Москве сам король. По его наущению, польские полковники отвечали Пожарскому бранными словами. "Вы, — писали, — москвитяне — самый подлейший в свете народ, похожи на сурков: только в ямах умеете прятаться; а мы такие храбрецы, что вам никогда не одолеть нас. Мы не закрываем перед вами стен, берите их, коли вам

надобно. Вот король придет, так он покарает вас, а тебя, архибунтовщик Пожарский, паче всех”.

Прошел сентябрь — помощи не было. Поляки все поджидали то короля, то гетмана. Не приходил к ним ни тот ни другой, и слуха к ним не доходило ни от того ни от другого. Наступил нестерпимый голод. Переевши всех своих лошадей, стали есть собак, мышей, крыс; грызли разваренную кожу с сапогов, принялись за человеческие тела. Кто умирал, на того голодные бросались и пожирали его; кто посильнее, тот повалит слабого и грызет. Русские, узнавши, что неприятель их в таком ужасном положении, стали стеснять их покрепче и 22 октября сделали сильный приступ на Китай-город. Голодные поляки не могли обороняться, покинули Китай-город и заперлись в Кремле. Пожарский и Трубецкой вошли в Китай-город с иконою Казанской Богородицы, которая находилась в русском стане, и тогда же дали обещание построить в память сего дня церковь во имя иконы Пресвятой Богородицы Казанской, которая и была потом построена и стоит до сих пор. Первое, что увидели русские в Китай-городе, были чаны с человеческим мясом.

Взявши Китай-город, русские окружили Кремль, но уже поляки не думали защищаться. Сперва они выпустили русских боярынь и дворянок с детьми. А на другой день прислали просить милости и пощады, сдавались военнопленными, вымаливали себе только жизнь. Пожарский дал от себя обещание, что ни один пленник не погибнет от меча.

24 октября поляки отворили Троицкие ворота на Неглинную и стали выпускать сначала бояр и дворян. Князь Мстиславский, старший по роду из бояр, составивших совет, шел впереди всех. Жаль было смотреть на них. Они стали толпою на мосту: не решались двигаться далее. Казаки подняли страшный шум и

крик. ”Это изменники! Предатели! — кричали казаки. — Их надобно всех перебить, а животы их поделить на войско!” Но дворяне и дети боярские готовились стать грудью за своих земляков, которые не столько по охоте, сколько поневоле должны были служить врагам. Уже между земскими и казаками началась сильная перебранка, почти до драки. Бедные бояре все стояли на мосту и ждали своей участи. Но не дошло до драки. Казаки пошумели, пошумели и отошли. Пожарский и прочие бояре и дворяне с ним приняли честно своих земляков и привели в свой стан. Но им нельзя было оставаться в Москве. Многие забрали свои семьи да уехали и сидели преимущественно по монастырям.

На другой день, 25 октября, русские вступили в Кремль с торжеством. Земское войско собралось возле церкви Иоанна Милостивого, на Арбате, а войско Трубецкого за Покровскими воротами. С двух этих концов пошли архимандриты, игумены, священники с крестами, иконами и хоругвями; за ними двигались войска. Оба крестные хода сошлись в Китай-городе на Лобном месте. Впереди духовенства был архимандрит Дионисий, приехавший из своей обители нарочно для такого великого торжества веры и Земли Русской. Из ворот, которые теперь называются Спасскими, а тогда назывались Фроловскими, вышло духовенство, сидевшее в Кремле, с галасунским архиепископом Арсением. Духовенство вошло в Кремль, за ним посыпала туда ратная сила, и в Успенском соборе служили благодарственный молебен об избавлении царствующего града.

И в Кремле, как и в Китай-городе, русские увидели чаны с человеческим мясом. Они слышали стоны и проклятия умиравших от голода поляков и служивших в польском войске немцев. Все побросали оружие и стояли безмолвно, ожидая своей участи. Начальника их,

Струсая, тотчас заперли в Чудовом монастыре. Все имущество поляков взято в казну; отбором распоряжался Минин. Все это отдали казакам в счет жалованья. Пленников послали в таборы и поделили. Одну половину взял Пожарский в земский стан, другую — погнали в казачий. Казаки не слишком уважали договор и почти всех перебили. Те, которые достались Пожарскому, остались целы. Их погнали в разные города. В Нижнем Новгороде народ хотел перебить пленников; и, когда воеводы стали не давать их, народ до того разозлился, что чуть было самим воеводам не досталось. Насилу мать Пожарского уговорила нижегородцев.

Освободивши Москву от поляков, русские должны были отделаться от короля, который наконец вступил в Московское государство, когда его подданные погибали в Москве от голода. Он оттого медлил, что у него войска не было, да и денег ему не давали много поляки на эту войну. И теперь он шел с небольшим войском, да зато вез с собой сына своего Владислава, избранного московскими боярами в цари. Он надеялся, что московские люди как увидят, что им везут того, кого они согласились посадить на престол, то и переменятся, и станут послушны королю, и тогда можно будет взять их в неволю. Но не так было. Люди Московского государства не хотели ни Владислава, ни другого какого бы то ни было королевича из чужой стороны. Им уже омерзели все иноземцы, а поляки наипаче. Король остановился под городом Волоком-Ламским\* и оттуда послал к Москве отряд и с ним двух русских для разговоров. Но воеводы под Москвою разговаривать об этом не хотели и объявили, что Земля Московская не желает Владислава и готова биться с королем. Сигизмунд, постоявши под Волоком-Ламским, расшел, что

с малым войском нельзя ему отважиться идти под Москву, а тут зима настала. Он повернул домой вместе со своим сыном. И досадно, и срамно ему было.

И шведам был от московских людей такой же неприятный ответ, как полякам. Шведы, услышав, что русские очистили столицу от неприятеля и хотят выбирать себе государя, прислали к воеводам напомнить, что они прежде были не прочь от того, чтобы на своем престоле посадить шведского королевича. Русские на это им сказали: "Мы затем с вами так говорили, чтоб вы нам не мешали расправиться с поляками; а теперь, как мы их из столицы прогнали, так мы и с вами, шведами, готовы биться, а королевича не хотим".

По грамотам, разосланным по всем городам, стали в Москву съезжаться выборные люди для избрания нового государя. Все с первого раза приговорили из чужеземцев не выбирать никого, а выбирать из своих бояр. Казалось, толковать было не о чем. Уж наперед можно было видеть, кого выберут. Не было тогда никого милее народу русскому, как род Романовых. Уж издавна он был в любви народной. Была добрая память о первой супруге царя Ивана Васильевича, Анастасии, которую народ за ее добродетели почитал чуть ни святою. Помнили и не забыли ее доброго брата Никиту Романовича и соболезновали о его детях, которых Борис Годунов перемучил и перетомил. Уважали митрополита Филарета, бывшего боярина Федора Никитича, который находился в плену в Польше и казался русским истинным мучеником за правое дело. Был у него шестнадцатилетний сын Михаил; вместе с матерью, именем Марфою (постриженною насильно Борисом, как и ее муж), и дядею Иваном он сидел в Кремле с прочими боярами, когда поляки владели столицею. Еще когда только Шуйского низложили с престола, многие желали его посадить, но он был тогда еще мал, да, главное, поляки помешали, навязав Москве Владислава. Теперь,

\*Волоколамск.

как только стали говорить и толковать о царском выборе, сразу заговорили о Михаиле Романове. Но были у него противники. Некоторые бояре хотели себе власти и нарочно тянули выбор, а сами засылали к выборным людям, чтоб расположить их в свою пользу. Это было напрасно. Не выборные люди, а служилые и земские, и казаки написали челобитные, что вся земля хочет Михаила Романова и подали троицкому келарю Авраамию, чтоб он их желание показал выборной думе. Тут же, кстати, пришли челобитные из Калуги и других соседних с нею городов, и оттуда люди всем миром заявляли, что не хотят другого государя кроме Романова. Тянуть выбора нельзя было дольше. Казаки вскричали, что и они хотят царем только Романова, — казацким голосом нельзя было пренебречь. Если выбрать царя не по их мысли, то можно было ожидать больших смут. С избранием Романова выходило так хорошо, что и земские люди, и казаки могли быть довольны. В неделю православия, 21 февраля, вышли на Красную площадь рязанский архиепископ Феодорит, келарь Авраамий, боярин Василий Петрович Морозов и хотели спрашивать множество народа, нарочно собранного для этого. Но им не довелось сказать ни одного слова. Народ, как только увидел и догадался, зачем его собрали и что у него хотят спрашивать, в один голос закричал: "Михаил Федорович Романов будет царь-государь Московскому государству и всей Русской державе". "Се быть по смотрению Всевышняго Бога!" — сказал тогда Авраамий Палицын. После этого отслужили молебен и на ектениях помянули новоизбранного царя Михаила Федоровича.

Вскоре потом отрядили послов просить Михаила Федоровича на царство. Главными в том посольстве были: Федор Петрович Шереметев, князь Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский, из окольных Федор Васильевич Головин, а с ними служилые всяких чинов (по

спискам, а именно: стольники, стряпчие, дворяне московские, дьяки, жильцы, дворяне и дети боярские из городов, голывы стрелецкие, гости, атаманы, казаки, стрельцы). Отправив посольство к царю, совет выборных людей и вся земская дума послали к Сигизмунду III гонца известить его польское величество, что Московское государство никоими мерами не желает более видеть сына королевского Владислава на престоле, но согласно заключить с Польшею мир и жить с поляками по-дружески, по-соседски; пусть поляки отпустят тех послов, которые поехали просить на царство Владислава и которых они несправедливо задержали; пусть также отпустят всех пленников русских, взятых в прошлое недавнее время, а русские отпустят в Польшу тех поляков, которых взяли в Москве в плен.

Новоизбранный царь жил тогда с матерью в Ипатском монастыре возле самого города Костромы<sup>10</sup>. Туда прибыло московское посольство и явилось в монастырь 13 марта. Инокиня Марфа и сын ее назначили им прийти и говорить о делах на другой день.

14 марта, после обедни, послы пригласили с собой костромское духовенство и подняли чудотворную икону Пресвятой Богородицы, называемую Федоровской, оттого, что эта икона, как гласило предание, была чудотворно принесена из Городца в Кострому святым Феодором Стратилатом. Мать и сын встретили шествие за воротами монастыря и, не желая соглашаться принимать чести, которую предлагали им приехавшие послы, отказывались было идти за иконами и хоругвями в церковь — на силу их упростили, и они пошли. В соборной церкви послы объявили, что все Московское государство просит Михаила Федоровича принять скипетр царствия, а мать благословить сына на царство. Но и Михаил Федорович, и мать его не хотели поступить по желанию посольства. При этом инокия Марфа Ивановна говорила так: "Сын мой еще не в совершенных

летах, да притом Московскаго государства люди измалодушествовались — давали свои души прежним московским государям и не прямо служили им. Как грех ради всего Московскаго государства пресекася корень прирожденных государей и не стало блаженной памяти государя Федора Ивановича, московские люди избрали на престол Бориса Федоровича Годунова, и целовали крест служить и прямить ему и его детям, а потом, когда Бориса царя не стало, изменили сыну его царю Федору Борисовичу, отъехали к вору, который по злоумышлению польскаго короля назвался Димитрием Ивановичем, а потом царя Федора Борисовича с матерью вор предал горькой смерти. Потом московские люди вора, которого сами назвали царем Димитрием, убили и сожгли, выбрали на престол князя Василия Ивановича Шуйскаго, целовали ему крест, и изменили: многие уехали к другому вору в Тушино, а те, которые туда не отъехали, скинули с престола царя Василия, постригли, да в Литву отдали с братьями. Как же можно быть на Московском государстве государю, видя такое непостоянство и крестопреступления, и убийства, и поругания над прежними государями? Да притом Московское государство от польских и литовских людей и от непостоянства русских людей разорено до конца; прежняя царския сокровища давних лет литовские люди вывезли; дворцовыя села, черныя волости, пригородки и посады розданы в поместья дворянам и детям боярским, изопустошены; все служилые люди бедны; и кому повелит Бог быть государем, тому чем жаловать служилых людей и полнить свои государевы обиходы и стоять против своих недругов — польскаго короля и других пограничных государей? Мне благословить сына своего на царство разве на одно погубление; отец его, митрополит Филарет, ныне в плену у короля в Литве в великом утеснении, сведает король, что по прошению и по чело-

битью всего Московскаго государства, учинится государем его и мой сын, — король тотчас велит над отцом его, митрополитом Филаретом, какое-нибудь зло сделать; да ему, сыну моему, нельзя быть на Московском государстве без благословения отца своего”.

На это послы возражали так:

”Государь Михаил Федорович! Не презри моления и челобитья всяких чинов людей Московскаго государства; а ты, великая старица инока, Марфа Ивановна, благослови сына своего государя на государство. Московскаго государства всяких чинов люди будут государю служить и прямить во всем. Его, государя, обрали на Московское государство российскаго царствия по изволению Всемилостиваго в Троице славимаго Бога и Пречистыя его Богородицы и всех святых, а не по его государскому хотенью: Бог положил так единомышление в сердцах всех православных христиан от мала до велика в Москве и во всех городах всего Российскаго государства, а прежние государи не так воцарились. Царь Борис сел на государство своим хотеньем, изведши государский корень, царевича Дмитрия, и начал делать многия неправды; и Бог ему мстил за убиение и за кровь праведнаго безпорочнаго государя царевича Дмитрия Ивановича богоотступником Гришкою Отрепьевым; а вор Гришка Отрепьев-разстрига приял от Бога месть по делам своим и злою смертию умер; а царя Василия избрали на государство не многие люди, и тогда, по вражьёу действу, многие города не захотели ему служить, а отложились от Московскаго государства; все это делалось волею Божию и грехом всех православных христиан: во всех людях Московскаго государства была рознь и межусобство; да в то же время, по злоумышлению польскаго короля, пришел калужский вор под Москву с русскими и с литовскими людьми, а гетман Жолкевский шел к Москве с польскими, и литовскими, и немецкими людьми, и

с русскими изменниками, и умысля, чем бы разорить Московское государство и прельстить людей, начал ссылаться с боярами, будто король Сигизмунд прислал его для христианского покоя и дает на престол московский сына своего, королевича Владислава, и тогда московские люди, видя себе отовсюду тесноту, били челом царю Василию, чтобы он государство оставил и христианская кровь перестала быть литься; и царь Василий царство оставил. Что учинилось над царевичем Федором Борисовичем и над царем Васильем, то учинилось Праведнаго Владыки судьбами и казнью всех людей: а ныне люди Московскаго государства покаялися все и пришли в соединении во всех городах. А чтоб король в Литве отцу государеву, митрополиту Филарету, какого зла не сделал, так бояре и всяких чинов люди посылают из Москвы к королю посланников и дают за отца государева, митрополита Филарета, в обмен многих польских и литовских людей”.

Но Михайло Федорович и мать его не поддались на эти речи и по-прежнему отказывались. Их просили долго. Держали перед новоизбранным царем царский посох, а он не брал его. Наконец, послы сказали: ”Только ты, государь Михайло Федорович, не пожалуешь всяких чинов Московскаго государства людей, и презришь их и наше слезное челобитье: не захочешь быть на Московском государстве, а ты, великая старица инока, Марфа Ивановна, не изволишь благословить сына своего на царство, то все люди будут в сетовании и печали, а Московское государство придет в конечное запустение от неприятелей, и святые Божия и апостольския церкви и многоцелебная мощи и чудныя иконы будут опоруганы, и станетя истинной православной христианской вере и православным христианам разорение и расхищение, и все это за души православных христиан взыщет Бог на тебе, государь Михаил Федо-

рович, и на тебе, на великой старице иноке Марфе Ивановне”.

Это подействовало на молодого царя и на его мать. Они согласились, как бы страшась наказания Божия за неисполнение всенародной просьбы. Царь взял в руки царский посох, а мать всенародно благословила его. Тогда все по чинам подходили к царской руке.

Через несколько дней новоизбранный царь выехал из Костромы и прибыл в Ярославль 21 марта, где и поместился в Спасском монастыре. Здесь он пробыл несколько недель и, выступивши из Ярославля, ехал в Москву медленно. Надобно было для него отстроить, приготовить и убрать царские палаты, потому что все в Кремле было поляками разорено. Молодой царь увидал, в какое тяжкое время суждено ему было принять царство. Земская дума, состоявшая из выборных людей, извещала царя из Москвы, что в казне нет ни копейки, а служилые люди обступали царя и просили жалованья. Бедность была так велика, что провожавшие царя служилые люди шли пешком, оттого что не на что было купить и содержать лошадей. Но больше всего опечалило царя то, что по Русской Земле и даже около самой Москвы бродили разбойники, по большей части казаки, и мучили людей. К самому царю явились на дороге обожженные, искалеченные люди. Увидавши их, царь так встревожился, что не хотел было ехать в Москву, и жаловался, что послы, которые приезжали просить его на царство, обманули его, уверяли, что Московское государство утешилось и находится в соединении, а выходит на деле совсем не то. Его, однако, уприсоло духовенство, и он 2 мая приехал в Москву, которая чуть начинала отстраиваться после разорения. 10 июля он венчался на царство.

Польский король как услышал, что русские выбрали себе много государя, а сына его не хотят, хоть и хотел было идти с войском под Москву, да средств



у него не было. Те польские войска, которые успели уйти из Московской Земли и не достались в плен русским, требовали себе уплаты жалованья не только за службу королю, но даже за те годы, когда они служили вору, называвшему себя Димитрием и стоявшему под Москвою в Тушине; а когда им жалованья не уплатили, как им хотелось, так они начали бесчинствовать в своей земле, как будто в неприятельской, и делать разные насильства людям. Тут королю и его сенату было уже не до Москвы. Король согласился, чтобы с обеих сторон — и с польской, и с литовской — съехались паны и бояре на переговоры. Тогда пан Ходкевич, гетман литовский, тот самый, что подходил под Москву и ушел, потерявши запасы, говорил: "Ну, мы раздражили Москву; как бы она, поправившись, не заплатила нам и не взяла своего с лихвою!"

Хоть не скоро, а так случилось. Царь Михайло Федорович должен был еще потерпеть от поляков. Через пять лет королевич Владислав подходил к Москве

отыскивать свои права, да ничего не сделал. Московское государство, однако, было так слабо и не могло скоро оправиться от разорения, что должно было уступить Польше Смоленщину и часть Северщины. Но при сыне царя Михаила, Алексее Михайловиче, дела московские исправились. Не только воротили Смоленщину и Северщину, но еще Малороссия сама добровольно присоединилась к Московскому государству, а лет через сто с лишком при императрице Екатерине Россия приобрела в 1772 году часть литовских земель; через двадцать один год после того, в 1793 году, овладела русскими землями, находившимися много лет в соединении с Польшею, а в следующем 1794 году Суворов с русскими войсками взял Варшаву. Польское государство погибло, и Россия расплатилась с Польшею за разорение Москвы и Московского государства в оное время и взяла, как предрекал гетман Ходкевич, свое с лихвою.

## Царевна Софья

События, следовавшие по смерти царя Федора, резко бросаются в глаза своим несходством с прежними явлениями исторической жизни в России. Во главе правления стала девица — событие необычайное до того времени на Руси. Но не следует видеть в нем признака коренного изменения понятий, господствовавших в России; событие это совершилось само собою вследствие того, что царская семья очутилась в таких условиях, в каких не была прежде. Царские дочери до тех пор жили затворницами, никем не видимые, кроме близких родственников, и не смели даже появляться публично. Это зависело, главным образом, от того монашеского взгляда, который господствовал при московском дворе и дошел до высшей степени силы при Романовых. Боязнь греха, соблазна, искушения, суеверный страх порчи, изгласа — все это заставляло держать царевен взаперти. Величие их происхождения не допускало отдачи их в замужество за подданных, а отдавать их за иностранных принцев было трудно, потому что тогдашнее благочестие приходило в соблазн при мысли о брачном союзе с неправославными. Надобно заметить, что вообще уединение женщин, а в особенности девиц, господствовавшее в высшем классе московских людей, исходило не из народных обычаев и не было тем гармоничным положением женского пола, на которое он осужден на Востоке; оно происходило из опасения греха и соблазна, истекало из того благочестия, которое считало монашество высшим богоугодным образцом жизни и признавало нравственным долгом каждой христианской души приближаться к этому образцу<sup>11</sup>. Теремное удаление женщин от общества могло быть то строже, то слабее, смотря по тому, в какой степени круг, в котором они жили, подчинялся такому монашескому взгляду. Где более было желания, чтоб дом походил

на монастырь, там от женщины ради сохранения ее целомудрия не только телесного, но и душевного требовали строгого затворничества, где, напротив того, меньше к этому стремились, там и женщина была менее связана. Притом же ум всегда очень уважался на Руси; и умной личности женского пола не трудно было заявить себя, если только в том семейном кругу, в котором она находилась, ослабнут связывавшие ее путы монашеских приличий. Дочери царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, людей крайне набожных и строго соблюдавших всякую мелочную обрядность благочестия, естественно, были осуждены на теремное заключение при жизни своих отцов и выходили только в церковь. Постоянный строгий надзор тяготел над ними. Но со смертью Алексея Михайловича этот надзор прекратился. Мачехи они не терпели и притом не считали себя нравственно обязанными повиноваться еще слишком молодой женщине. Старший брат Федор был в таком состоянии, что не только не мог присматривать над сестрами, а сам нуждался в присмотре и уходе; другой брат, Иван, был молод и слабоумен, о Петре и говорить нечего, потому что он был еще ребенок. Шестеро царевен очутились на полной свободе, могли вести себя, как угодно; по их сану никто из подданных не смел им перечить. Некоторые из них воспользовались своей свободой только для того, чтобы наряжаться в польское платье или же для того, чтобы заводила любовные связи; но третья из них по возрасту, Софья, хотя также вела далеко не постную жизнь, но отличалась от других замечательным умом и способностями. Она более своих сестер приблизилась к Федору и почти не отходила от него, когда он страдал своими недугами; таким образом она приучила бояр, являвшихся к царю, к своему присутствию, сама привыкла прислушиваться к разговорам о государственных делах и, вероятно, до известной степени уже участвовала в них

при своем передовом уме. Ей было тогда за 25 лет. Иностранцам она казалась вовсе не красивою и отличалась тучностью; но последняя на Руси считалась красотой в женщине.

Смерть царя Федора с первого же разу возбудила важный вопрос: кто будет царем? Положение было почти такое же, как по смерти Грозного. Из двух царевичей, старший Иван был слабоумен, болезнен и вдобавок подслеповат, младший Петр был десяти лет, но выказывал уже необычайные способности. Возведение Ивана на престол повлекло бы за собою на все время его царствования необходимость передать правление в чужие руки и, естественно, прежде всего усилило бы значение власти Софьи, как самой умной из особ царской фамилии. Избрание Петра потребовало бы также боярской опеки на непродолжительное время. Нужно было решить вопрос тотчас же, и вот, в самый день смерти Федора, как только удар колокола возвестил Москве о кончине царя, бояре сехались в Кремль. Между ними большинство уже было на стороне Петра; главными руководителями его партии были два брата Голицыных, Борис и Иван, и четверо Долгоруких (Яков, Лука, Борис и Григорий), Одоевские, Шереметевы, Куракин, Урусов и др. Бояре эти прибыли на совет даже в панцирях, опасаясь смятения. Бывший любимец царский, Языков, не выказывал явного расположения ни к той, ни к другой стороне.

Патриарх Иоаким, как самое почетное лицо после царя, председательствовал в этом совете духовных и светских сановников и держал к ним речь о необходимости немедленного выбора между двумя братьями умершего бездетного царя — "скорбным главою" Иоанном и отроком Петром. Он спрашивал: кого желают избрать царем? Совет разделился: большинство было за Петра, некоторые поддерживали право первородства царевича Ивана. Чтобы прекратить недоумение, патриарх предложил совершить

избрание царя согласием всех чинов Московского государства.

Немедленно созваны были на Кремлевскую площадь служилые, всякого звания гости, торговые, тяглые и всяких чинов выборные люди.

За несколько месяцев перед тем, в декабре 1681 года, царь Федор указал созвать земский собор "для уравниения людей всякаго чина в платеже податей и в отправлении выборной службы". Выборные люди были тогда налицо в Москве и могли явиться по зову патриарха для выбора царя немедленно в Кремль именно потому, что уже находились в Москве по другому делу.

Выборные люди были спрошены с Красного крыльца патриархом в таком смысле:

"Изволением и судьбами Божиими, великий государь царь Федор Алексеевич всея Великия, и Малыя, и Белыя России, оставя земное царствие, переселился в вечный покой. Остались по нем братия его, государевы чада: великие князья Петр Алексеевич и Иоанн Алексеевич. Кому из них быть преемником? Или обоим вместе царствовать? Объявите единодушным согласием намерение свое перед всем ликом святительским, и синклитом царским, и всеми чиновными людьми".

Неудивительно, что все чины Московского государства высказались в пользу Петра. Слабоумие Ивана было всем известно. Вероятно, многим также известны были и проблески необыкновенных способностей младшего царевича. Выборные закричали:

"Да будет единый царь и самодержец всея Великия и Малыя и Белыя России царевич Петр Алексеевич!"

Но раздалась и противные голоса. Главным крикуном был дворянин Максим Исаевич Сумбулов. Он начал доказывать, что первенство принадлежит Ивану Алексеевичу<sup>12</sup>. Его поддерживали немногие, особенно из стрельцов.

Патриарх снова сделал вопрос:

”Кому на престоле Российскаго царства быть государем?”

Раздались было снова голоса в пользу Ивана, но их покрыл громкий крик:

”Да будет по избранию всех чинов Московскаго государства великим государем царем Петр Алексеевич”.

Новоизбранный царь находился в это время в хоромах, где лежало тело Федора. Патриарх и святители отправились к нему, нарекли царем и благословили крестом, а потом посадили на престоле, и все бояре, дворяне, гости, торговые, тяглые и всяких чинов люди принесли ему присягу, поздравляли его с восшествием на престол и подходили к царской руке.

Тяжело это было царевне Софье, но и она вместе с сестрами должна была подходить к Петру и поздравлять с избранием на царство сына ненавистой мачехи.

Во все концы Московскаго государства отправлены были гонцы приводить к присяге народ. Послали звать Матвева в Москву.

На другой день отправлялось погребение Федора. Труп царя несли стольники в санях, а за ним в других санях несли молодую вдову Марфу Матвеевну. Софья только одна из царевен, в противность обычаю, шла за гробом рядом с Петром, которому одному как царю следовало присутствовать при погребении по тогдашнему церемониалу. Софья так громко голосила, что покрывала вопль целой толпы черниц, которые по обряду должны были причитывать над умершим. По окончании погребения Софья, возвращаясь домой, всенародно вопила и причитывала: ”Брат наш, царь Федор, нечаянно отошел со света отравой от врагов. Умилосердитесь, добрые люди, над нами, сиротами. Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни брата царя. Иван, наш брат, не избран на царство. Если мы чем перед вами или боярами провинились, отпустите нас живых в чужую землю к христианским королям...”

Народ был сильно встревожен сло-

вами Софьи и особенно озадачен был обвинением кого-то в отравлении царя.

В тот же день начались пререкания у Софьи с царицею Натальею. Петр, не дождавшись конца длинного обряда погребения царя, простился с мертвым братом и ушел. Софья, вернувшись во дворец, послала от имени всех сестер-монахинь упрекать царицу Наталью: зачем молодой царь ушел до окончания погребения. ”Дитя долго не ело”, — отвечала Наталья Кирилловна; брат ее Иван Нарышкин при этом сказал: ”Кто умер, тот пусть лежит, а царь не умер”.

Нарышкины тотчас подняли голову, особенно этот самый молодой Иван Кириллович, недавно вернувшийся из ссылки; он начал высокомерно обращаться с боярами и хотел разыгрывать роль правителя государства за малолетством царя. Все видели и замечали, что по молодости лет это ему вовсе не пристало.

Казалось, трудно было оспорить законность царствования Петра, царского сына, избранного волею земли. Нарушение народной воли могло совершиться только путем бунта, и для этого в Москве нашелся готовый, горючий материал.

В царствование Алексея Михайловича, как мы уже говорили, во времена беспрестанных бунтов, стрельцы были верными охранителями царской особы. Царь ласкал их преимущественно перед другими служилыми людьми. Они получали лучшее против других жалованье, не участвуя в тягле, могли свободно заниматься торговлею и промыслами, даже богатый наряд их показывал особую благосклонность к ним царя: их кафтаны украшались разноцветными, шитыми золотом перевязями, на ногах были у них цветные сафьянные сапоги, а на головах бархатные шапки с собольими опушками. Царские милости и отличия привели их, однако, скоро к тому, что они начали зазнаваться и неохотно терпели то, что безропотно сносили все русские люди того времени. Их началь-

ники обращались с ними так, как вообще в то время обращались начальники с подчиненными: посылали их работать на себя, заставляли покупать на собственный счет нарядную одежду, которая должна была им идти от казны, удерживали их жалованье в свою пользу, били батогами, переводили против воли из города в город и т.п. Еще зимою, при жизни Федора, стрельцы подали жалобу на своих начальников, но Иван Максимович Языков, который разбирал эту жалобу, приказал перепороть кнутом челобитчиков. В апреле, за несколько дней перед смертью царя, целый полк бил челом на своего полковника Семена Грибоедова, что он своих подчиненных обирает, бьет, посылает на себя работать и т.п. На этот раз Языков, разобрав дело, приказал Грибоедова посадить в тюрьму, а вслед за тем Грибоедов по царскому указу лишен полковничьего чина, вотчин и сослан в Тотьму. По воцарении Петра стрельцы смекнули, что теперь на "верху" будет в них нуждаться, и 30 апреля подали челобитную разом на всех своих полковников, числом шестнадцать, кроме того, на одного генерал-майора солдатского Бутырского полка; вместе с тем они грозили, что расправятся сами, если им не učinят правосудия. Бояре, заправлявшие тогда делами, боялись раздражить выходящую из терпения вооруженную толпу и думали привязать к себе стрельцов уступчивостью: они дали челобитчикам обещание отставить полковников и тотчас велели посадить этих полковников под стражу в Рейтарском приказе, но стрельцы требовали выдачи их головою для расправы им самим и не довольствовались обещанием наказать виновных по розыску. Патриарх хотел во что бы то ни стало предупредить самовольную расправу стрельцов над своими начальниками, так как она могла послужить примером и поводом всеобщего неуважения к власти; патриарх отправил по всем полкам духовных лиц уговаривать, чтобы стрельцы

ничего не делали своим полковникам и ожидали царской расправы. Стрельцы соглашались предоставить расправу правительству, но единогласно требовали, чтобы с виновных взысканы были взятые ими неправильно поборы и чтобы, кроме того, они были наказаны батогами.

На следующий день, первого мая, удалены были из дворца Языков с сыном и Лихачевы с их друзьями. Это было сделано, с одной стороны, в угоду стрельцам, с другой — оттого, что Нарышкины не любили их. Вместо отставленных стрельцких полковников, назначены были другие, угодные стрельцкому кругу, а обвиненных вывели перед Рейтарским приказом для наказания и пражея. Стрельцы подавали на них счеты. Им верили на слово без всякого исследования. Сначала полковников одного за другим, раздевши, "кляли на землю", и в присутствии целой толпы стрельцов двое палачей били их батогами до тех пор, пока стрельцы не "закричат: довольно. Тех, на которых особенно были злы стрельцы, кляли по два и по три раза; другим досталось меньше. Это было собственно наказание; затем следовал пражея, продолжавшийся целых восемь дней. Несчастных полковников били ежедневно два часа по ногам до тех пор, пока они не заплатили того, что на них насчитывали; в заключение их выслали из Москвы.

Нарышкины и их сторонники потакою, данному стрельцам, сами, так сказать, разлакомили их к самоуправству и заохотили к бунтам. Теперь стрельцам все стало нипочем. Они толпами ходили по улицам, грозили боярам, дерзко обращались со своими начальниками, а некоторых даже сбросили с каланчи. Тут-то сторонники Софьи нашли удобный случай обратить разнузданное войско для перемены правительства. Выборные люди, избравшие Петра на царство, 6 мая были распушены; собор об уравнинии податей и служб был отсрочен. Быть мо-

жет, это сделалось по козням тех, которые замыслили переворот. Трудно решить, в какой степени сама Софья управляла этим делом, но она, без сомнения, знала о замысле поднять стрельцов, составленном ее благоприятелями. Главными зачинщиками были боярин Иван Михайлович Милославский, двое Толстых и князь Иван Хованский, прозванный "тараруем". Хованский, призвав к себе одного за другим влиятельных стрельцов, говорил им: "Видите, в каком вы теперь ярме у бояр; а кого царем выбрали? Стрелецкого сына по матери; теперь уже не дают вам ни платья, ни корму, а что дальше будет? Станут отправлять вас и сынов ваших на тяжелыя работы, отдадут вас в неволю постороннему государю. Москва пропадет; веру православную искоренят. С королем польским вечный мир постановили по Поляновскому договору! От Смоленска отrekliсь... Теперь пусть Бог наш благословит защищать отечество наше: не то что саблями и ножами, зубами надобно кусаться..." Такие подушения начали распространяться между стрельцами; какая-то малороссиянка Федора Родимица шаталась между ними и раздавала деньги от имени Софьи. Из новопоставленных стрелецких начальников некоторые ходили тайно к боярину Милославскому, который тогда притворился больным и никуда не выходил из дому, и сделались горячими сторонниками предполагаемого переворота. Из этих стрелецких начальников более всех действовал тогда подполковник Циклер. Возмутители волновали стрельцов рассказами о том, будто бы Нарышкины намерены произвести розыск над стрельцами, которые силою истребовали наказание своим начальникам; будто бы зачинщиков хотят казнить, других рассылать по городам и вообще забрать стрельцов в крепкие руки.

День ото дня возрастало между стрельцами волнение при помощи распространяемых всякого рода слухов и сплетен. 11 мая приехал в Москву Арта-

мон Сергеевич Матвеев. Зная, какая роль ожидает его при новом царе, все спешили к нему с поздравлением, и сами стрельцы поднесли ему хлеб-соль. Артамон Сергеевич с первого же разу высказал неодобрение последних действий правительства. Он был недоволен уже и тем, что братьев царицы Натальи слишком рано по их летам возвели в высшее достоинство: один из них, Иван, был сделан боярином и оружничим, достигнувши едва 23-летнего возраста. Но еще более порицал Матвеев крайнюю слабость, выказанную по отношению к стрельцам, и говорил: "Они таковы, что если им хоть немного попустить узду, то они дойдут до крайнего безчинства..." Слова эти тотчас стали известны между стрельцами, и Матвеев сделался у них врагом. Два дня спустя, 14 мая, стала ходить между стрельцами такая сплетня: брат царицы Натальи, Иван, надевал на себя царский наряд, садился на трон, примеривал на свою голову царский венец и говорил, что он ему идет лучше, чем кому-нибудь другому; вдова царя Федора, Марфа Матвеевна, царевна Софья и царевич Иван стали его за это укорять, а он бросился на царевича, и, верно, задушил бы его, если бы царица и царевич не закричали и на крик не прибежали караульные и не отняли царевича из рук Нарышкина. Эта сплетня пущена была только предварительно, чтобы приготовить стрельцов к другому слуху, который сильнее должен был их взволновать. 15 мая, во вторник, в полдень, когда бояре собрались на совет, между стрельцами раздавался крик: "Иван Нарышкин задушил царевича Ивана Алексеевича!" Самый день был выбран как бы преднамеренно, чтобы напомнить об убийнии Димитрия-царевича, совершенном именно 15 мая. Поднялась тревога; стрельцы схватились за оружие, ударили в набат во многих церквах; огромная толпа со знаменами и барабанным боем бросилась с криками в Кремль. Затворить от них ворот не успели. В Кремле стояло много

боярских карет. Стрельцы напали на кучеров, побили их, перерубили лошадам ноги и бросились на дворец. Бояре метались, не зная, что им делать: немногие из них успели выскочить из Кремля; другие в страхе прятались по углам во дворце. Стрельцы вопили: "Давайте сюда губителей царских, Нарышкиных! Они задушили царевича Ивана Алексеевича! А не выдадите — всех предадим смерти!" Тогда, по совету Матвеева и патриарха, царица Наталья, взявши за руки царевичей Петра и Ивана, в сопровождении патриарха и бояр вышла на Красное крыльцо. Стрельцы, уверенные, что царевича Ивана нет на свете, были поражены его появлением и спрашивали: "Точно ли ты прямой царевич Иван Алексеевич?" Иван отвечал, что "он жив, никто не думал его изводить, ни на кого не имеет злобы и ни на кого не жалуется". Но стрельцы, настроенные возмутителями, закричали: "Пусть молодой царь отдаст корону старшему брату! Выдайте нам всех изменников! Выдайте Нарышкиных; мы весь их корень истребим! Царица Наталья пусть идет в монастырь!"

Патриарх сошел было с лестницы и стал уговаривать мятежников, но они закричали ему: "Не требуем совета ни от кого; пришло нам время разобрат: кто нам надобен!" Между стрельцами было много раскольников, и потому понятно, что увещания патриарха не подействовали. Стрельцы мимо патриарха вломилась на крыльцо. Большинство бояр в ужасе убежали с крыльца во дворец, но не убежали с ними начальник Стрелецкого приказа Михаил Юрьевич Долгорукий, Артамон Сергеевич Матвеев и Михаил Алегукович Черкасский. Долгорукий прикрикнул было на стрельцов, пригрозил им виселицею и колом. Но стрельцы за это сбросили его с крыльца на расставленные копыя и изрубили в куски; потом стрельцы бросились на Матвеева. Матвеев отодвинулся от них к царице, взял за руку Петра. Стрельцы оттащили его от царя. Князь Черкас-

ский стал отбивать Матвеева у стрельцов, повалил его на землю, лег на него, закрывал его собою. Стрельцы избили Черкасского, разорвали на нем платье, вытащили из-под него Матвеева и сбросили на копыя. Царица в ужасе убежала с сыном и царевичем в Грановитую палату.

Стрельцы ворвались во дворец; у них был список обреченных на смерть, составленный заранее возмутителями, числом до сорока человек. Первою жертвою их во дворце был отставленный стрелецкий начальник Горюшкин и Юренев, которые вздумали было защищать вход во дворец. Но главною целью поисков мятежников были Нарышкины. Стрельцы бегали по царским pokojам, заглядывали в чуланы, шарили под кроватами, переворачивали постели, тыкали копыями в престол и жертвенники в придворных церквях, везде искали Нарышкиных, и, принявши за Афанасия Нарышкина молодого стольника Федора Салтыкова, убили его, а узнавши свою ошибку, послали тело убитого с извинением к его отцу. Думный дьяк Ларионов спрятался, по одним известиям, в трубу, по другим — в сундук; его вытащили, сбросили с крыльца на копыя и рассекли на части. "Ты, — кричали они, — заведовал Стрелецким приказом и нас вешал! Вот тебе за это!" Тогда же ограбили его дом и нашли у него каракатицу, которую он держал в виде редкости. "Это змея, — кричали стрельцы, — вот это-то змею он отравил царя Федора". Убили затем сына Ларионова Василия за то, что знал про змею у отца и не донес. Наконец, стрельцы добрались до Афанасия Нарышкина, брата царицы Натальи: они нашли его под престолом церкви Воскресенья на Сенях, его указал им карлик царицы Хомяк. Стрельцы вытащили Афанасия, поволокли на крыльцо и сбросили на копыя. Но Ивана Нарышкина никак не могли найти. Он запрятался в терем восьмилетней царевны Натальи, младшей сестры Петра.

Между тем другие стрельцы поймали в Кремле между Чудовым монастырем и патриаршим двором князя Григория Ромодановского с сыном Андреем. Они истязали старика, рвали ему волосы и бороду. "Помнишь, — кричали они, — какие ты нам обиды творил под Чигирином, как холодом нас морил, ты сдал Чигирин туркам изменою". Ромодановского с сыном постигла та же участь, как и других.

"Любо ли? Любо ли?" — кричали убийцы, расправляясь со своими жертвами, а другие, махая шапками, кричали в ответ: "Любо! Любо!" Изуродованные тела убитых тащили стрельцы на площадь; перед ними в поругание, как будто для почета, шли другие стрельцы и кричали: "Боярин Артамон Сергеевич Матвеев едет! Боярин Долгорукий! Боярин Ромодановский едет! Дайте дорогу!"

Выступивши из Кремля, стрельцы бросились в дом князя Юрия Долгорукова и стали извиняться, что убили его сына Михаила за угрозы им. Старик приказал отворить им погреба свои. Стрельцы ковшами напильсь боярского меду и вина и ушли со двора, как вдруг за ними вслед побежал холоп князя Долгорукова и донес им, что старый князь сказал своей невестке, жене убитого Михайла: "Не плачь, шуку съели, да зубы остались; скоро придется им сидеть на зубцах Белого и Земляного города". Услышавши это, стрельцы вернулись в дом Долгорукого, схватили больного старика, изрубили, выбросили за ворота на навозную кучу, а сверх груза наложили соленой рыбы и приговаривали: "Ешь, князь, вкусно! Это тебе за то, что наше добро ел"<sup>13</sup>. День был тогда ясный, но к вечеру поднялась такая буря, что москвичам казалось, что преставление света наступает. На ночь стрельцы расставили караулы в Кремле и Белом городе, чтобы никого не пропускать, в надежде на другой день продолжать свою расправу.

На другой день, часов в десять утра, опять раздался набат; стрельцы с барабанным боем и криками явились ко двору и требовали выдачи Ивана Нарышкина. Им ответили, что его нет. Снова стрельцы ворвались во дворец искать свою жертву, убили думного дьяка Аверкия Кириллова, убили бывшего своего полковника Дохтурова, потребовали выдачи иноземного врача Даниэля, которого обвиняли в отравлении Федора, и так как нигде не могли найти его, то в досаде убили его помощника Гутменюша и 22-летнего сына Даниэлева, Михаила; хотели было умертвить и Даниэлеву жену, но царица Марфа Матвеевна выпросила ей жизнь. Несмотря на все поиски, стрельцы все-таки не могли отыскать Ивана Нарышкина. Царицына постельница Клушина запрягала его в чулан и заложила подушками. Стрельцы шарили повсюду, тыкали копьями подушки, за которыми скрывался боярин, но не нашли его. Вместо него, по ошибке, был убит схожий с ним юноша, родственник Нарышкиных, Филимонов. Хотели было тогда стрельцы умертвить отца царицы Натальи; царица слезами вымолила ему жизнь. Стрельцы согласились пощадить его только с тем, чтоб он немедленно был сослан в Кирилло-Белозерский монастырь и постригся в монахи. Трех его несовершеннолетних сыновей приговорили также отправить в ссылку.

Не нашедши Ивана, толпа с криками и непристойными ругательствами вышла из Кремля, расставивши опять караулы у ворот. Они кричали, что не усмирятся до тех пор, пока им не выдадут Ивана Нарышкина и доктора Даниэля. По всей Москве происходило бесчинство; были и убийства. Тогда погиб и бывший любимец Федора Языков, которого нашли в доме одного священника. Ему отрубили голову на площади.

17 мая, рано утром, в Немецкой слободе поймали в одежде нищего и в лаптях несчастного Даниэля. Опять ударили набат; стрельцы, напившиеся до



безобразия, в одних рубахах, с бердышами и копьями, шли огромною толпою ко дворцу и вели впереди свою жертву; к ним вышла царица Марфа Матвеевна и царевны. Они уверяли разъярившихся стрельцов, что Даниэль невиновен, что они сами отведали лекарство, которое подавали царю. Все было напрасно. Даниэля повели в застенок, пытали, а потом рассекли на части.

Но стрельцы этим не удовольствовались, настойчиво требовали выдачи Ивана Нарышкина и говорили, что не уйдут из дворца, пока им не выдадут его.

Тут царевна Софья начала говорить царице Наталье: "Никоим образом нельзя тебе избыть, чтоб не выдать Ивана Кирилловича Нарышкина. Разве нам всем пропадать из-за него?"

Царица отправилась с царвеною в церковь Спаса за Золотою Решеткою и приказала привести туда Ивана.

Иван Нарышкин вышел из своего закоулка, причастился св. Тайн и соборовался. Софья изъявляла сожаление об его судьбе и сама дала царице Наталье образ Богородицы, чтоб та передала своему брату. "Быть может, — говорила Софья, — стрельцы устроятся этой св. иконы и отпустят Ивана Кирилловича". Бывший при этом боярин Яков Одоевский сказал царице Наталье: "Сколько тебе, государыня, ни жалеть брата, а отдать его нужно будет; и тебе, Иван, идти надобно поскорее. Не всем из-за тебя погибнуть".

Царица и царевна с Нарышкиным вышли из церкви и подошли к золотой решетке, за которою уже ждали стрельцы. Отворили решетку; стрельцы, не уважая ни иконы, которую нес Нарышкин, ни присутствия царственных женщин, бросились на Ивана с непристойною бранью, схватили за волосы, стащили вниз по лестнице и проволокли через весь Кремль в застенок, называемый Константиновским. Там подвергли его жестокой пытке, оттуда повели

на Красную площадь, подняли на копыя вверх, потом изрубили на мелкие куски и втаптывали их в грязь.

Стрелецкое возмущение тотчас повлекло за собою и другие смуты: взбунтовались боярские холопы. Стрельцы им потакали и вместе с ними напали толпою на Холопий приказ, разломали сундуки, отбили замки, разорвали кабальные книги и разные государевы грамоты. Стрельцы, присвоивая себе право распоряжаться законодательством, кричали: "Даем полную волю на все четыре стороны всем слугам боярским. Все крепости на них разодраны и разбросаны". Но большая часть освобожденных холопов возвращалась к своим прежним господам, а иные воспользовались своей свободой, чтоб вновь закабалить себя другим.

Царевна Софья, как бы из желания прекратить бесчинства, призвала к себе выборных стрельцов и объявила, что назначает на каждого стрельца по десяти рублей. Эта сумма, независимо от обыкновенного жалованья, идущего стрельцам, будет собрана с крестьян, имений церковных и приказных людей. Сверх того, стрельцам предоставлено было продавать имущество убитых и сосланных ими лиц<sup>14</sup>. Наконец, по просьбе стрельцов, положено было выплатить им, пушкарям и солдатам за несколько лет назад заслуженное жалованье, что составляло 240 000 рублей. Софья наименовала стрельцов "надворною пешотою" и уговаривала более никого не убивать и оставаться спокойными. Она назначила над ними главным начальником князя Хованского. Стрельцы очень любили его и постоянно величали своим "батюшкою". Кирилл Нарышкин был похищен и отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь.

Стрельцы составляли всю силу в Москве; стрельцы были преданы Софье, предавали ей в руки верховное правление, но ни Софья, ни стрельцы не dokonчили своего дела: на престоле все-таки оставался Петр, а за ним была Русская

земля, избравшая его царем. Надобно было придать делу благовидность.

И вот, по наущению Хованского, действовавшего ревностно в пользу Софьи, выборные стрельцы принесли царевне челобитную, писанную уже не только от имени стрельцов, но и "многих чинов Московского государства", в которой заявлялось желание, чтобы на престоле царствовали оба брата, а в заключение челобитной было сказано, что если кто тому воспротивится, то стрельцы опять придут с оружием и будет "немалый мятеж". Софья передала эту просьбу боярской думе. Думные люди собрались в Грановитой палате, пригласили патриарха и властей. Некоторые, посмелее, заикнулись было, что двум царям быть не приходится, но другие сообразили, что если станут противиться, то их постигнет судьба Матвеева и других думных людей, противных стрельцам, и разошлись, что лучше им теперь же заслужить благосклонность Софьи и стрельцов. Они стали доказывать, что двурцарствие будет не только не вредно, но даже полезно для правления государством, и приводили примеры из византийской истории, когда разом царствовали двое государей. Для большего освящения этого нововведения нужно было утвердить его земским собором, подобно тому как и Петр получил царство через земский собор, но выборные люди, бывшие в Москве, уже разъехались. Собрать их вновь для нового выбора было опасно: могло выйти, что они стали бы упорно за свой прежний выбор, и служилые люди, дворяне и дети боярские по приговору собора принялись бы укрощать возникшее в Москве стрелецкое своеволие и посягательство произвести самовольно переворот в государстве. Прибегнули к обману: созвали разного звания людей, находившихся в Москве, готовых говорить то, что прикажут им стрельцы, и дали этому сборищу вид земского собора. Это сборище 26 мая единогласно приговорило быть на прес-

толе двум царям и старшинство предоставить Ивану Алексеевичу. Через три дня, 29 мая, стрельцы подали боярам новую челобитную, чтобы по молодости обоих государей правление было вручено царевне Софье Алексеевне. Вслед за тем в разосланной во все концы государства грамоте извещалась вся Россия, что по челобитью всех чинов Московского государства царевич Иван Алексеевич, прежде добровольно уступивший царство брату своему Петру, согласился после долгого отказа со своей стороны вступить на царство вместе с братом, а по малолетству государей царевна Софья Алексеевна "по многом отрицании, согласно прошению братии своей, великих государей, склоняясь к благословиению святейшаго патриарха и всего священнаго собора, призирая милостивно на челобитие бояр, думных людей и всего всенароднаго множества людей всяких чинов Московского государства, изволила воспринять правление...". Затем объявлялось, что государыня царевна будет сидеть с боярами в палате, думные люди будут докладывать ей о всяких государственных делах и ее имя будет писаться во всех указах с именами царей. Так совершалось похищение верховной власти при помощи войска, напоминавшего римских преторианцев и турецких янычар. Но образовавшееся вновь правительство находилось в необходимости потакать стрельцам, которые его создали и поддерживали.

6 июня стрельцы опять подали челобитную, написанную стрельцом Алексеем Юдиным, самым близким человеком к Хованскому. Челобитная эта подавалась от имени не одних стрельцов, но также пушкарей, солдат, гостей, посадских людей, ямщиков и жителей московских слобод. Стрельцы представляли совершенное ими убийство верною службою государям и просили, чтобы за такую службу на Красной площади был поставлен столп с написанными на нем именами "побитых злодеев" и с описанием

преступлений, за которые они были убиты, чтобы стрельцам и людям других сословий, участвовавшим в убийствах, даны были похвальные жалованные грамоты за красными печатями, чтобы ни бояре и никто другой не смел обзывать их бунтовщиками и изменниками под страхом беспощадного наказания. Желая иметь на своей стороне торговых людей, стрельцы хотели угодить им и в той же челобитной домогались, чтобы во всех приказах и во всех городах, где только есть прием и расход царской казны, сидели выборные люди из торгового сословия. Зато челобитчики отказывались от всякого общения с боярскими людьми (холопами), которые стали "приобщаться к ним в совет", чтобы сделаться свободными. Правительство беспрекословно согласилось на все и издало печатную грамоту в смысле поданной челобитной. Стрелецким полковникам Циклеру и Озерову было поручено поставить столп на площади, какого хотели стрельцы.

Стрелецкий бунт возбудил надежду, что теперь можно добиться и других перемен. Поднялись раскольники, пораженные проклятием собора и преследуемые мирскою властью. До сих пор самые рьяные из них бегали в леса, пустыни; другие, которых было гораздо больше, в страхе притаились и с виду казались покорными. В стрелецком звании было таких наполовину; Москва и подгородные слободы были наполнены раскольниками или склонными перейти в раскол. Как только почувляли они нетвердость тяжелой руки, давившей их, тотчас подняли голову. Стали в Москве открыто расхаживать проповедники и поучали народ не ходить в оскверненную церковь, не креститься тремя перстами, не почитать четвероконечного креста. "Неучи-мужики и бабы, — говорит современник, — не знающие складов, толпами собирались тогда на Красной площади и совещались, как утвердить им старую веру, а чуть только кто про-

тивник скажет слово, на того сейчас нападут и всенародно прибьют, воображая, что этим они правую веру обороняют". Сам Хованский, и прежде втайне державшийся старообрядства, теперь заявил себя явно сторонником старой веры.

Стрельцы одного из полков, собравшись на сходку, положили составить челобитную государям против патриарха и просить восстановления старой веры, но между ними не нашлось мудреца, который бы мог хорошо сложить подобную челобитную. Такого мудреца нашли им жители Гончарной слободы в лице монаха по имени Сергей. Когда этот монах вместе с четырьмя слобожанами сложил челобитную и дал ее прочитать перед стрельцами своему товарищу, Савве Романову, стрельцы изумились и пришли в умиление. "Мы еще не слышали, — говорили они, — такого слога, такого описания ересей. Надобно, братия, постоять нам за старую веру и кровь свою пролить за Христа. Мы за глениое дело чуть голов своих не полбжили, а как не умереть за веру?"

Доложили Хованскому. Привели к нему Сергия. Сергей прочитал ему свою челобитную. Выслушавши ее, Хованский похвалил сочинителей, но сказал: "Ты, отче, как я вижу, инок смирен, тих, немногословен, не будет тебя на такое великое дело; против них надобно ученому человеку ответ держать".

"Хоть я и немногословен, — ответил Сергей, — да верую словесам Сына Божия: не пещытеся, како и что возглаголите".

Но тут другие раскольники сказали, что когда придется до спора, то за это дело возьмется Никита Пустосвят, который хотя поневоле и покорился собору, но теперь крепко стоит за правую веру.

"Знал я его, — сказал Хованский, — против того им нечего говорить! Тот всем уста загородит! Никто не устоит против Никиты. Я вам во всем буду помогать, хоть сам и не искусен на это дело, а того и в уме своем не держите,

чтоб вас по-старому стали казнить, вешать и жечь в срубах!”

Раскольники настаивали, чтоб собор был всенародно на Лобном месте или в Кремле в присутствии царей и патриарха в пятницу, 23 июня, до венчания царей, которое было назначено в воскресенье. “Нам, — говорили они, — хочется, чтобы цари-государи венчались в истинной православной вере христианской, а не в латино-римской”. Хованский хотел было уговорить их отложить этот собор, уверяя, что цари будут венчаться по-старому, но раскольники настояли на своем, чтоб собор был в пятницу.

В назначенный день утром раскольники двинулись в Кремль стройным ходом. Никита нес крест, Сергей — Евангелие, другой монах, Савватий, — икону Страшного Суда. К ним приставали мужчины и женщины из народа, сами не понимая, что вокруг них делается. Хованский, показывая вид, что не знает, зачем пришли эти люди, вышел к ним в сопровождении приказных и спрашивал:

“Коея ради вины придосте, отцы честные?”

Никита отвечал: “Приидохом великим государем челом побить о старой, православной христианской вере, чтоб велели патриарху служить по старым книгам и служили бы на семи просфорах, а не на пяти, а крест на просфорах был бы истинный, тресоставный крест, а не крыж двоечастный. Если патриарх не изволит служить по старым книгам, так пусть велят ему государи дать нам правильное свое рассмотрение: зачем он по старым книгам не служит и нам возбраняет служить? Зачем предает проклятию и засылает в дальное заточение тех, что по старым книгам читают и поют? Пусть даст нам ответ на письме: какие ереси нашел он в старых книгах? Пусть ответит нам: благочестивы или неблагочестивы были прежние цари, великие князья и свя-

тейшие патриархи, которые по старым книгам служили и пели? А мы, Богу помогающе, в конец обличим всякия затейки и ереси в новых книгах”.

Хованский взял от них челобитную, пошел во дворец и, воротившись, сказал:

“Против этой челобитной будет дела недели на три; надобно книги свидетельствовать. Патриарх упросил государей до среды: в среду приходите после обедни”.

“А как же государей будут венчать?” — спросил Никита.

“По-старому, как я вам говорил”, — ответил Хованский.

“Пусть патриарх служит литургию на семи просфорах, — сказал Никита, — и крест на просфорах пусть будет истинный, а не крыж”.

“Вели же напечь просфор и принести сюда; я патриарху поднесу и велю служить по-старому”, — отвечал Хованский.

Раскольники разошлись.

В воскресенье толпы народа наполнили весь Кремль, ожидая выхода государей к венчанию. Никита с просфорами, испеченными некоею искусною вдовицею, отправился к собору, но не мог пробраться за толпою народа и в досаде вернулся назад. Совершилось венчание по обычному чину.

Раскольники хлопотали, чтобы все стрельцы подписались под челобитной и чтобы, таким образом, противники их увидали на стороне раскола опасную для себя силу. Тут оказалось, что раскол между стрельцами не так был крепок, как думали фанатики. Не все стрельцы и пушкари приложили руки к челобитной. Многие говорили: “Это дело не наше, а патриаршее. Если нам руки прикладывать, так и ответ надобно давать против патриарха и властей. Мы не умеем отвечать. Да сумеют ли и старцы дать ответ против такого собора? Они только намутят и уйдут”. Но не прикладывая рук к челобитной, стрель-

цы все-таки положили на том, чтоб не давать никого жечь и вешать за веру.

3 июля явились к Хованскому выборные стрельцы по его приказанию.

"Все ли готовы стоять за старую веру?" — спросил их Хованский.

"Не только стоять, но и умереть готовы", — отвечали ему.

Хованский ввел их в Крестовую палату к патриарху. Патриарх ласково уговаривал их не мешаться в духовные дела, которые не касаются их как людей военных; но книжники, пришедшие вместе со стрельцами, надеясь на Хованского, вступили с патриархом в спор о старых и новых книгах и требовали, чтобы патриарх с властями вышел на Лобное место для всенародного прения о вере.

Настала среда 5 июля. Раскольники двинулись в Кремль. Никита нес крест; другие несли Евангелие, икону Страшного Суда, образ Богородицы, множество старых книг, налои, подсвечники со свечами. За ними валила огромная толпа народу. У Архангельского собора поставили налои, разложили образа и книги, зажгли свечи. Патриарх прежде всего выслал к ним священника с печатными тетрадами, в которых обличался Никита, как он на соборе принес повинную и отрекся от старой веры. Стрельцы набросились на этого священника и, вероятно, убили бы его, если бы не спас его монах Сергей, сочинитель челобитной. Священника поставили на скамье и велели начать чтение. Его прерывали постоянно криками и бранью; наконец, Сергей сказал ему:

"Всеу трудишася, никто тебя не слушает!"

Вместо священника, стал читать сам Сергей свое обличение против церковного "применения". Говорил к народу и Никита, стоя на подмостках, называл православные церкви хлевами и амбарами и приправлял свою речь разными непотребными словами.

Между тем от патриарха пришли

звать раскольников в Грановитую палату; "Там будут царица и царевны, а пред всем народом им быть зазорно".

Тут народ завопил: "А! Патриарх стыдится перед всем народом дать свидетельство от божественных писаний. Здесь подобает быть собору, да и как поместиться в палате такому множеству!"

Во дворце произошло смятение. Патриарх не хотел выходить на площадь, а звал раскольников в Грановитую палату. Царевна Софья собиралась идти в Грановитую палату. Хованский стал уговаривать ее не ходить, говорил, что стрельцы поднимут бунт и патриарху будет худо, а если она туда пойдет с боярами, то всех побьют. Софья поняла, в чем дело, видела, что Хованский хочет действительно поднять бунт против патриарха и потому намеревается устроить так, чтобы присутствие царевны не стесняло буйства раскольников; с другой стороны, она была уверена в преданности к себе стрельцов. "Да будет воля Божия, — сказала Софья, — я не оставлю церкви Божией и ея пастыря!"

Вместе с Софьей решились идти в Грановитую палату царица Наталья Кирилловна и царевны Татьяна Михайловна и Марья Алексеевна.

Хованский обратился к боярам и говорил: "Пожалуйте, попросите царевну, чтоб она не ходила в Грановитую палату с патриархом. А если вас не послушает, то пусть будет вам известно, что нас всех побьют, как недавно нашу братью побили, и разграбят дома наши".

Приступили бояре к Софье, умоляли освободить и себя, и всех их от напрасной смуты. Софья отвечала: "Я готова за св. церковь положить свою голову".

Затем, обратившись к Хованскому, она сказала: "Посылай святейшего патриарха, чтобы он со всеми властями и книгами шел к нам в Грановитую палату".

Хованский исполнил приказание. Было уже около четырех часов пополудни. Патриарх, напуганный Хованским, в ужа-

се, со слезами, не чая себе живота, отправил вперед себя множество книг и рукописей греческих и славянских. С ними пошли холмогорский архиепископ Афанасий, воронежский Митрофан, тамбовский Леонтий и несколько других духовных. Обилие древних книг должно было показывать противникам, что у православных есть сильные средства защиты. За ними следовал и патриарх с восемью митрополитами и четырьмя архиепископами. Звонили в колокола.

Все уселись по чину в Грановитой палате; на царском троне села Софья с теткою Татьяною, а близ них царица Наталья и царевна Марья<sup>15</sup>. Были с ними бояре и думные люди. Хованский пригласил Никиту и Сергия в Грановитую палату и поклялся, что им ничего дурного не будет.

Тогда Никита и товарищи его взяли крест, Евангелие, свечи, налои, положили книги на головы и двинулись на Красное крыльцо. Тут произошла драка. По известиям раскольников, причиной ее было то, что какой-то православный поп зацепил Никиту за волосы, а стрельцы начали тузить попов. Пришел Хованский, прекратил беспорядок и провел раскольников в Грановитую палату.

Они расставили налои, разложили на них священные вещи и книги и поставили перед образами зажженные свечи в подсвечниках, принесенных с собою.

"По какой причине пришли в царская палаты и чего требуете от нас?" — спросил патриарх.

"Пришли царям государям побить челом, чтобы дали свое царское рассмотрение с вами, новыми законодателями, чтоб служба Божья была по старым служебникам".

Патриарх сказал: "Это не ваше дело. Простолюдинам не подобает исправлять церковных дел и судить архиереев. Архиереев только архиереи и судят, а вам должно повиноваться матери своей церкви; у нас книги исправлены с греческих и с наших харатейных книг

по грамматике. Вы же грамматического разума не коснулись, и не знаете, какую силу он в себе содержит".

"Мы не о грамматике пришли с тобою говорить, — отвечал Никита, — а о церковных догматах. Вот я тебя спрошу, а ты отвечай, зачем на литургии вы берете крест в левую руку, а тройную свечу в правую? Разве огонь честнее креста?"

Тут начал было ему объяснять холмогорский архиепископ Афанасий, как вдруг Никита замахнулся на него рукою и закричал: "Что ты, нога, выше головы ставишься! Я не с тобою говорю, а со святейшим патриархом".

Софья вскочила со своего места и закричала: "Что это такое! Он при нас архиерея бьет! Без нас, наверное, убил бы его!"

"Нет, государыня, — сказали из толпы, — он не бил, а только рукою отвел".

"Помнишь ли, Никита, — сказала Софья, — как блаженной памяти отцу нашему, и святейшему патриарху, и всему освященному собору ты принес повинную и поклялся великою клятвою: аще вперед стану бить челом о вере, да будет на мне клятва св. отец и семи вселенских соборов. Так говорил ты в то время, а ныне опять за то же дело принял!"

"Что дал повинную, я в том не забираюсь, — возражал Никита, — дал за мечом и срубом! Я подавал челобитную, а мне никто не отвечал из архиереев, только Семен Полоцкий книгу на меня сложил „Жезл“. Позволишь, государыня, я буду отвечать против „Жезла“; а останусь виноват, делайте со мной, что хотите!"

"Нет тебе дела говорить с нами; и на очах наших тебе не подобает быть!" — сказала Софья.

Затем Софья опять села на свое место и приказала думному дьяку читать раскольниковую челобитную.

Как дочитали до того места, где

сказано было, что чернец Арсений, еретик и жидовский обрезанец, вместе с Никоном поколебали душу царя Алексея Михайловича, Софья опять вскочила со своего места и, взволнованная, сказала:

”Если Никон и Арсений были еретики, так и отец, и брат наш были еретики! Значит, цари не цари, архиереи не архиереи; мы такой хулы не хотим слышать. Мы пойдем прочь из царства!”

”Как можно из царства вон идти! Мы за государей головы свои положим”, — говорили думные. Но между раскольниками раздалась такие голоса: ”И пора вам, государыня, давно в монастырь. Полно-да царством мутить! Нам бы здоровы были отцы наши государи, а без вас-да пусто не будет!”

Софья прослезилась и, обратясь к стрельцам, начала говорить:

”Эти мужики на вас разве надеются? Вы были верные слуги деду нашему, отцу и брату, оборонители церкви святой, и у нас зоветесь слугами. Зачем же таким невеждам попускаете чинить крик и вопль в нашей палате?”

Выборные стрельцы успокоивали ее. Софья села на свое место.

Челобитную дочитали. Начался спор. Патриарх и архиереи указывали на древние харатейные списки, обличали нелепые ошибки и опечатки в Филаретовом служебнике. Малоученые раскольники, не в силах будучи одолеть противников доводами, только подымали вверх руки, показывали двуперстное сложение и кричали: ”Вот как! Вот как!”

Уже стало вечереть. Раскольникам объявили, чтобы они расходились и что им будет указ после.

Раскольники вышли со всеми своими наложными, книгами, образами и кричали во все горло, подымая два пальца вверх: ”Победихом! Победихом! Вот как веруйте!” Толпы народа следовали за ними. Расколуучители остановились на Лобном месте и стали поучать народ, а оттуда отправились в церковь Спаса

в Чигасах, отслужили со звоном благодарственный молебен и потом уже разошлись по домам.

Софья позвала к себе выборных стрельцов, обласкала их, приказала напоить медом и вином в таком количестве, что на десять человек было вынесено по ушату. ”Не променяйте нас, — говорила им Софья, — и все Российское государство на каких-нибудь шестерых чернецов”.

”Мы, государыня, — отвечали ей стрельцы, — не стоим за старую веру. Это дело патриарха и всего освященного собора”.

По приказанию царевны преданные ей стрельцы Стремянного полка схватили Никиту Пустосвята, с ним других пятерых расколуучителей и привели их в приказ. Никите отрубили голову на площади. Его товарищей разослали в ссылку. Раскольники притихли.

Расколуничье дело показало Софье, что ей необходимо избавиться от опеки тех, которые до того времени служили ей опорой. Князю Хованскому Софья более всего обязана своим возвышением. Этот боярин как покровитель раскола теперь начал явно действовать вразрез с видами Софьи. Сама Софья даровала ему опасное могущество, назначивши начальником стрельцов. Все стрельцы были ему преданы больше, чем царевне, и готовы были на все, что бы он ни затевал. Чувствуя свою силу, Хованский зазнался, величался своим происхождением от Гедимиана, начал высокомерно обращаться с прочими боярами, говорил в глаза боярам, что от них Московское государство только терпит вред; что им, Хованским, держится все царство, что, когда его не станет, в Москве будут ходить по колену в крови. Все бояре его не терпели; он поссорился с сильным боярином Иваном Михайловичем Милославским, с которым вместе заодно готовялся переворот, установивший двоевластие.

В дни, следовавшие за казнью Ники-

ты, стрельцы, надеясь на Хованского, беспрестанно волновались, самовольничали. Царская семья жила в постоянном страхе, ожидая нового нашествия на дворец. Бояре каждую минуту боялись за свою жизнь; духовенство опасалось раскольничьего бунта. В июле, тотчас после казни Никиты, какой-то крещеный татарский царевич Матвей распустил между стрельцами слух, будто бояре хотят известить стрельцов; стрельцы толпою били челом царям, чтоб выдали им всех бояр. На этот раз бояре избавились от беды; схватили царевича Матвея, принудили под пыткой отказаться от своего извета, а потом приказали четвертовать. Но за Матвеем явились другие в таком же роде возмутители. Этим возмутителей также пытали и казнили. Стрельцы самовольно подвергли пытке и смерти одного своего полковника Янова. День ото дня опасность увеличивалась для царского семейства и бояр. В августе Хованский рассорился со всею царскою думою за то, что дума не одобряла предположенного им налога с дворцовых волостей в пользу стрельцов по 25 рублей на человека. Вышедши из думы к стрельцам, Хованский сказал: "Дети, знайте, мне бояре грозят за то, что я вам добра хочу! Мне стало делать нечего! Как хотите, так и промышляйте". Стрельцы заволновались еще сильнее.

19 августа разнесся слух, будто во время крестного хода, который бывает в этот день в Донской монастырь, стрельцы хотят перебить всю царскую семью, всех бояр и возвести на престол Хованского. Все царское семейство не участвовало в этом крестном ходе и на другой же день переехало в Коломенское село. Затем бояре стали разъезжаться из Москвы: часть их отправлялась к царям, другие разъехались по своим вотчинам. Из всех думных людей остался в Москве один Хованский; он во всем потакал стрельцам. Около его кареты всегда шло по пятидесяти стрельцов

с ружьями, а на дворе стоял стрелецкий караул человек во сто. По Москве ходили угрожающие для стрельцов слухи; говорили, будто боярские люди, по наущению своих господ, нападут на стрелецких жен и детей в то время, когда стрельцы будут на празднике новолетия 1 сентября. Наступил этот праздник; на нем не было ни царей, ни бояр, и народу пришло мало.

На другой день, второго сентября, в Коломенском селе оказалось прилепленным к воротам подметное письмо от имени одного московского стрельца и двух посадских. В нем извещалось, что Хованский собирается убить обоих государей, царицу Наталью, царевну Софью, патриарха и архиереев; одну из царевен думает отдать за своего сына, а прочих постричь в монастыри; затевает перебить бояр, которые не любят старой веры, возмутить по городам посадских и крестьян, чтобы они перебили воевод, приказных, господ и боярских людей, а потом хочет сам взойти на престол и выбрать народом такого патриарха и архиереев, которые бы любили старые книги. "Хованский, — сказано было в этом письме, — призывал к себе несколько человек посадских и стрельцов, давал им деньги, поручая волновать народ, и обещал стрельцам отдать имущество и вотчины убитых людей"<sup>16</sup>.

Софья со всем царским семейством немедленно переехала в монастырь Саввы Сторожевского и 5 сентября разослала с гонцами по разным городам грамоту ко всем служилым людям, а также и к боярским слугам. В этой грамоте извещалось все служилое сословие Московского государства, что стрельцы, по наущению Хованского, произвели мятеж и убийства 15 и 16 мая: это дело, прежде признанное царскою грамотою за верную службу царям, теперь оглашалось воровством и изменою; далее рассказывалось, как, по наущению Хованского, раскольники приходили в Кремль, как Никита бил архиерея; наконец, объявлялось, что



боярин князь Хованский с сыном своим Андреем при помощи воров и изменников "мыслят зло государям": хотят перебить без останку всех бояр, окольных, думных и ближних людей. "Помните Господа Бога и свое обещание, — говорилось в грамоте, — послужите нам, великим государям, для очищения от воров и изменников царствующаго града Москвы. Идите к нам, великим государям, со всею своею службою и запасами тотчас, безсрочно с великим поспешением, днем и ночью, ничем не отговариваясь, чтобы скорым собранием устрашить воров и изменников и не допустить их до большаго дурна и до расширения воровства..."

Проживши в Саввином монастыре до 13 сентября, царская семья переехала в село Воздвиженское, как будто к престольному празднику, и отсюда послан был указ, чтобы к 18 сентября съехались туда к царям все бояре, окольные, думные люди, стольники, стряпчие, московские дворяне и жильцы.

Накануне назначенного срока, 17 сентября — день именин Софьи, — село Воздвиженское наполнилось огромным множеством знатных людей. Хованский с сыном Андреем еще не приехали, но уже были на пути. После обедни царевна Софья созвала думу и приказала прочитать подметное письмо.

Думные люди, уже озлобленные против Хованского, приговорили его казнить смертью. Софья отправила боярина князя Лыкова с отрядом схватить Хованских на дороге и привести в Воздвиженское.

Старый Хованский, поехавший отдельно от сына, остановился отдохнуть в патриаршем селе Пушкине и, по тогдашнему боярскому обычаю, велел себе раскинуть шатер. Лыков окружил его ставку и, узнавши, что сын Хованского Андрей находится в своей подмосковной вотчине, послал взять его.

Взяли Хованского-отца, связали и повезли, а за ним вслед отправили и

Хованского-сына. Когда Лыков подвез Хованских к царскому двору, вышли посланные и сказали, чтобы он не въезжал с ними во двор, а остановился у ворот. Из двора вышли все думные люди и сели на скамьях перед воротами. Думный дьяк Шаковитый читал приговор: Хованских обвиняли в неправильном распоряжении денежною казною в пользу стрельцов, в потачке наглому невежеству стрельцов, в неправом суде, в дерзких речах, в подущении раскольников, в неповиновении царским указам и пр. Затем прочитано было подметное письмо; дьяк произнес: "Воровские дела ваши с этим письмом сходны. Злохитрый замысел ваш обличился. Государи приказали вас казнить смертью".

"Господа бояре, — сказал старик Хованский, — извольте выслушать: кто был настоящий заводчик бунта стрельцакого. От кого он умышлен и учинен. Донесите их царским величествам, чтобы нам с ними дали очные ставки, а так скоро и безвинно нас бы не казнили. Если же мой сын так делал, как написано в сказке (приговоре), то я предаю его проклятию".

Допустить Хованского до такого рода оправдания — значило раскрывать много такого, что хотели утаить. Боярин Милославский более всех этого боялся и дал знать царевне Софье о словах Хованского. Софья выслала приказание немедленно исполнить приговор.

Стрелец Стремяного полка отрубил головы сначала отцу, потом сыну. Казнь исполнялась перед дворцовыми воротами у московской большой дороги.

Совершивши такое дело, Софья боялась мщения стрельцов за их "батушку" и тотчас разослала думных людей по городам торопить служилых, чтобы они как можно скорее шли к Троице, а сама вслед за тем отправилась туда же с царскою семьею и заперлась в монастыре. Там было безопасно, стены крепки, на стенах пушки; оборону Троицкой лавры взял на себя ближний боярин, любивший

мец Софьи, князь Василий Васильевич Голицын.

Опасения Софьи оказались не напрасны: у Хованского был еще меньший сын Иван, занимавший должность комнатного столбника при царе Петре. Он убежал в Москву, принес известие о смерти отца, говорил, что бояре идут на Москву, с тем чтоб истребить всех стрельцов и сжечь их дворы. Стрельцы заволновались, захватили в свои руки Кремль, овладели пушечным двором, забрали орудия и порох, расставили караулы у всех московских ворот, ожидали, что на них нападут боярские люди по приказанию своих господ. Патриарх был в опасном положении. Он уговаривал стрельцов покориться, а они за то грозили убить его, как только бояре пошлют против них своих людей.

Прошло несколько дней: на Москву нападения не было. Стрельцы, узнавши, что царская семья у Троицы, убедили патриарха послать туда чудовского архимандрита Адриана звать царей в Москву.

Но Софья уже не боялась стрельцов. В крепкий монастырь не так легко было им проникнуть, как в Кремлевский дворец; притом же туда беспрепятственно отовсюду собирались служилые. Она потребовала, чтоб стрельцы прислали по двадцати человек лучшей братии от каждого полка.

Самонадеянность и наглость стрельцов сменилась малодушием. Те, которым приходилось идти в числе выборных, считали себя обреченными на смерть. Все стрельцы думали, что им теперь будет "конечный перевод". Московские люди, которые прежде так боялись их, теперь подсмеивались над ними и говорили: "Куда вам, мужикам, владеть разумными людьми и государям указывать". Стрельцы с покорностью упростили патриарха, чтобы он отправил с их выборными какого-нибудь архиерея.

Выборные отправились к Троице

и с ужасом поминутно встречались на дороге с разными людьми, созданными для укрощения стрельцов. Явившись перед Софьей, выборные пали ниц, во всем повинились! Царевна, проговоривши им приличное нравоучение, сказала, чтобы немедленно все полки надворной пехоты (стрельцов) подали повинную челобитную за общим рукоприкладством.

Выборные воротились в Москву с этим приказанием. При участии патриарха стрельцы составили требуемую челобитную, обещались вперед не самовольствовать и не мешаться в чужие дела. Софья объявила им, что, если кто вперед станет хвалить прежние дела стрельцов, тот будет казнен смертью; тому же подвергается и всякий, кто будет слышать о таких похвалах и не донесет. Сами стрельцы, конечно, по внушению Софьи, били челом о том, чтобы сломать столп, поставленный в оправдание их злодеяний. Софья с царским семейством вступила в Москву. Новоприбывшие служилые люди заняли все караулы в Кремле. Всем боярским людям объявлена похвала за верность своим господам; но стрелецкие смуты не остались без последствий: множество холопов и крестьян во время этих смут покинули своих прежних владельцев, и в следующие годы правительство издавало распоряжения, чтобы ловить беглых, наказывать и препровождать к прежним господам. Начальство над стрельцами поверено было Шакловитому. Это был человек решительный. Стрельцы попытались было начать прежние буйства, но Шакловитый тотчас же казнил пятерых из них, а потом со всех полков удалил из Москвы в украинные\* города наиболее задорных и беспокойных.

С этих пор Софья именем двух царей беспрекословно семь лет управляла государством. Во внутренних делах не происходило никаких важных изменений кроме

\*Украинные.

кое-каких перемен в делопроизводстве<sup>17</sup>. Правительство по-прежнему противодействовало обычному шатанию народа и делало распоряжение об удержании жителей на старых местах. Разбои усиливались, даже люди знатных родов выезжали на дорогу с разбойничьими шайками<sup>18</sup>. Помещики дрались между собою, наезжали друг на друга со своими людьми, жгли друг у друга усадьбы; их крестьяне, по их приказанию, делали нападения одни на других, истребляли хлеб на полях и производили пожары. Межевание, начатое при Федоре, продолжаясь при Софье, приводило к самым крайним беспорядкам. Помещики, недовольные межеванием, посылали своих крестьян на межешчиков с оружием, не давали им мерить земли, рвали веревки, а некоторых межешчиков поколотили и изувечили. За такие самоуправства правительство определило наказывать кнутом и ссылатъ в Сибирь, но бесчинства от этого не прекращались. Небогатые помещики находились под произволом богатых, владевших многими крестьянами; кто был сильнее, тот у соседа отнимал землю. И бедняку трудно было тягаться с богачом. В самой Москве происходили в то время беспрестанные бесчинства, воровства и убийства. Правительство делало распоряжение под строгим наказанием, чтобы в городе не стреляли из ружей, не дрались на кулачках, не сшибали с ног людей и не били полицейских служилых (капитанов и стрельцов). Но самую важную причину смут был раскол, который не только не прекращался от преследований, но возрастал в страшных размерах. В 1682 году после казни Никиты Пустосвята разослана была грамота ко всем архиереям, чтоб они сыскивали раскольников и предавали их казни. Еще строже был указ конца 1684 года. Велено было хватать всякого, кто не ходил в церковь, не исповедовался, не пускал к себе священника в дом; таких приказано было подвергать пыт-

ке; если обвиненный под пыткой обвинял кого-нибудь в соучастии, и того велено хватать, давать ему очные ставки, производить об нем обыск и в случае сомнения пытать. Покаявшиеся были отправлены для исправления к духовному начальству, а непокорных велено было сжигать живьем. За укрывательство раскольников и за недонесение положено было бить кнутом. Но напрасно правительство думало испугать раскольников огнем: они сами сожигались, воображая себе, что тем приносят жертву Богу. Такие ужасающие явления беспрестанно повторялись повсюду и выказались в самом чудовищном виде в Олонецкой земле. В 1687 году некто расколоучитель Емельян Иванов из Повенца сошелся с другим фанатиком Игнатием, который завел себе пустынь близ Каргополя, считаем был за святого мужа и совратил многих каргопольцев. Они с толпою последователей захватили Палеостровский монастырь на Онежском озере. Когда против них послано было войско под начальством Мишенского, раскольники зажгли монастырь; ратные люди потушили пожар; часть раскольников с Игнатием сгорела<sup>19</sup>, а Емельян с остальными убежал. Два года его отыскивали, он скрывался со своими товарищами в непроходимых лесах. Ратные люди, не поймавши Емельяна, свирепствовали над другими раскольниками и без жалости разоряли пристанища поселян, где жители упорствовали в расколе. В 1689 году Емельян опять очутился в Палеостровском монастыре вместе с соловецким монахом Германом; с ними было до 500 человек. Девять недель сидели они запершись в монастыре. На все убеждения сдатьъ они отвечали ругательствами против церкви, отстреливались от ратных людей и, наконец, когда увидели невозможность держаться долее, зажгли монастырь, и все сгорело. Везде, где собирались толпы раскольников, припасались ими горючие вещества, чтобы прибегнуть

к этому средству спасения, когда придут гонители. Являлись учителя, проповедовавшие, что, даже и без гонения, самое богоугодное дело сжечься, и уговаривали целые толпы мужчин, женщин и детей предавать себя "крещению огнем", царствия ради небесного.

Из внешних дел правления Софьи самым важным событием было заключение в 1680 году с Польшею мира, прекратившего долговременную тяжелую распрю за Малороссию. Как следствие этого мира был поход в Крым Василия Васильевича Голицына, погубивший гетмана Самойловича<sup>20</sup>. Через два года был предпринят другой поход, к которому, так же как и к первому, склонили Россию Австрия и Польша. Кроме того, бывший константинопольский патриарх Дионисий, низложенный турецким правительством за расположение к России, убеждал русских воспользоваться удобным случаем для освобождения христиан от турецкого ига, потому что между самими турками тогда происходили междоусобия (султан Магомет IV был низвержен войском, и на его место посажен брат его Сулиман II), а австрийцы и венецианцы одерживали верх над турками. Молдавский господарь Щербан, со своей стороны, убеждал московское правительство послать войско на турок и уверял, что все христиане, находящиеся под турецкою властью, восстанут при появлении русского войска. При таких блестящих надеждах московское правительство двинуло весной 1689 года 112 000 войска на Крым, с которым было до 350 пушек. Начальство взял на себя любимец Софьи Голицын. К нему примкнул малороссийский гетман Мазепа со своими казаками. Русское войско прошло через степь, одержало верх в битве с ханом и дошло до Перекопа. Но Голицын не решился перейти на полуостров. Его испугал недостаток воды, особенно чувствительный при сильном майском зное. Остановившись под Перекопом, Голицын завел переговоры с ха-

ном и, не дождавшись их окончания, успешно отступил, убегая от преследовавших его татар.

Этот неудачный поход совершенно уронил Голицына. На него стали смотреть как на неспособного труса, но Софья силилась представить и этот поход геройским делом. Не только сам Голицын получил в награду вотчину, 300 рублей денежной прибавки к жалованью и разные подарки, но и все участники похода были щедро награждены. Софья до слепой страсти была предана этому человеку. В письмах своих она называла его: "Светом батюшкою, душою своею, сердцем своим" и т.п.<sup>21</sup>

Любовь Софьи не спасла Голицына, а его неудачный поход в Крым сделался ближайшим поводом к падению самой царевны. Давняя вражда Софьи с царицей Натальей и Нарышкиными, ее нелюбовь к Петру не прекращались с годами. Софья была правительницею государства только при малолетстве царей. Оба царя пришли в совершенный возраст. Иван Алексеевич еще в 1684 году сочетался браком с Прасковьею, дочерью боярина Федора Борисовича Салтыкова. По своему малоумию, он не угрожал Софье потерею власти. Но вот и Петр достиг шестнадцати лет, окружил себя "потешными" — молодежью, собранною вначале из товарищей детских игр царя, а потом из охотников разного звания. Петр проводил с ними время в воинских упражнениях, строил земляные крепости и брал их, а в 1688 году, увидя однажды старое заброшенное судно, получил страстное желание строить суда, плавать по морю и начал свои первые опыты на Переяславском озере. Царица Наталья, страшась козней Софьи, боялась отлучек сына и его горячности, а потому поспешила его женить. 27 января 1689 года Петр сочетался браком с Евдокией Федоровной Лопухиной, дочерью окольного. Событие было важное и даже, можно сказать, роковое для Софьи, так как по русским понятиям женатый человек считался со-

вершеннолетним, и Петр в глазах своего народа получил полное нравственное право избавить себя от опеки сестры.

Еще ранее этого времени, в 1687 году, Софья, предупреждая ожидаемую опасность со стороны Петра, затевала венчаться царским венцом. Для этого ей нужна была опора стрельцов. Шакловитый, преданный ей всею душою, подготовил челобитную как будто от всех чинов Московского государства и начал склонять стрельцов содействовать своему плану. Вместе с тем он чернил перед ними царицу Наталью и Нарышкиных, уверял, что они имеют злые умыслы на Софью, при этом делал намеки на возможность избиения Нарышкиных и даже на убийство самого Петра; козни его не удавались: нашлось только всего пять человек, готовых на какое угодно смелое дело. Мысль о венчании на царство Софьи была оставлена. В 1689 году, июля 8-го, был крестный ход в Казанский собор. Софья прежде всегда участвовала в подобных крестных ходах вместе с обоими царями как правительница государства. Петр на этот раз послал ей сказать, чтоб она не ходила, — это имело такой смысл, что Петр уже не считал ее правительницею. Софья не послушалась и пошла за крестами, а Петр через то сам не пошел в крестный ход и уехал из Москвы.

Возвратился Голицын из своего вторичного крымского похода. Петр не соглашался назначать ему и его товарищам награды, и хотя на этот раз не стал спорить с сестрою, но когда Голицын и другие участники крымского похода, получившие награды, явились к Петру с благодарностью за награды, то Петр не пустил их к себе на глаза. Тут Софья увидела, что ее власти скоро будет конец. Оставалось или покориться своей судьбе, или отважиться на попытку сделать переворот. Шакловитый хотел было взволновать стрельцов таким же порядком, как делалось прежде, — ударить в набат и поднять тревогу, как будто

царевне угрожает опасность; но стрельцы, за исключением очень немногих, сказали, что они по набату дела не станут начинать. Софья ухватилась было за средство, которое ей так удалось в былые времена с Хованским. В царских хоромах на "верху" появилось подметное письмо, в котором предостерегали царевну, что ночью с 7-го на 8 августа явятся из Преображенского "потешные" царя для убийства царя Ивана Алексеевича и всех его сестер. Шакловитый вечером 7 августа призвал четыреста стрельцов с заряженными ружьями в Кремль, а триста поставил на Лубянке. Его подручники<sup>22</sup> начали наущать стрельцов, что надобно убить "медведицу", старую царицу, а "если сын станет заступаться за мать, то и ему спускать нечего". Но и это не удалось. Пятисотный стрелецкого Стремянного полка Ларион Елизарьев с семью другими стрельцами составил замысел предупредить Петра. Двое из его товарищей, Мельнов и Ладогин, отправились ночью в Преображенское известить царя, что против него затевается недоброе.

Пробужденный от сна, Петр выскочил в одной сорочке, босой, бросился в конюшню, сел на коня и ускакал в ближайший лес. Туда принесли ему платье. Он оделся и вместе с Гаврилом Головкиным во весь дух пустился в Троицкую лавру, куда поспел через пять часов. К нему на другой же день прибыла туда мать, жена, преданные бояре, потешные и стрельцы Сухарева полка. Утром с ужасом узнала Софья и ее приверженцы о бегстве Петра. Елизарьев со своими товарищами и полковник Циклер, прежде самый ревностный сторонник Софьи, тотчас уехали к Петру и откровенно объявили ему, что давно уже Шакловитый старается подвинуть стрельцов на умерщвление царицы Натальи и приверженных Петру бояр. Петр приказал написать грамоты во все стрелецкие полки, чтобы к 18 августа к нему явились в Троицу все полковники и начальники

с десятью рядовыми стрельцами от каждого полка для важного государева дела.

Софья принимала свои меры:ставляла караулы по Земляному городу и приказывала все грамоты, какие будут от Петра, доставлять к ней. Созвавши к себе полковников, она грозила им отрубить головы, если они пойдут к Троице. Сама между тем, видя неудачу своих замыслов, Софья думала примириться на время с Петром и посылала к нему одного за другим двух бояр Троекурова и Прозоровского, и убеждала брата возвратиться в Москву для примирения. Эти бояре вернулись без успеха. Софья отправила к Троице патриарха Иоакима, но тот сделал еще хуже для Софьи; он остался у Троицы. Патриарх тотчас после смерти Федора был сторонником Петра; он только по необходимости согласился на двуцарствие и в душе не был расположен к Софье, тем более, что Софья оказывала благосклонность к врагу патриарха Сильвестру Медведеву и приверженцы царевны поговаривали о свержении Иоакима с патриаршества и о поставлении вместо него Сильвестра.

Царь Петр, не дождавшись стрельцов, которых требовал к Троице, послал в другой раз грамоту в Москву с прежним приказанием явиться к нему всем полковникам и начальным людям с десятью рядовыми из каждого полка да, сверх того, приказывал явиться из всех московских сотен и слобод всем старостам с десятью тяглецами; на этот раз за ослушание обещалась смертная казнь. Пять полковников, много урядников и рядовых стрельцов отправились к Троице.

Софья, видя, что борьба с Петром неравна, устроить с ним мировую через других не удается, сама поехала к Петру, но ее не пустили и приказали возвратиться назад из села Воздвиженского.

Вслед за нею прибыл 1 сентября недавно отъехавший из Москвы к Троице стрелецкий полковник Нечаев с требованием выдать Шакловитого, Медве-

дева и других сообщников, на которых указали стрельцы.

Софья до того была раздражена этим требованием, что приказала было отрубить Нечаеву голову, но опомнилась, рассудивши, что этим поступком в ее положении она скорее проиграет, чем выиграет. Она собрала стрельцов и говорила им в таком смысле:

”Письма, что привезли из Троицы, составлены ворами. Как можно выдавать людей? Они под пыткой оговорят других, людей добрых; девять человек девять сот оговорят. Злые люди разсорили меня с братом, выдумали какой-то заговор на жизнь младшего царя; из зависти к верной службе Федора Шакловитаго, за то, что он день и ночь трудится для безопасности и добра государства, они очернили его зачинщиком заговора. Я сама хотела уладить дело, узнать причину козни и поехала к Троице, а брат, по наущению злых советников, не допустил меня к себе и не велел туда ехать, и я воротилась со стыдом. Сами знаете, как я управляла государством семь лет, принявши правление в смутное время; под моим правлением заключен честный и твердый мир с нашими соседями христианскими государями, враги веры христианской приведены в ужас и страх нашим оружием. Вы, стрельцы, за вашу службу получили важныя награды, и я к вам всегда была милостива. Не могу поверить, чтобы вы стали мне неверны и поверили измышлениям врагов мира и добра! Они ищут головы не Шакловитаго, а моей и моего брата Ивана. Я обещаю вам награду, если останетесь мне верны и не будете мешаться в это дело, а те, которые будут не послушны и начнут творить смуту, будут наказаны. Помните: если пойдете к Троице, здесь останутся ваши жены и дети...”

Потом Софья позвала к себе толпу посадских и говорила им речь в том же духе. Стрельцов и служилых иноземцев поили вином, даже Нечаеву поднесли водки.

Между тем Петр, не получая ответа от Нечаева, послал снова требование выдать Шакловитого со всеми сообщниками и приказывал служилым иноземцам прибыть к нему к Троице. Генерал Гордон, начальник иноземцев, по поводу этого царского приказания обратился к заведовавшему Иноземным приказом князю Василью Васильевичу Голицыну. "Я доложу об этом старшему царю", — сказал Голицын Гордону. Но Гордон не счел нужным ждать доклада, он понимал, что Голицын только тянет время, выжидая, не обратятся ли обстоятельства к пользе Софьи. Гордон отправился 5 сентября к Троице со служилыми иноземцами и был принят очень ласково. Петр допустил иноземцев к своей руке и велел им дать по чарке водки.

Переход иноземцев привел дело Софьи еще ближе к печальной развязке. На стрельцов не было надежды. Они похватили подручников Шакловитого, через которых он прежде пытался взволновать стрельцов, и отвезли их к Троице. В числе схваченных главнейший был Обросим Петров, который перед тем уже несколько дней скрывался у пономаря и чуть только попытался выйти, тотчас был схвачен. Он во всем сознался еще до пытки.

Ясно, что отозвались Софье и смерть Хованского, и сбор служилых для укрощения стрелецкого своеволия, и грамота, в которой стрельцам поставили воровство переворот, произведенный ими в пользу Софьи. Не было теперь у стрельцов большого желания отважиться на чересчур смелое дело за ту, которая уже показала им, как она благодарит за услуги и как можно положиться на ее обещания. На московские сотни и слободы еще менее можно было надеяться Софье, когда стрельцы, люди военные, не шли за нею. Софья с Шакловитым решились попытаться поднять за себя Россию: это уже значило, как говорится, все поставить на карту разом.

Шакловитый изготовил грамоту к людям всех чинов Московского государства от имени Софьи. Правительница приносила жалобу всему народу не на Петра, а на его родственников Нарышкиных: "Они ни во что ставят старшего царя Ивана, забросали его комнату поленьями, изломали его царский венец; потешные Петровы делают людям насилия, а царь Петр никаких челобитных не слушает" и пр. Но этой грамоте не суждено было быть разосланною.

6 сентября, уже вечером, толпа стрельцов явилась перед дворцом и требовала выдачи Шакловитого. Софья думала подействовать на них твердостью и угрозами и сказала повелительно, что не выдаст и что они не должны мешаться в ее дела. "Если нам не выдадут Шакловитого, — закричали стрельцы, — то мы ударим в набат!" Бояре, окружавшие Софью, испугались: "Государыня царевна, — сказали они, — нельзя им перечить, нельзя спасти Шакловитого; будет бунт; тогда мы все пропадем; лучше его выдать". Софье оставалось послушаться. Шакловитый был выдан и на другой день около часа пополудни привезен к Троице.

Вечером, около пяти часов, в тот же день прибыл к Троице Василий Васильевич Голицын с несколькими думными людьми<sup>23</sup>. Царь не допустил их к себе. Им велено было ждать решения.

Начались допросы и пытки. Шакловитый сначала во всем заперся, но после первой пытки стал виниться наполеовину, а когда его повели пытать в другой раз, то, не допустивши до пытки, сознался, что разговаривал со стрельцами о том, как бы произвести пожар в Преображенском селе и убить царицу, однако упорно отрицал умысел на жизнь царя Петра. Шакловитый обвинял в соучастии и Василия Васильевича Голицына.

У Василия Голицына был двоюродный брат Борис, ревностнейший приверженец Петра, любимец его и главный распорядитель, как оказалось, по следствию над заговорщиками. Обвинение

в измене ложилось пятном на весь род Голицыных. Заступлению Бориса обязан был Василий Голицын тем, что его хотя наказали, но за другие вины. 9 сентября он был призван во дворец вместе с сыном Алексеем. Думный дьяк прочитал ему приговор, по которому он лишился боярства и вместе с сыном и семьей ссылался в Каргополь: это постигало его за то, что он, мимо царей, подавал доклады царевне Софье и, сверх того, за дурные распоряжения во время крымского похода, причинившие разорение государству и отягощение народу<sup>24</sup>. Боярина Неплюева осудили на ссылку в Пустозерск за дурное управление в Севске, где он прежде был наместником; Змеев удален в свои костромские вотчины; прочих простили. Напрасно Василий Голицын написал в свое оправдание длинное объяснение в семнадцати пунктах: царь не читал его.

11 сентября, в 10 часов вечера, против Лавры, у большой дороги, вывели преступников на смертную казнь при большом стечении народа. Шакловитому отрубили голову топором. То же сделали стрельцам Обросиму Петрову и Кузьме Черному. Полковнику Семену Рязанцеву велели положить голову на плаху, потом велели ему встать, дали несколько ударов кнутом и отрезали кусок языка. Такому же наказанию подвергли еще двоих<sup>25</sup>.

Наконец Петр отправил к старшему брату письмо, в котором представлял, что им обоим, будучи в совершенном возрасте, пора править государством самим, а не позволять третьему лицу, сестре, вмешиваться в правление. С своей стороны, Петр обещался почитать, как отца, старшего брата. Слабоумный Иван не прекословил.

Вслед за письмом Петра отправлен был в Москву боярин Троекуров с приказанием Софье переселиться в Новодевичий монастырь. Софья несколько дней упрямылась и успела еще переслать письмо и деньги своему другу, Василию Го-

лицыну. Наконец, в конце сентября она поневоле должна была ехать в монастырь. Ей дали просторное помещение окнами на Девичье поле, позволили держать при себе свою кормилицу, престарелую Яземскую, двух казначей и девять постельниц. Из дворца отпускалось ей ежедневно определенное количество разной рыбы, пирогов, саек, караваев, хлеба, меду, пива, браги, водки и лакомств. Царицам и царевнам позволено было посещать ее во всякое время. Она могла свободно ходить внутри монастыря, участвовать в храмовых праздниках, но у ворот постоянно стояли караулы из солдат полков Семеновского и Преображенского. Вдова царя Федора, Марфа Матвеевна, и супруга царя Ивана, Прасковья Федоровна, очень редко посещали Софью, но сестры были с нею по-прежнему дружны, и вместе втихомолку ругали Петра и жаловались на свою судьбу.

С падением Софьи началась самобытная деятельность Петра, и вместе с тем наступал и новый период в истории России. Внимание Петра, как известно, обратилось на юг: была построена корабельная верфь в Воронеже и начаты походы в Азов. В январе 1696 года скончался болезненный, слабоумный Иван. Двоевластие кончилось. Азов был взят. Петр начал десятками отправлять своих подданных учиться за границу, а в начале 1697 года решил ехать туда сам инкогнито, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, т.е. в том чине, в каком он состоял тогда, начавши для примера другим военную службу с низшего чина. Его неутомимая деятельность, его недовольство старыми порядками, посылка людей за границу и, наконец, неслыханное до того времени намерение самому ехать учиться у иностранцев уже возбудили против него злые умыслы. 23 февраля, когда царь готовился к отъезду, веселился на прощании с боярами у своего любимца, иностранца Лефорта, ему дали знать, что пришел с доносом пятисотенный стрелец Ларион



Елизарьев (тот самый, который преуде-домил Петра о замыслах Шакловитого) с десятником Силиным. Их позвали к царю, и они объявили, что Иван Циклер, уже пожалованный в думные дворяне, собирается убить царя. Циклер перед тем только получил от царя назначение построить Таганрог и был этим недоволен. Оказавши важную услугу Петру в деле Шакловитого, он ожидал, что будет важным человеком у царя, и обманулся, так что он сделался врагом царя, которому так услужил в прежние годы.

Циклер был схвачен и под пытку показал на окольного Соковнина, заклятого старовера, брата боярыни Морозовой и княгини Урусовой (признаваемых раскольниками до сих пор за мучениц). Соковнин под пыткой сознался, что действительно говорил о возможности убить государя, так как государь едит или один, или с малым числом людей. Соковнин при этом оговорил зятя своего, Федора Пушкина, и сына его Василия. Вражда к Петру происходила, по их показанию, оттого, что царь начал посылать людей за море учиться неведомо чему. Обвиненные притянули к делу двух стрелецких пятидесятников. Всех их присудили к смертной казни. Циклер перед казнью объявил, что в прежние годы, во время правления Софьи, царевна и покойный боярин Иван Милославский уговаривали его убить царя Петра. Петр приказал вырыть из земли гроб Милославского и привезти в Преображенское село на свиньях. Гроб открыли: Соковнину и Циклеру рубили прежде руки и ноги, потом отрубили головы; кровь их лилась в гроб Милославского. Пушкину и другим отрубили головы. На Красной площади был поставлен столп с железными спицами, на которых были воткнуты головы казненных.

Вслед за тем Петр усилил караул у ворот Новодевичьего монастыря, а сам уехал за границу.

В то время, как Петр в Голландии

учился строить корабли, а потом ездил по Европе присматриваться к иноземным обычаям, в Москве управляли бояре, согласно начертаниям царя. Московским стрельцам пришла тяжелая пора. Прежде они спокойно проживали себе в столице, занимаясь промыслами, величались значением царских охранителей, всегда готовые, как мы видели, обратиться в мятежников. Теперь их выслали в отдаленные города на тяжелую службу и притом на скудном содержании. Четыре полка (Чубарова, Колзакова, Черного и Гундертмарка) были отправлены в Азов. Через несколько времени на смену им послали другие шесть полков. Прежние четыре полка думали было, что им позволят из Азова возвратиться в Москву, как вдруг им приказали идти в Великие Луки, на Литовскую границу, в войско князя Ромодановского. Они повиновались, но в марте 1698 года многим стало невыносимо: сто пятьдесят пять человек самовольно ушли из Великих Лук в Москву бить челом от лица всех товарищей, чтоб их отпустили по домам. В прежние времена случаи самовольного побега со службы были не редкостью и сходили с рук, но на этот раз начальник Стрелецкого приказа, боярин Троекуров, велел им немедленно идти назад, а четырех выборных, которые к нему пришли объясняться, за дерзкие слова приказал сейчас же засадить в тюрьму. Стрельцы отбили своих товарищей, буянили и не хотели идти из Москвы. Бояре двинули на них солдат Семеновского полка и выгнали из Москвы силою.

Стрельцы воротились к пославшим их товарищам. Ромодановский в это время по указу, пришедшему из Москвы, должен был распустить всех своих служилых людей, но такое распоряжение не простиралось на стрельцов; их четыре полка велено было расставить по западным пограничным городам, а тех, которые самовольно ходили с чело-битной в Москву, сослать в Малорос-

сию на вечные времена. Стрельцы заволновались и не выдали Ромодановскому своих товарищей, ходивших в Москву: Ромодановский, распустивши перед тем служивых, не имел возможности схватить виновных стрельцов. Стрельцы, пошумевши, ушли, как будто повинуюсь приказанию идти в назначенные им города, и на дороге, на берегу Двины, 16 июня устроили круг. Тут один из ходивших в Москву, стрелец Маслов, стоя на телеге, начал читать письмо от царевны Софьи, в котором она убеждала стрельцов прийти к Москве, стать табором под Новодевичьим монастырем и просить ее снова на державство, а если солдаты станут не пускать их в Москву, то биться с ними.

Стрельцы порешили идти на Москву. Раздавались голоса о том, что надобно перебить всех немцев, бояр, самого царя не пускать в Москву и даже убить его за то, что "сложился с немцами". Впрочем, это были только одни толки, а не приговор всего круга.

Когда в Москве слышали, что идут к столице стрельцы, то на многих жителей напал такой страх, что они с имуществом разъезжались по деревням. Бояре, не допуская стрельцов до столицы, выслали против них навстречу войско в числе 3700 человек с 25 пушками. Начальство над этим войском взял боярин Шеин с двумя генералами — Гордоном и князем Кольцо-Мосальским. Высланное боярами московское войско встретилось со стрельцами 17 июня близ Воскресенского монастыря. Сначала Шеин отправил к ним в стан генерала Гордона. Гордон потребовал, чтобы стрельцы немедленно ушли в назначенные им места и выдали бы сто сорок человек из тех, которые ходили перед тем только в Москву: их считали главными зачинщиками бунта.

"Мы, — отвечали стрельцы, — или умрем, или непременно будем в Москве хоть на три дня, а там пойдем, куда царь прикажет".

"Вас к Москве не пропустят. Об этом не помышляйте", — сказал им Гордон.

"Разве все пометим, тогда в Москве не будем", — отвечали стрельцы.

Двое старых стрельцов начали объяснять Гордону свои нужды, как стрельцы терпят и голод и холод, как строили крепости, тянули суда с пушечною и оружейною казною, вверх Доном, от Азова до Воронежа; как им дают месячного жалованья столько, что едва достает на две недели, говорили, что теперь они хотят только повидаться с женами и детьми своими. Толпа стрельцов подтверждала справедливость сказанного двумя их товарищами.

"Я советую вам, — сказал Гордон, — чтобы каждый полк особо обдумал и посоветовался о том, что вы делаете".

"Мы все заодно", — возражали ему стрельцы.

"Так знайте же, — сказал Гордон, — если вы теперь не примете милости его царского величества и мы принуждены будем силою привести вас к повиновению, тогда уже не будет вам пощады. Даю вам сроку четверть часа".

Гордон отъехал в сторону и через четверть часа опять послал к ним за ответом. Но стрельцы стояли на своем.

Шеин отправил к стрельцам Кольцо-Мосальского. Тогда из толпы стрельцов вышел десятник Зорин с челобитной, где, между прочим, говорилось, будто воевода Ромодановский хотел их рубить, неизвестно за что, а в заключение объяснялось, что стрельцы затем пришли к Москве, что в Москве "великое страхование, город затворяют рано вечером и поздно утром отворяют, всему народу читится наглость; они слышали, что идут к Москве немцы и то знатно последую брэдобритию и табаку во всеовершенное благочестия исповержение".

И в стрелецком стане, и в стане Шеина отслужали молебны, приготовились к бою.

Шеин послал против стрельцов Гор-

дона с 25 пушками, а между тем кавалерия стала окружать их стан.

Поставивши свои пушки, Гордон два раза высылал к стрельцам дворян с советом опомниться и покориться.

“Мы вас не боимся, — сказали стрельцы, — у нас самих есть сила”.

Тогда Гордон приказал дать залп, но так, что ядра пролетели над головами стрельцов.

Стрельцы подняли крик, замахали шапками и произносили имя св. Сергия.

То был их условленный знак.

Тогда Гордон приказал выстрелить по ним из пушек и положил многих на месте. Стрельцы смешались. Гордон дал другой, третий, четвертый залп; стрельцы бросились врассыпную. Осталось только ловить и вязать их. Убито у них было 29 человек и ранено 40.

Тотчас дали знать в Москву; бояре приказали Шеину произвести розыск. Начались пытки кнутом и огнем. Стрельцы повинились, что было у них намерение захватить Москву и бить бояр, но никто из них не показал на царевну Софью. Шеин самых виновных приказал повесить на месте, а других разослать по тюрьмам и монастырям под стражу<sup>26</sup>.

Бояре полагали, что суд тем и кончился, но не так посмотрел на это дело Петр, когда к нему в Вену пришло известие о бунте стрельцов. “Это, — писал он Ромодановскому, — семя Ивана Милославскаго растет...” — и тотчас поскакал в Москву.

Царь прибыл в столицу 25 августа, а на другой день, 26-го, в Преображенском селе начал делать то, что так возмущало стрельцов; Петр начал собственноручно обрезать бороды боярам и приказал им одеться в европейское платье, как будто желая сразу нанести решительный удар русской старине, подвигнувшей на бунт стрельцов.

С половины сентября начался новый розыск. Из разных монастырей велено было свезти стрельцов; затем

иных разместили по московским монастырям, а других содержали в подмосковных селах под крепким караулом. Число всех содержащихся стрельцов было 1714 человек<sup>27</sup>.

Допрос происходил в Преображенском селе под руководством князя Федора Юрьевича Ромодановского, заведовавшего Преображенским приказом. Устроено было четырнадцать застенков и каждым застенком заведовал один из думных людей и ближних бояр Петра. Признания добывались пытками. Подсудимых сначала пороли кнутом до крови на виске (т.е. его привязывали к перекладине за связанные назад руки); если стрелец не давал желаемого ответа, его кляли на раскаленные уголья. По свидетельству современников, в Преображенском селе ежедневно курилось до тридцати костров с угольями для поджаривания стрельцов. Сам царь с видимым удовольствием присутствовал при этих варварских истязаниях. Если пытаемый ослабевал, а между тем нужен был для дальнейших показаний, то призывали медика и лечили несчастного, чтоб подвергнуть новым мучениям. Под такими пытками стрельцы сперва сознались, что у них было намерение поручить правление царевне Софье и истребить немцев, но никто из них не показывал, чтобы царевна сама подушала их к этому замыслу! Петр подозревал сестру и приказал пытать стрельцов сильнее, чтобы вынудить у них показания, обвиняющие Софью. Тогда некоторые стрельцы показали, что один из их товарищей (который в розыске не оказывался), Васка Тума, привез из Москвы письмо от имени Софьи, получивши его через какою-то нищую. Это письмо передано было пятидесятнику Обросимову, а тот передал его стрельцу Маслову, последний читал это письмо перед полками на Двине. Следуя этим показаниям, нашли нищую; но она ни в чем не созналась и умерла в мучениях под пыткой. Взяли

кормилицу Софьи Вяземскую и четырех ее постельниц, подвергли их жестоким пыткам. Показания этих женщин были таковы, что из них можно было только при сильных натяжках обвинить Софью. Сама Софья, допрошенная Петром, объявила, что никогда не посылала никаких писем в стрелецкие полки. Сестра ее Марфа сказала только, что слышала от своей служительницы Жуковой о желании стрельцов прийти в Москву и возвести на царство Софью. Жукову подвергли пытке; она наговорила на одного полуполковника. Этого, в свою очередь, подвергли пытке, а Жукова потом сказала, что она его оговорила напрасно. Когда же ее снова стали пытаться, она опять обвиняла его: это может служить образчиком, какого рода были отбираемые тогда показания.

30 сентября у всех ворот московского Белого города расставлены были виселицы. Несметная толпа народа собралась смотреть, как повезут преступников. В это время патриарх Адриан, исполняя предковской обычай, наблюдаемый архипастырями, просить милости опальным, приехал к Петру с иконою Богородицы. Но Петр был еще до этого не расположен к патриарху за то, что последний повторял старое нравоучение против брадобрития; Петр принял его гневно. "Зачем пришел сюда с иконою? — сказал ему Петр. — Убирайся скорее, поставь икону на место и не мешайся не в свои дела. Я побольше тебя почитаю Бога и Пресвятую Богородицу. Моя обязанность и долг перед Богом охранять народ и казнить злодеев, которые посягают на его благосостояние". Патриарх удалился. Петр, как говорят, собственноручно отрубил головы пятерым стрельцам в селе Преображенском. Затем длинный ряд телег потянулся из Преображенского села в Москву; на каждой телеге сидело по два стрельца; у каждого из них было в руке по зажженной восковой свече. За ними бежали их же-

ны и дети с раздражающими криками и воплями. В этот день перевешено было у разных московских ворот 201 человек.

Снова потом происходили пытки, мучили, между прочим, разных стрелецких жен, а с 11 октября до 21-го в Москве ежедневно были казни; четвертым на Красной площади ломали руки и ноги колесами, другим рубили головы; большинство вешали. Так погибло 772 человека, из них 17 октября 109-ти человекам отрубили головы в Преображенском селе. Этим занимались, по приказанию царя, бояре и думные люди, а сам царь, сидя на лошади, смотрел на это зрелище. В разные дни под Новодевичьим монастырем повесили 195 человек прямо перед кельями царевны Софьи, а троим из них, висевшим под самыми окнами, дали в руки бумагу в виде челобитных. Последние казни над стрельцами совершены были в феврале 1699 года. Тогда в Москве казнено было разными казнями 177 человек.

Тела казненных лежали неприбранные до весны, и только тогда велено было зарыть их в ямы близ разных дорог в окрестностях столицы, а над их могилами велено было поставить каменные столпы с чугунными досками, на которых были написаны их вины; на столпах были спицы с воткнутыми головами.

Софья, по приказанию Петра, была пострижена под именем Сусанны в том же Новодевичьем монастыре, в котором жила прежде. Сестра ее, Марфа, пострижена под именем Маргариты и отправлена в Александровскую слободу в Успенский монастырь. Прочим сестрам запрещено было ездить к Софье, кроме пасхи и храмового праздника Новодевичьего монастыря.

Несчастная Софья в своем заключении томилась еще пять лет под самым строгим надзором и умерла в 1704 году.

## Примечания и комментарии Н.И. Костомарова

<sup>1</sup> См. нашу статью: "Начало единодержавия", помещенную в "Вестн. Евр.", декабрь 1870 г., стр. 534–546.

<sup>2</sup> Поразителен тот факт, что еще в XVII веке в Кафе (Феодосия) при 6000 домах было 12 греческих церквей, 32 армянских и одна католическая, а в 1778-м число найденных в Крыму православных, но совершенно отатарившихся простиралось только до 15 000 (см. Хартохая, Истор. судьба крымск. татар. "Вестн. Евр." 1867, II, стр. 152–173).

<sup>3</sup> Возмутительным казался поступок самого Курбского, решившегося послать верного слугу на явную погибель, но в летописи, означенной Карамзиным именем Александро-Невской, о Васье Шибанове говорится, что он способствовал бегству Курбского и сам был схвачен; следовательно, вовсе не послан в Москву с письмом своего господина, как обыкновенно полагали.

<sup>4</sup> Воропай передает слова царя Ивана Васильевича следующим образом в польском переводе: *Lecz i natenczas mosy tatarskiey ni kaska sie nie bałem, jedno zem widział zmienność i zdradę ludzi moich, tedy od ludzi tatarskich mało na stronę odwróciłem się.*

<sup>5</sup> Требование это, по духу поляков, было неуместно в то время. Притом же царь, из прежних примеров с Ягеллонами, мог иметь в виду, что после избрания московского принца на польский престол в Польше и Литве будет всегда существовать сильная партия, желающая, чтоб последующие короли были избираемы из одного и того же дома.

<sup>6</sup> Бесспорно, что сближение с Польшею послужило бы ко введению признаков европейского просвещения в Московском государстве. Поляки, превосходившие московских людей образованностью, возымели бы на последних нравственное влияние. Но вместе с тем на московском обществе отразились бы и все недостатки, которые глубоко укоренились в польском; просвещение и свобода могли бы сделаться уделом немногих к большому порабощению и погружению в невежество массы народа.

<sup>7</sup> Недавно один молодой, трудолюбивый и даровитый деятель по русской истории г-н Штендманн показывал нам чрезвычайно любопытные сведения, почерпнутые им из Венского архива; из них оказывается, что

Иван Васильевич духовным завещанием передавал после себя все свое государство в руки Габсбургского дома в лице того самого Эрнеста, которого поддерживал в Польше.

<sup>8</sup> Июльская книга текущего года.

<sup>9</sup> *Нечивиль*, а также *нецивилль* – беспамятовство, бесчувствие, обморок. См. Словарь Даля.

<sup>10</sup> Есть грамота царя Михаила Федоровича, данная в 1619 году, где говорится, что тогда польские и литовские люди замучили до смерти крестьянина села Доминина Ивана Сусанина, не допросившись у него, где находится Михаил Федорович. Царь наградил его потомство.

<sup>11</sup> От этого женщина пожелала свободно обращаться в обществе, и если была умна, то пользовалась даже некоторым значением.

<sup>12</sup> Впоследствии Сумбулов был за это пожалован Софьей думным дворянином; но, когда Петр взял верх, Сумбулов удалился в Чудов монастырь.

<sup>13</sup> Тогда же другие стрельцы замучили одного из Нарышкиных, по имени Иван Фомич, в его собственном доме на Замоскворечье.

<sup>14</sup> Сосланные тогда были, кроме Нарышкиных, двое Лихачевых: постельничий Алексей и казначей Михайло Тимофеевичи; двое Языковых, окольный Павел Петрович и чашник Семен Иванович; сын Матвеева Андрей; двое думных дьяков, один думный дворянин, трое стольников и прежние сменные стрельческие начальники.

<sup>15</sup> Сын Артамона Матвеева Андрей говорит, что при этом были и цари.

<sup>16</sup> Доносчики в заключение говорили: "Когда Господь Бог все утишит, тогда мы вам, государям, объявимся; имен нам своих написать невозможно; а приметы у нас: у одного на правом плече бородавка черная, у другого на правой ноге поперек бедра, рубец, посечено, а третьяго объявим мы потому, что у него примет никаких нет".

Подписано: "Вручить государыне Царевне Софье Алексеевне".

<sup>17</sup> Как, напр., замена Разбойного приказа Сыскным.

<sup>18</sup> Таковы были: князь Лобанов-Ростовский и Иван Микулин; они разбивали людей на Троицкой дороге под Москвою; их наказали кнутом.

<sup>19</sup> По известиям раскольников, их сгорело 2700 человек.

<sup>20</sup> См. биограф. "Преемники Богдана Хмельницкого".

<sup>21</sup> Приводим для образчика одно из этих писем: "Свет мой братец Васенка, здравствуй батюшка мой на многия лета и паки здравствуй, Божию и пресветягу Богородицу и твоим разумом и счастием победив агаряны, подай тебе Господи и впредь враги побеждати, а мне, свет мой, веры не имеется што ты к нам возвратитца, тогда веры пойму, как увижу во объятиях своих тебя, света моего. А что, свет мой, пишешь, чтобы я помолилась, будто я верна грешная перед Богом и недостойна, однако же дерзаю, надеясь на его благоутробие, аще и грешная. Ей всегда того прошю, штобы света моего в радости видеть. Посем здравствуй, свет мой, о Христе на веки нешкетные. Аминь". В другом своем письме, писанном в Крым, Софья высказывает ту же горячую любовь к своему любимцу: "Батюшка мой платить за такие твои труды неисчетные радость моя, свет очей моих, мне веры не иметца, сердце мое, что тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне день той был, когда ты, душа моя, ко мне будешь; еслибы мне возможно было, я бы единым днем тебя поставила перед собою. Письма твои, врученны Богу, к нам все дошли в целости из под Перекопу... Я брела пеша из Воздвиженскова, толко подхожу к монастырю Сергия Чудотворца, к самым святым воротам, а от вас отписки о боях: я не пом-

ню, как взошла, чла идучи, не ведаю, чем его света благодарить за такую милость его и матерь его, пресвятую Богородицу, и преподобнаго Сергия, чудотворца милостиваго..."

<sup>22</sup> Никита Гладкий, Кузьма Черный, Стрижев, Петров и Кондратьев.

<sup>23</sup> С боярином Леонтием Романовичем Нешпюевым, окольным Венедиктом Андреевичем Змеевым, думным дворянином Григорием Ивановичем Калачовым и думным дьяком Емельяном Игнатьевичем Украинцевым.

<sup>24</sup> Генерал Гордон в своих записках рассказывает, что Борис Голицын, принявши от Шаковитого последнее признание, не показал его тотчас Петру, чтоб уничтожить из признания то, что касалось Василия Голицына; но Нарышкины донесли об этом царю. Борис извинялся перед царем, что было уже поздно и он по этой причине не показал бумаги тотчас. Петр не лишил его милости и доверия, но царица Наталья и Нарышкины питали к нему за это злобу.

<sup>25</sup> Пятидесятника Муромцева и стрельца Лаврентьева; наказанных сослали в Сибирь.

<sup>26</sup> По показанию Гордона, казнено было до 130 чел., а по монастырям разослано 1845 чел.

<sup>27</sup> Из отправленных Шеиным пленных убежало из монастырей 109 чел.

## КОММЕНТАРИИ

### Личность царя Ивана Васильевича Грозного

Работа впервые опубликована в журнале "Вестник Европы" (СПб., 1871. Т. 5. Кн. 10), затем включена в "Исторические монографии и исследования Николая Костомарова" (2-е изд. СПб., 1881. Т. 13.) (Далее – "Исторические монографии").

С. 5. ...*"Несколько слов по поводу поэтических воспроезданий характера Иоанна Грозного"*... К.Н.Бестужева-Рюмина... – Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829–1897) – русский историк, академик. Автор первого по времени критического изложения славянофильства: "Славянофильское учение и его судьбы в русской литературе" ("Отечественные записки", 1862. Т. 140–142).

С. 5. ...*были сказаны в заседании Славянского благотворительного комитета и напечатаны в мартовской книжке "Зари"*... – Славянский благотворительный комитет – общество, созданное в Москве кружком славянофилов во главе с М.П.Погодиным для оказания помощи находящимся под игоземным владычеством славянам. В 1868 г. учрежден его Петербургский отдел, который с объявлением войны Турции в 1877 г. был преобразован в С.-Петербургское Славянское благотворительное общество. "Заря" – учебно-литературный и политический журнал, издавался в Петербурге в 1869–1872 гг. Выступление К.Н.Бестужева-Рюмина было опубликовано в 3-м номере журнала за 1871 г.

С. 6. ...*унижение соседнего государства, стоявшего прежде на первом плане на всем Севере...* – Цитата из указ. соч. К.Н.Бестужева-Рюмина, в который подразумевается Швеция. Далее Н.И.Костомаров неоднократно цитирует К.Н.Бестужева-Рюмина, не называя его имени и часто не прибегая к кавчычкам.

С.6. ...*одинаковое историческое величие с Уаттом и Фультоном...* – Уатт, Джеймс (1736–1819) – английский изобретатель, создатель универсального теплового двигателя. Изобрел паровую машину. Фултон, Роберт (1765–1815) – американский изобретатель. В 1807 г. построил первый в мире колесный пароход.

С. 7. ...*завоевание Ливонии...* – Ливония – на

рубеже XII–XIII вв. область расселения ливов, со 2-й четв. XIII в. по 1561 г. – вся территория Латвии и Эстонии, завоеванная германскими крестоносцами; с образованием герцогства Курляндского – Северная Латвия и Южная Эстония, перешедшие под власть Речи Посполитой, а затем – Швеции.

С. 7. ...*деяния Ришелье при Людовике XIII... Мазарини в малолетство Людовика XIV... – Людовик XIII (1601–1643) – французский король с 1610 г., начало правления которого ознаменовалось смутами феодальной знати. Фактическим правителем страны с 1624 г. являлся кардинал Ришелье. Ришелье, Арман Жан дю Плесси (1585–1642) – французский государственный деятель, глава королевского совета. Людовик XIV (1638–1715) – французский король с 1643 г. Фактическим главой государства при нем до 1661 г. был кардинал Мазарини, подавивший Фронду. Мазарини, Джулио (1602–1661) – французский государственный деятель, первый министр Франции с 1643 г.*  
С. 8. ...*по смерти Анастасии...* – Анастасия Романовна Захарьина (ум. 1560) – царица, первая жена Ивана IV (1547). Происходила из старого московского боярского рода, давшего начало династии Романовых.

С. 8. ...*царь Иван Васильевич в письмах своих к Курбскому...* – Курбский, Андрей Михайлович (1528–1583) – князь, боярин, воевода. Участник Казанского похода и Ливонской войны. В 1564 г. бежал в Великое княжество Литовское. Знаменитая переписка царя с князем Курбским включает 2 послания Грозного и 3 письма Курбского.

С. 10. ...*на татар нагайских...* – Татарское население южнорусских степей. Получили свое название от известного золотоордынского хана Ногая (ум. ок. 1294/96). Т. н. "малые" ногайцы образовали в Причерноморье несколько орд, подчинявшихся крымским ханам.

С. 11. *Хану Девлет-Гирею...* – Девлет-Гирей (ум. 1577) – крымский хан с 1551 г. Совершал разорительные набеги на Польшу и Россию.

С. 11. *Мурзы* – татарские князьки.

С. 11. ...*в Ливонскую войну...* – Война России за захват территории Ливонии и выход к Балтийскому морю, 1558–83 гг.

С. 13. ...*ногайским летучим загонам...* – Загон – древнерусский военный термин для обозначения отряда, отправлявшегося с какой-либо целью в поход. Часто применялся по отношению к крымцам, казакам, черкесам.

С. 15. ...*был побежден Баторием...* – Бато-

рий, Стефан (1533–1586) – польский король с 1576 г.

С. 15. ...*море, загороженное Столбовским договором...* – Русско-шведский мирный договор 1617 г., по которому Россия лишилась Ижорских земель и выхода к Балтийскому морю.

С. 15. ...*саксонец Шлитт, который в 1547 году хотел привезти в Московское государство полезных иноземцев.* – В 1548 г. саксонец Ганс Шлитте, выдавая себя за полномочного агента Ивана IV, нанял для службы в России ремесленников и мастеров. Ливонский орден оказал решительное противодействие этому предприятию.

С. 15. ...*что делалось при... Иване Васильевиче III, когда в Москве отличались Аристотель, Марко Алевизо, Дебосис, Антон-лекарь и другие...* – Фиораванте, Аристотель (1415/20 – ум. ок. 1486), Алевиз Фрязин, Миланец – выдающиеся итальянские архитекторы, участвовавшие в строительстве Кремля. Дебосис, Павлин – итальянец, пушечный мастер, работавший в России в конце 1480-х гг.

С. 17. *Бомелия, подававшего ему советы, как мучить людей...* – Бомелий, Елисей – английский лекарь, состоявший при царе.

С. 19. ...*во дьяках, в подъячих...* – В XVI в. с утверждением приказов дьяки – высший слой приказных людей, помощники бояр или начальники приказов. Подьячие – низший чин служащих приказов.

С. 20. ...*(вроде поступка князей Ростовских)*... – В 1554 г. князь Семен Лобанов-Ростовский вместе с сыном пытался бежать за рубеж, но неудачно, был сослан, а затем казнен.

С. 24. ...*как Нерон попал под опеку Сенеки и Бурра...* – Нерон, Клавдий Цезарь (37–68) – римский император с 54 г. В начале своего правления действовал в согласии с Сенатом, находясь под влиянием префекта Бурра и выдающегося философа Сенеки. Последние годы пребывания у власти Нерона ознаменовались репрессиями.

С. 24. ...*на волю опрличине...* – Опричнина – наименование внутренней политики Ивана IV в 1565–72 гг., включавшей ряд военных, социальных и др. реформ. Сопровождалась массовыми репрессиями и разорением страны.

С. 26. ...*история Авеири...* – См.: Библия, 2 Царств, гл. 3.

С. 26. ...*Иеровоамом, который отторгнулся от Иерусалима и основал особое царство Самарийское?* – См.: Библия, 3 Царств, гл. 11, 14.

С. 27. ...*свое подобие в Ровоаме...* – См.: Библия, 3 Царств, гл. 12, 14.

С. 27. ...*из любого хронографа...* – Средневековые исторические сочинения, излагающие события от сотворения мира.

С. 27. ...*"епархам и сигклитам"*. – Синклит, собрание, совет высших сановников.

С. 30. ...*обличена уже Устряловым в примечаниях к его изданию "Сказаний князя Курбского"*. – Курбский А.М. Сказания князя Курбского. (Изд. Н.Г.Устрялова). СПб., 1833.

С. 32. ...*то не было бы "крановой жертвы"*. – В древнегреческой мифологии Кронос – отец Зевса, пожиравший своих детей, так как ему было предсказано воцарение одного из них.

С. 33. ...*в твоей эпистоли...* – т.е. письме.

С. 34. ...*из сочинений Илариона Великого...* – Иларион (291–372) – христианский подвижник, основатель монашества в Сирии и Палестине.

С. 40. ...*держали на правее...* – Правей – взыскание долга, вообще денег, с истязанием.

С. 41. ...*Сигизмунду-Августу...* – Сигизмунд II Август (1520–1572) – король польский и великий князь литовский с 1548 г. Последний представитель династии Ягеллонов.

С. 44. ...*в сан окольникового...* – Придворный чин, предшествовавший чину боярина, давал право на участие в Думе.

С. 44. ...*князь Михаил Темрюкович Черкасский, шурин царя...* – Второй женой Ивана IV была Мария Темрюковна Черкасская (ум. 1569), дочь кабардинского князя.

С. 46. ...*в пользу дома Валуа...* – Династия французских королей, правившая в 1328–1589 гг.

С. 46. *Примас* – в католической церкви – титул архиепископа, председательствующего на церковных собраниях. В Польше в тех случаях, когда престол не был занят, являлся наместником короля.

С. 47. ...*его препирательства с Антониом Поссевином...* – Поссевин, Антонин (1534–1611) – папский представитель в России и Польше в 1581–82 гг. и 1586 г. Автор сочинения о Русском государстве.

С. 49. ...*папа Григорий...* – Григорий XIII (1502–1585) – римский папа с 1572 г., один из вдохновителей европейской католической реакции. Стремился насадить католичество в России.

С. 51. ...*во все не имел признаков того кружка, который при вступлении на престол императрицы Анны Ивановны хотел ограничить самодер-*



*жавную власть.* – Речь идет о “верховниках” – членах Верховного тайного совета (1726–1730), предложивших при приглашении на престол Анны Иоанновны особые условия – “кондиции”, устанавливающие олигархическую форму правления.

### О следственном деле по поводу убийства царевича Димитрия

Статья была опубликована в 1873 г. в 5-м томе журнала “Вестник Европы”, затем вошла в издание “Исторические монографии” (2-е изд. Т. 13).

С. 54. *...пространный разбор следственного дела, ...написанный Е.А.Беловым...* – Белов, Евгений Александрович (1826–1895) – русский историк. Poleмика ведется с его работой “О смерти царевича Димитрия”.

С. 54. *...упрек за то, что в сочинении “Смутное время” мы не останавливались над этим делом...* – Имеется в виду работа Н.И.Костомарова “Смутное время Московского государства в начале XVII в. 1604–1613”. См.: “Вестник Европы”, 1866–67. Отд. изд.; СПб., 1868.

С. 54. *Следственное дело, известное в неполном виде по редакции, напечатанной в “Собрании Государственных Грамот и Договоров”...* – Автор отсыпает читателя ко 2-му тому “Собрания государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии Иностранных дел” (М., 1813–1894. В 5 т.).

С. 55. *...повесть в отрывке, которой содержание мы привели в “Смутном времени”.* А.Ф.Бычков напечатал ее в “Чтениях” Московского общества истории и древностей. – Речь идет о “Повести об убийстве царевича Димитрия”, опубликованной в “Чтениях общества истории и древностей Российских” (М., 1864. Кн. 4). Автор публикации – известный русский археограф Афанасий Федорович Бычков (1818–1899).

С. 58. *Вот что говорит современный летописец об образе действия Шуйского в Угличе...* – Далее цитируется “Новый летописец”, сочинение, возникшее около 1630 г. См.: Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 14. С. 42.

С. 60. *...и ведуня Андрушки...* – Знахарь, колдун.

С. 61. *Стряпчий* – придворный слуга, придворный чин.

С. 61. *...дети боярские...* – Низший дворянский чин.

### Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила

Написанный для простого народа очерк Н.И.Костомарова был опубликован в Петербурге в 1866 г. и выдержал несколько переизданий в конце XIX и начале XX в.

С. 68. *Это были народы племени, которое ученые называют финско-турецким.* – Перечисленные далее племена составляют финно-угорскую языковую группу. Мокша – этнографическая группа мордвы. Современное название черемисов – марийцы, вотяков – удмурты.

С. 69. *...в XIV веке, явились и выросли на Руси два государя – Москва и Литва<...> И в той, и в другой половине народ был русский.* – Значительную часть населения Великого княжества Литовского составляли русские.

С. 70. *Таким образом много знатных родов потерпело безвинно, и в том числе семья Романовых...* – Опала постигла семью Романовых в 1600 г., когда был постряжен под именем Филарета Федор Никитич Романов, а другие члены семьи сосланы в Белоозеро, Пелым, Яренск, где некоторые из них погибли.

С. 71. *...королю своему Сигизмунду III ... – Сигизмунд III Ваза (1566–1632) – король польский и великий князь литовский. В 1592–99 гг. – король шведский, низложен.*

С. 72. *...сына Сигизмундова, королевича Владислава.* – Владислав IV Ваза (1595–1648) – польский король с 1632 г. В ходе польско-литовской интервенции часть русской знати в феврале 1610 г. провозгласила Владислава царем. По Поляновскому миру 1634 г., завершившему русско-польскую войну 1632–34 гг., Владислав IV отказался от претензий на русский престол.

С. 73. *...митрополит ростовский Филарет (бывший боярин Феодор Никитич Романов)...* – Филарет (ок. 1554/55 – 1633) – русский политический деятель, патриарх с 1619 г. Отец первого царя династии Романовых – Михаила, двоюродный брат царя Федора Иоанновича. В 1600 г. постряжен в монахи и сослан. Возвращен при Лжедмитрии, получил сан ростовского митрополита. В мае 1606 г. участвовал в свержении самозванца. В 1608 г. захвачен и доставлен в Тушинский лагерь, где “наречен” патриархом, занимал выжидательную позицию. В 1610–19 гг. находился в плену в Польше. После возвращения поставлен патриархом, и до конца своей жизни был фактическим правителем страны при своем сыне царе Михаиле Федоровиче.

С. 73. ...*патриарх Гермоген...* – Гермоген (не позже 1530–1612) – русский церковно-политический деятель, патриарх с 1606 г.

С. 76. ...*келарь Авраамий Палицын, известный еще и тем, что составил описание печальных событий...* – Келарь – должностное лицо в православном монастыре, ведавшее хозяйственным устройством. Авраамий Палицын (ум. 1626) – русский политический деятель, писатель. Участник защиты Троице-Сергиевого монастыря во время его осады поляками в 1608–1610 гг. Автор "Сказания об осаде Троице-Сергиева монастыря..." (Издано: Сказание Авраамия Палицына. М.; Л., 1955).

С. 85. *Стольники* – придворный чин смотрителя за царским столом, часто был номинальным, т.к. столыники служили в провинции.

С. 85. ...*дворяне московские...* – Числящиеся по московскому списку дворяне считались выше выходцев из других городов, из них комплектовался состав Думы.

С.85. *Жильцы* – дворяне и дети боярские, присылавшиеся поочередно из всех городов для придворной службы в Москву сроком на 3 года.

С. 86. ...*черныя волости...* – Волости, облагавшиеся налогом.

## Царевна Софья

Очерк опубликован в книге Н.И.Костомарова "Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей" (СПб., 1874. Вып 5: XVII столетие).

С. 90. *Патриарх Иоаким...* – Иоаким (1620–1690) – патриарх всероссийский с 1674 г.

С. 90. ...*земский собор...* – Земские соборы – центральные сословно-представительные учреждения России XVI–XVII вв.

С. 93. *Оружничий* – чин, ведавший изготовлением, закупкой и хранением оружия, предметов дворцового обихода и др.

С. 97. ...*римских преторианцев...* – Привилегированная часть войска в Древнем Риме, императорская гвардия. Набирались из римских союзников.

С. 98. *Поднялись раскольники, пораженные проклятием собора...* – Имеется в виду церковный собор 1666–67 гг., осудивший церковный раскол, по его решению казнили и ссылали приверженцев старой веры.

С. 101. ...*Семен Полоцкий книгу на меня сложил "Жезл"*. – Симеон Полоцкий (1629–

1680) – белорусский и русский общественный деятель, писатель. Иеромонах. Автор богословского трактата "Жезл правления" (1667), направленного против патриарха Никона и расколовцев.

С. 102. ...с *Никоном...* – Никон (Никита Минов) (1605–1681) – русский патриарх в 1652–1667 гг. В 1653 г. начал проводить церковные реформы по исправлению богослужебных книг, повлекшие за собой раскол в церкви.

С. 102. ...*величался своим происхождением от Гедимины...* – Гедимин, Гедиминас (ум. 1341) – великий князь литовский с 1316 г. Первым стал титуловать себя "королем литовцев и русских".

С. 104. *Стрелец Стремянного полка...* – Стрелецкий полк, осуществлявший функции личной гвардии царя.

С. 105. ...*комнатного стольника...* – Стольник, служивший царю в его покоях.

С. 107. ...*заклочение в 1680 году с Польшею мира, прекратившего долговременную тяжелую распрю за Малороссию.* – Дата дана не точно, война завершилась Андрусовским перемирием 1667 г., условия которого были подтверждены "Вечным миром" 1686 г.

С. 107. ...*султан Магомет IV был низвержен войском, и на его место посажен брат его Сулиман II...* – Мехмед IV (1642–1691) царствовал в 1648–1687 гг., низложен взбунтовавшимися янычарами, возведшими на престол его брата Сулеймана II (1642–1691).

С. 110. *Генерал Гордон, начальник иноземцев...* – Гордон, Патрик (1635–1699) – русский военный деятель. Родился в Шотландии. В 1661–99 гг. находился на русской службе. Советник Петра I по вопросам организации и обучения армии.

С. 111. ...*иноземца Лефорта...* – Лефорт, Франц Яковлевич (1659–1699) – русский военный деятель, адмирал (1695). Швейцарец по происхождению. В России с 1675 г. Ближайший сподвижник Петра I.

С. 111. ...*пятисотенный стрелец...* – Помощник (из стрельцов) командира стрелецкого полка.

С. 112. ...*околыничего Сокованина... брата боярыни Морозовой и княгини Урусовой (признаваемых раскольниками до сих пор за мучениц).* – Морозова, Феодосия Прокопиевна (ум. 1675), урожденная Соковнина, боярыня, ярая сторонница протопопа Аввакума, вместе с сестрой кн. Е.П.Урусовой подверглась преследованиям.

С. 115. ...*патриарх Адриан...* – Адриан (1627–1700) – русский патриарх с 1691 г.

Николай  
КОСТОМАРОВ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  
МОНОГРАФИИ  
И ИССЛЕДОВАНИЯ

В двух книгах

Николай  
КОСТОМАРОВ

Царевич  
Алексей Петрович  
Самодержавный  
отрок

Книга вторая



## Царевич Алексей Петрович

(По поводу картины Н.Н.Ге)

Православная церковь с самого водворения христианства в Русской земле, стараясь утвердить святость и крепость брачного союза и семейных связей, поставила нравственным правилом, что муж, без суда церкви расторгнувший свою связь с женою, особенно насильно, против воли жены, поступает преступно перед Богом и нечестно пред людьми. Такой взгляд хотя и укоренился в нравственных понятиях, но долго встречал сопротивление в нравах и привычках, унаследованных от языческих времен и умягчавшихся медленно при неблагоприятных исторических судьбах русского народа. Довольно осталось нам черт, показывающих, что русская жизнь упорно не поддавалась поучениям благочестивых книжников о святости брачного союза. В XI веке митрополит Иоанн вооружился против языческих приемов домашней жизни и половых отношений. Тогда со времени крещения Руси едва проходило столетие; но через триста лет с небольшим после того француз Ляннуа, посетивший Новгород, замечал, что там мужья продавали и меняли жен; а через два века с небольшим после того, как Ляннуа был в Новгороде, патриарху Филарету оказалось нужным порицать русских людей за то, что они живут в связи с женщинами без венчания, продают и меняют их. Боязнь неразрывности брака была причиной, что многие, находясь в супружеской связи, не хотели венчаться, и от этого существовало различие жен венчанных и невенчанных, признаваемое даже официальными бумагами. Это явление заметно было в низших слоях народа, в особенности у казаков, которые более, чем всякие другие русские люди, предоставлены были на волю собственным народным взглядам и привычкам. В высших слоях нравственные понятия укрепились прочнее; здесь люди были знакомее с церковью и ее учением; но ханжество

нашло лазейки для человеческой необузданности: муж, невзлюбивший жены, загонял ее в гроб суровым обращением и побоями и искал себе оправдания в том, одобренном церковною нравственностью, правиле, что муж есть глава жены и имеет власть над нею; иногда же муж приневоливал жену вступить в монастырь, а сам женился на другой — форма соблюдалась, совесть успокоивалась, новый брак казался законным. Эту черту нравов наглядно показывает народная песня, изображающая судьбу женщины — "постылой жены", которую муж-боярин принуждает против ее воли постричься и посхимиться, а сам женится на ее разлучнице. Из жизни князей удельных времен мало известно примеров в таком роде: князья сравнительно были образованнее, находились в большем общении с духовенством и подчинялись влиянию церкви; пока церковь была сильнее их, они боялись ее. Но в Москве светская власть возросла до такой степени, что произвол ее не щадил уже духовных лиц; когда стали терять силу наставления последних о неподсудности церкви мирским властям, тогда и в семейной жизни верховных лиц явились примеры нарушения святости брака. Великий князь Василий Иванович поступил со своею женой Соломониею именно так, как поет упомянутая нами народная песня: он приказал насильно постричь свою жену в монастырь, а сам женился на Елене Глинской. Поднялись было голоса против такого беззакония, но должны были замолкнуть: у великого князя было много способов покарать того, кто дерзал оуждать\* его деяния, а пастыри принуждены были выдумывать софизмы к оправданию поступков властелина. Иван Васильевич, первый московский царь, шагнул далее. Он в течение своего царствования сочетался браком столько раз, сколько не дозволялось церковными правилами; не стеснялся, он запирали своих жен в монастырь, когда ему хотелось праздновать свою новую свадьбу.

\*Признавать негодным, порицать.

После царствования Ивана Грозного в семейной жизни московских царей долго не происходило ничего подобного. Цари Федор, Борис, Шуйский жили согласно со своими женами. Вступила на престол новая династия, дом Романовых; первые цари из этого дома, один за другим, отличались безупречной семейной нравственностью. За ними не было ни женолюбия, ни необузданного разгула; вся царская семья в глазах народа показывала образец богобоязненной жизни.

Явился на престоле Петр; началась ломка, перестройка государственной, общественной, домашней жизни. Царь: бомбардир, шаутбенахт\*, каменщик, плотник, кузнец, лекарь, законодатель, учитель — всему сам дает почин; но не все у него идет на новый лад; многое в поступках Петра напомнило Руси времена старые, времена давно забытые. Александровская слобода царя Ивана оживала в Преображенском селе, и родитель царя Ивана, великий князь Василий Иванович, если бы встал из гроба, то нашел бы, что названный потомок его шагнул еще далее своего предка в свободе семейной жизни.

Петр женился на Евдокии Федоровне Лопухиной тогда еще, когда ему было шестнадцать лет. Он женился так, как женилось тогда множество людей: собственно, не он женился, а его женили. Его женила мать. Несмотря на обычность такого рода женитьбы в русской жизни, брак Петра был не похож на браки предшествовавших царей, его предков, потому что последние, благодаря слагавшимся обстоятельствам своей жизни, выбирали себе жен по собственной воле<sup>1</sup>, и в этом, как нам кажется, лежит первый зародыш последующей судьбы брака Петра, не похожей на судьбу прежних царских браков. Едва ли Петр выбрал бы ту, которую ему дали, если бы его не женили, а он сам женился. Впрочем, первые года его супружества, насколько нам известно,

прошли спокойно; плодами супружеской связи Петра с Евдокией были двое сыновей; из них меньшей, Александр, умер скоро после своего рождения; старший, Алексей, родившийся 18 февраля 1690 года, пережил своего брата себе на горе.

Царица Евдокия Федоровна была простая русская любящая женщина. В ее письмах, где она выражает свою грусть в разлуке со своим "лапушкой", слышится простодушное искреннее чувство.

Историки пытались объяснить, что Евдокия не могла удовлетворить духовным потребностям Петра по своей узкости, закоренелости в предрассудках, приверженности к старине, богомольству, праздности и т.п., что гениальная натура великого преобразователя требовала чего-то иного, высшего, более развитого, нуждалась в такой женщине, которая бы могла его понимать, на что неспособна была дочь Лопухина... Нам кажется, ларчик проще открывается. Петр поступил так же, как поступал обыкновенно русский удал добрый молодец, когда, по выражению песни, зазнобит ему сердце красна девица или "злодеюшка чужа жена" и станет ему "своя жена, полынь горькая трава".

Не чувствуя влечения к Евдокии при выборе ее в жены, Петр сживался с нею и, может быть, сжился бы навсегда, если бы не приглянулась Петру немка, Анна Монс, с которой в Немецкой слободе свел его просветитель Лефортов, до того времени сам находившийся в связи с этой женщиной, а Петр не умел удерживать своих страстей и как самодержавный царь не считал нужным себе отказывать в удовлетворении своих побуждений. Немка ему пришлось по нраву; жена опротивела так же точно, как, отведавши через того же Лефортова иноземщины, невзлюбил он обычаи родной московщины.

Это знакомство с немкой произошло в 1692 году, и с тех пор, по свидетельству иностранцев, Петр стал чуждаться своего семейного очага.

\*Шаутбейнахт.

Кто же и что была эта Монс? Любила ли она Петра? Нашел ли он в ней верное, искреннее, понимающее его сердце? Ничуть не бывало. Это был тип женщины легкого поведения, обладающей наружным лоском, тем кокетством, которое кажется отсутствием всякого кокетства и способно обворожить пылкого человека, но само по себе заключает неспособность любить никого и ничего, кроме суеты и блеска житейской обстановки. Анна Монс не любила Петра и, приобретши уже до знакомства с ним опытность в амурных делах, завела после связь с саксонским министром Кенигсеном\*. Из вынужденных у случайно утонувшего Кенигсена бумаг Петру открылась ее измена; тогда Анна лгала перед царем и заперлась самым пошлым образом, пока не была уличена вещественными признаками обмана. На такую-то женщину променял Петр свою законную жену, царицу Евдокию, мать наследника престола Алексея.

Петр вовсе не был каким-нибудь записным любителем женского естества, переборчивым, непостоянным донжуаном: ему некогда было предаваться этого рода забавам, поглощающим большей частью ум дюжинных людей. Петр привязался к Анне Монс от всей души, привязался так же, как привязался потом к другой немке, возведенной им в сан императрицы, под именем Екатерины I. Понятно, что пленило Петра в немке из Немецкой слободы: то была иноземщина, та же иноземщина, которая побуждала его спить и надеть на подвластную ему Московскую Русь западноевропейскую одежду.

Видно, что царице больно отзывалась эта перемена. В письмах она жаловалась царю, что не видит его; но, вероятно, жаловалась также своему отцу, своим родным, а те изъявляли неудовольствие к поступкам Петра. До Петра доходили эти жалобы. Около четырех лет, однако, Лопухиных не трогали. Петр совершал

свои азовские походы и был занят. Царица оставалась забытою.

Но перед поездкою царя за границу, в марте 1697 года, открылся заговор Соковнина, Циклера и Пушкина. Заговорщиков казнили с разными вычурами.

Вслед за тем отца царицы сослали в Тотьму, а двух его братьев в Саранск и Вязьму. За что последовала эта ссылка — неведомо. Нельзя подозревать, чтоб эти люди могли быть причастными к заговору; да если бы так было, то их постигло бы иное наказание. Несомненно, что в то время много было недовольных между русскими намерением Петра ехать в чужие края; при его пристрастии к иноземщине русские боялись, что царь наводнит иноземцами Русь. Лопухины, родные царицы, были из таких, которым не по сердцу была иноземщина, и это понятно в их положении: плодом любви царя к иноземщине было уже то, что царь предпочел немку своей жене. Царь, не терпевший ни в чем несогласия с собою, отправил в ссылку родных немилой жены и в то время уже помышлял, как бы ему избавиться от ней самой. Ему хотелось сделать это так, чтобы разлука с нею имела вид добровольного с ее стороны согласия.

И вот, будучи за границей, из Амстердама и из Лондона, поручал он боярам, Льву Нарышкину и Стрешневу, уговорить царицу добровольно вступить в монастырь. То же писано было и духовнику царицы. Это не удавалось. "Мы, — писал к царю Стрешнев, — о том говорили прилежно, чтобы учинить в свободе, а она упрямится".

После своего возвращения из-за границы Петр начал разом, и бритвою, и топором палача, разделяться с ненавистною для него стариной. Тогда, призвавши царицу, сказал ей: "Как смела ты послушаться, когда я приказывал неоднократно письмами отойти в монастырь, и кто тебя научил противиться?"

Бедная царица отвечала, что на ее печении был маленький сын, царевич

\*Кенигсесом.



Алексей. Так передает дело современник, царский посол Гвариев, сообщая, что царь в доме почтмейстера Виниуса беседовал с Евдокией несколько часов.

Как шла эта беседа — неизвестно, но, конечно, царю хотелось покончить все дело без шума; но и теперь это не удалось. Царица, очевидно, не соглашалась.

Через три недели после того Евдокию повезли насильно в карете в Суздаль и заключили в Покровском девичьем монастыре. Сначала ее оставили в мирской одежде; носились вести, что ее постригать не станут и будет она пребывать как царица; но чрез несколько времени затем отправлен был в Суздаль стольник Семен Языков, и в келье старицы Мартемьяны Евдокия была насильно пострижена под именем старицы Елены.

Петр был сердит на нее за ее несогласие постричься добровольно и за то осудил ее на жестокое житье: ей не дали ни прислуги, не назначили особой пищи. Она не получала даже того, что давалось царским сестрам, которых обвиняли в злоумышлении со стрельцами. Несчастливая выпрашивала у братней жены прислать ей получше пищи, рыбы, вина, потому что в монастыре все гнилое: "Покаместь жива, пожалуйста, пойте, да кормите, да одевайте нищую", — писала она. Ее не только разлучили с сыном, но и не дозволяли видеться с ним...

Отверженная, заключенная, она через пять лет после того все еще относилась с любовью к царю и жалела, что не видит его и не слышит о нем. В 1705 году писала она боярину Стрешневу: "Долго ли мне так жить, что ево государя не слышу и не вижу, ни сына моего. Уже моему бедствию пятый кот (год), а от него государя милости нет. Пожалуй, Тихон Никитич, побей челом, чтоб мне про ево государево здоровье слышать и сына нашего такожде слышати, пожалуй и о сродниках моих попроси, чтобы мне с ними видеться. Яви ко мне бедной милость свою, побей челом ему государю, чтобы мне пожаловал жить, а я на милость твою

надеюся, учини милостиво, а мне ни чем тебе воздать, так тебе Бог заплатит". Моления были напрасны. В чем же виновата была эта бедная страдальца? В манифесте 5 марта 1718 года, напечатанном и публично прочитанном (впоследствии с другими подобными бумагами напечатанном при Екатерине I), излагались вины бывшей царицы; не скрыта была ее связь с Глебовым, возникшая уже не скоро после ее заточения; конечно, если бы царица в чем-нибудь была виновна до своего пострижения, то здесь не забыли бы этого поставить на вид; но в манифесте сказано только, что царица Евдокия для "некоторых своих противностей и подозрения постриглась", выражение неясное, но, при сопоставлении обстоятельств времени, противность ее состояла в том, что она любила Петра, любила своего сына; связь Петра с немкою огорчала ее, и, надеясь, что муж одумается, отгуляется, как говорится, она не хотела постригаться добровольно, не хотела осудить себя на вечную разлуку и с сыном, и с мужем.

Таким образом, совершено было одно из таких дел, которых не видала Русь за своими царями уже более столетия. Нравственные понятия русских в те времена не могли не возбуждать в народе порицаний поступка Петра. "Что это за царь? Жену в монастырь постриг насильно, а сам с немкою живет!" — говорили русские люди, хотя и попадались за такие речи под страшные пытки "изобретательного зверя" Федора Ромодановского в Преображенском приказе. Через двадцать лет, когда насилие над Евдокией отпрыгнулось новым страшным розыскным делом, несчастный епископ Досифей, преданный истязателям, говорил: "Только я один в сем деле попался, посмотрите и у всех что на сердцах. Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят".

При пострижении царицы сыну ее было уже восемь лет; в такие годы мальчик начинает понимать, что вокруг него делается; впечатления этого возраста трудно изглаживаются в продолжение всей

последующей жизни. Всегда, когда отец с матерью в ссоре, детям приходится делать выбор между отцом и матерью, любить то или другое лицо; любить обоих, когда эти оба не любят друг друга, слишком трудно: гораздо удобнее их обоих не любить; чаще всего так и бывает с детьми в подобных случаях. Но тогда, когда одна сторона насилует другую, когда другая является угнетенною, страдающею, сочувствие детей непременно будет на стороне последней. Иначе невозможно по свойству человеческой природы, скажем более: иначе человек не должен был бы носить звание человека.

После того что случилось между царем Петром и царицею Евдокиєю, сердце царевича Алексея неизбежно должно было склоняться на сторону матери; сын не мог полюбить отца, и по мере того как отец упорно держал несчастную мать в утеснении, в сердце сына укоренялась нелюбовь и отвращение к родителю. Так должно было произойти, так и случилось. Алексей не мог любить отца после того, что отец сделал с его матерью. Естественно, должно было возникнуть в нем и отвращение от того, что было поводом к поступку отца с его матерью или что близко способствовало гонению, которое терпела его мать. Петр отверг Евдокию оттого, что ему понравилась другая женщина, а эта другая понравилась ему по ее иноземным приемам; в Евдокии Петру казались противными ее русские супружеские ласки, русский склад этой женщины. Петр осудил невинную супругу на монастырскую нищету в то самое время, когда объявил гонение русскому платью и русской бороде, русским нравам и обычаям, и естественно было сыну возненавидеть иноземницу за свою мать, и стало ему, в противоположность с иноземницей, дорогим все московско-русское. Петр своим поступком с женою оскорбил православную церковь, потому что она, церковь, одна имела данное от Бога право произносить суд между мужем и женой; и вот Алексея

невольно тянуло к церкви, к ее уставам, к ее обрядам, к ее служителям, ко всему православно-религиозному; и Алексей должен был сделаться святошей. Все, что страдало с его матерью, должно было возбуждать в нем сочувствие; разом с матерью терпел русский народ, разоряемый завоевательными предприятиями Петра; и вот у сына должно было образоваться противное отцовским воинственным влечениям миролюбивое настроение. Алексей не любил ни войны, ни военщины, не пленялся завоеваниями и приобретениями, его идеал был мир и покой. Одним словом, все, что особенно любил отец, должно было сделаться особенно противным сыну, и все, что ненавидел отец, тянуло к себе сыновнее сердце.

В этом-то трагическом положении, в которое поставлен был царевич с ребяческих лет, в этой неизвестности выбора — быть на стороне либо отца, либо матери, затем, в естественном предпочтении угнетенной матери угнетающему отцу, заключается ключ к объяснению того характера, с каким Алексей является в истории. Бывают положения, в которых должен находиться человек, каких бы дарований он ни был и с каким бы темпераментом он ни родился; разница бывает только та, что при таких или других природных свойствах и способностях человек действует различно, но действует всегда в одном и том же направлении. Если бы царевич родился человеком великого ума и громадной воли, он все-таки явился бы в истории противником отца в его приемах и стремлениях, все-таки действовал бы во всем наперекор отцу. Этот царевич, напротив, был беден духовными дарованиями и рано сломился под гнетом печальных обстоятельств. Г-н Погодин (в своей статье "Суд над царевичем") напрасно силился показать, что царевич был не так ничтожен, как о нем составилось понятие; г-н Погодин указывает на следы замечательного ума, видимого в суждениях Алексея; мы, со своей стороны, во всем том, что писал

царевич и что может для нас быть мерою его умственных дарований, не видим ничего, кроме самого дюжинного, повседневного ума, узкой ограниченности и односторонности<sup>2</sup>. Одобрительный отзыв о нем учителя Гюйсена\*, человека уклончивого, вообще имевшего в виду собственную карьеру и потому старавшегося угождать всем и не раздражать никого, не имеет для нас большого авторитета.

До ссылки матери царевич учился у Никифора Вяземского началу грамматики, а после удаления матери поступил под воспитательный надзор немца Нейгебауера\*\*. Этот немец был один из тех единоплеменников, которые, захватив в Россию, думали, что они находятся в сообществе существ низшего разряда и что их, немцев, призвание — очеловечивать эти существа. Он хотел быть чем-то важным в России, дразнил окружающих царевича русских людей и кончил тем, что раздражил самого Петра и должен был уехать за границу. По отъезде Нейгебауера у Петра явилось было намерение послать сына за границу; уже иностранные дворы наперерыв хотели достать эту добычу из видов приготовить для себя будущего союзника. Саксония, Пруссия, Австрия хотели взять русского царевича на воспитание. Но никому он не достался. Петр раздумал отправлять его в чужие края и приставил к нему в России воспитателя, другого иноземца, Гюйсена. Этот наставник хотел дать русскому наследнику легкое, показистое образование и начал с французского языка, намереваясь пройти с царевичем на этом языке руководство к разным наукам с тою целью, чтоб царевич мог в разговорах показать кое-какое знакомство с тем, что входило в круг образованности. Ученые прерывались тем, что Петр, назвавши сына солдатом, брал его к себе на время в походы. В 1705 году Гюйсен был назначен на дипломатическое попри-

ще, и царевич, живя в Преображенской слободе, оставлен был без надлежащего надзора; он продолжал учиться по-немецки, геометрии, фортификации, но по донесениям учителя его, Вяземского, учился слабо. Наблюдать над воспитанием царевича поручено было Меншикову, а Меншиков, живя в Петербурге, совсем не занимался своим питомцем, и некоторые правдоподобно догадывались, что Меншиков с намерением оставлял царевича на произвол самому себе, чтоб потом сделать его в глазах отца неспособным к наследству. Петр тогда уже сошелся с Екатериной, посредством которой Меншиков держался в милости царя и усиливался. Если Алексей из любви к несчастной матери не любил отца, ее гонителя и угнетателя, то и Петр не любил сына, который напоминал ему ненавистную жену, хотя он и признавал его своим наследником, но по нужде, оттого, что судьба по рождению готовила Алексея отцу в преемники на русском престоле в глазах всего мира. Петру нечем было заменить его. Своим суровым, грубым, чуждым отеческой ласки обращением Петр мог внушать сыну только страх и укоренить в нем зарожденную уже с детства не любовь к родителю.

В Москве царевич очутился в кругу людей, осуждавших деяния царя: и поступок с женой, и разорительную для народа шведскую войну, и построение Петербурга, и болезненное пристрастие Петра к морю, и любовь его к иноземцам, и враждебность к русской старине. Таких недовольных было в то время очень много на Руси, и, где бы царевич ни обретался, везде он встречал и слышал бы одно и то же. Петром недовольны были родовитые люди; ненавидело его духовенство. С.М.Соловьев справедливо заметил, что тогда недовольны были Петром не только какие-нибудь раскольники или, вообще, люди, не терпевшие и не допускавшие ровно никаких образовательных улучшений; к недовольным принадлежали и такие люди, которые сознавали

\* Гюйсена.

\*\* Нейгебауэра (Небуэра).

потребность учиться и учить детей своих, люди, пробужденные к умственной жизни киевским просвещением. Они вообще не были врагами образования Руси; но дорога, по которой шел Петр, была для них не по вкусу; в особенности тяжела, невыносима казалась им чрезвычайная подвижность Петра, его напряженная деятельность, которой он требовал от всех.

Прибавим к этому, со своей стороны, что собственно культурная идея не была до такой степени чужда русскому уму, как некоторые думали. Повторять с иностранцами, будто бы русский народ ненавидел образованность и вести его к просвещению можно было только страхом, насилием, или, как выражаются ученые немцы, просвещенным деспотизмом (*aufgeklärte Despotismus*), было бы клеветой на русский народ. Наглядным опровержением этой клеветы может служить то обстоятельство, что киевское просвещение могло же пробудить умственные потребности. Правда, оно породило раскол, но когда мы вникнем в причины упорства со стороны раскольников, то легко согласимся, что упорство это было порождено и развито деспотическими мерами, а не каким-либо прирожденным или закоренелым отвращением русского человека ко всякому умственному движению вперед. Киевское просвещение, конечно, было односторонним, но то была только та односторонность, чрез которую, по неизменным законам человеческого развития, проходило всякое умственно развивающееся общество; по крайней мере, киевское просвещение вносило за собой такие взгляды, которые должны были содействовать дальнейшему движению умственной жизни в России: люди, усвоившие себе это просвещение, считали полезным делом заведение школ, распространение грамотности, посылку молодых людей за границу для воспитания, изучение иностранных языков и введение в общественную и домашнюю жизнь иностранных приемов. Все это

не только не оуждалось безусловно, напротив, многими одобрялось. Если на пути русского общества к образованности являлись действительно важные препятствия, то они истекали главным образом от предрассудков духовенства, поддерживаемых властью; русским прежде запрещали ездить по своей нужде за границу; русских преследовали за ученье, опасаясь ересей. Чтоб Русь образовать, нужно было сделать независимым мышление, свободным сообщение с Европой, дать простор жизни, дозволить каждому устраивать свою судьбу; русским надобно было собственно "дозволять" просвещаться, а не принуждать их к просвещению насилием. Петр отрезывал русским бороды и старинное платье: такие меры удерживали бороды и старинное платье и сделали их принадлежностями мученичества; без этих мер, если бы царь только появился в европейском платье и за ним последовало несколько сановников, этого было бы достаточно; пример их действовал бы на многих, и в короткое время, наверное, треть, если не половина Руси, обрила бы себе бороды и оделась по-европейски; точно так же, если бы русские узнали, что их более не станут пытаться огнем, бить кнутом, сажать в тюрьмы и сбывать по подозрениям в неправоверию, что сам царь посылает молодежь за границу и возвращающихся оттуда ласкает, дает почетные и выгодные места, то все мыслившее бросилось бы учиться, ездить за границу, усвоивать понятия и взгляды, выработанные тогдашнею наукой, а вслед за тем и в России закипела бы умственная жизнь; культурные признаки сами собою входили бы в общественный и домашний быт; верховной власти оставалось не принуждать, не насиловать, а только дозволять, поощрять и показывать всем пример и дорогу. Русский народ упирается, упорствует, увертывается, противодействует, большею частью страдательно, чем деятельно, когда хотят добыть его от него известного направления его жизни путем страха

и наказаний; и, напротив, русский народ пойдет по тому же самому направлению не только охотно, но с увлечением, если власть станет привлекать к нему собственным примером, поощрением, ласкою, убеждениями, не относясь слишком сурово к неизбежным, временным проявлениям нежелания идти по указанному пути и понимая, что человеческая природа требует времени, чтобы переломить в себе привычку к старому. Петр этого не уразумел: его горячая натура не хотела ждать и не терпела никакого противоречия. Для того чтобы ввести в России признаки европейской образованности, нужно было, с одной стороны, более или менее продолжительное время, а с другой — надобно было безбоязненно допустить внутри русского общества борьбу понятий, верований и взглядов, надобно было терпеливо и милостиво сносить противодействия образовательным мерам; зато достигнутое таким путем прочно привилось бы к России, вошло бы в ее плоть и кровь, выработало бы в ней нечто зрелое, своеобразное, самостоятельное, твердое, здоровое. Но для такого образа действий не подготовило Петра ни воспитание, ни Европа, куда он ездил для самообразования; притом Петр и не поставил главной целью своей деятельности духовное просвещение народа. У него была цель — создать государство, которое бы не только не боялось нападений и в состоянии было бы от них отстоять себя, но само стало бы грозным для соседей, заставило бы их если не уважать себя, то опасаться своего материального могущества. Для этой цели нужно было войско и военные припасы, нужен был флот, нужно было море, а для того чтобы приобрести последнее, нужна была война; война же, по своему существу, не может допускать выжидания, а требует немедленной доставки многого такого, что в спокойное время достается продолжительным трудом. Всякая война влечет за собой чрезвычайные издержки, падающие всегда бременем на народную массу.

Шведская война оказалась одной из упорнейших и тяжелых войн; издержки требовались за издержками, их должен был доставлять русский народ, выбиваясь из сил, разоряться, страдать. Петру хотелось, чтоб у него немедленно делалось то, чего он захочет. Это качество особенно является как бы прирожденным в тех государях, которые в детстве вступили на престол, почти не помнили себя ничем, как только государями, не были даже наследниками, не видели в своей стране никого выше себя по праву. Их стремления усиливались, если во времена детства этих государей бывали (а это действительно часто в таких обстоятельствах и случалось) смуты или бунты, незаконные поползновения, тем или другим путем клонившиеся к уничтожению или оскорблению верховного сана. Тогда с их наклонностями делать все непременно по своему соединяется раздражительность, подозрительность, недоверие и заботливость предупредить все, похожее на сопротивление их воле, все, что напоминает им неприятные впечатления детства или отрочества. Такими и были при совершенно различных дарованиях Иван Васильевич Грозный, Людовик XIV, Петр Великий. Петр, в детстве почувствовавший на своей голове вдвойне законно данный ему (и по рождению, и по избранию) венец, перенес тяжкие унижения от мятежников, и они-то воспитали в нем то жестокосердие, с каким он относился ко всему, в чем видел малейшее противоречие своей воле. Петр считал себя одного умнее всех русских людей. Он смотрел на народ, как на ребятишек, которых следует взрослому учителю сечь, чтоб они учились. Такой взгляд был прямо высказан Петром в одном из его указов. Мало казалось того, что все должны были исполнять его приказания: все должны были желать того, что он желает, любить то, что ему нравится; иметь иной вкус, чем у него, — было уже преступление. Сам в высшей степени восприимчивый, переимчивый, деятельный,

богатырски неутомимый, Петр хотел, чтобы все на него походили или старались приблизиться к нему, как к идеалу: все должны были чувствовать, думать, верить, как он прикажет, а средствами к побуждению идти по такому пути были: кнут, пытки, вырывание ноздрей, насилия всякого рода, поборы, доходившие до налогов на гробы, ежегодная высылка солдат в Ливонию, Финляндию, Польшу, Германию, высылки работников, погибавших тысячами от родов, непривычного климата, дурного содержания; насильственные переселения семейств в созданный царем "парадиз", о котором русские люди не говорили иначе, как с искренним желанием, чтоб этот "парадиз" провалился в свое болото; ко всем тягостям, падавшим на народ, прибавлялись еще обдирательства царских чиновников по прежде заведенным порядкам, но вдобавок усиление доношничества, получившего новую организацию в учреждении фискалов, созданных для преследования злоупотреблений и большею частью злоупотреблявших своим званием. Мы не станем отрицать высоты целей Петра, но меры, постоянно употребляемые для этих высоких целей, были ужасны; вся Русь находилась как будто на продолжительной виске, под беспрестанными ударами, все для того, чтобы преобразить ее в могучее европейское государство. Понятно, что при таких мерах недовольство овладевало не только грубыми, тупыми, закоснелыми сторонниками старинного невежества, но и людьми, уважавшими просвещение, готовыми усвоить европейскую культуру и разделявшими вместе с Петром его конечные цели: известно, что люди, служившие ему в числе его сотрудников, как Дмитрий Михайлович Голицын, Борис Петрович Шереметев и многие другие, не разделяли всех его увлечений. Тем более неприязненно смотрели на эти увлечения те, которые не стояли на высоте государственной и общественной деятельности и с которыми сошелся тогда царевич.

Мы не знаем всех окружавших царевича и бывших с ним в соприкосновении; некоторых же знаем только по именам. Известно, что главными из близких к нему лиц в период его проживания в Москве или более в Преображенском были Нарышкины (Василий и Михаил Григорьевичи, Алексей и Иван Ивановичи), Вяземские (учитель Никифор, Сергей, Лев, Петр, Андрей), домоправитель Федор Еварлаков, муж царевичевой кормилицы Колычев, крутицкий владыка Иларион и несколько священников и монахов (духовник, верхоспасский священник, потом протопоп Яков Игнатьев, благовещенский ключарь Алексей, поп Леонтий и др.). Эти люди были друзья и собеседники царевича, вместе с ним молились, вместе веселились, вместе охуждали дела Петра, вместе охали над невзгодами своего времени. (Впоследствии очень близким и наиболее увлекавшим его вместе с собою в погибель был Александр Кикин). В образе жизни царевича рано являются приемы те же, которые видны и в развлечениях Петра, устроившего около себя всепьянственнейший собор и дававшего своим собеседникам разные насмешливые клички. И у царевича приятельская компания называется собором, и его приятелям розданы были клички (отец Корова, отец Иуда, Ад, Жибанда, господин Засыпка, Захлюстка, Молох, Бритый, Грач и проч.). Они хвастались пьянством. "Мы вчера повеселились изрядно, — писал царевич к своему духовнику. — Отец мой духовный Чиж чуть жив отошел до дому, поддержим сыном". В другом письме царевича к тому же духовнику Алексей Нарышкин сделал такую приписку: "Не оставь в молитвах своих меня и писанию, мы здесь zelo в молитвенных подвигах пребываем; я уже третий день почитаю не маливался и главный наш не умножает".

С ранних лет привык царевич таиться от родителя, быть осторожным, опасаться подсмотров и доносов. Его важнейшая тайна, которую он должен был скрывать, —

было чувство к матери. Царевна Наталья, любимая сестра Петра, рожденная от единой с ним матери, донесла брату, что царевич ездил в Суздаль к матери. Петр потребовал сына к себе в Польшу, где сам находился с войском, и излил на него свой гнев. Можно понять, что такое обращение не поселило доверия и расположения сына к родителю. В другой раз сделал царь сыну гневное замечание за что-то, и царевич, чтобы смягчить озлобление родителя, прибегал к ходатайству близкой Петру особы. Но какой особы? Екатерины, заступившей место, принадлежавшее по праву матери Алексея, которая продолжала томиться в заключении. Само собой разумеется, царевич ненавидел в душе соперницу его матери и считал ее своим врагом, в чем после и высказывался; но он должен был притворяться, унижаться пред ней. Екатерина действительно выпросила прощение царевичу; Петру, конечно, было приятно, что сын обращается к ней с почтительными просьбами. Царевич после того должен был писать к Екатерине снова, благодарить за милости и просить на будущее время ее покровительства: "И впредь прошу, — выражал он, — не оставьте меня в каких прилучившихся случаях, в чем надеюсь на вашу милость". Такие события необходимо развивали в царевиче внутреннее огорчение, чувство безвыходной тягости своего положения в мире.

Не одни праздные развлечения наполняли, однако, время царевича. У него были вотчины, которых управлением он должен был заниматься. Отец поверял ему кое-какие государственные дела, требовавшие его отлучки из Москвы не на долгое время. За подписью царевича отправлялись указы, касавшиеся распоряжений по отысканию кроющихся от службы, городских рабов в Москве, военных действий против мятежников. В 1708 году Петр поверил ему набор рекрут в Смоленске; в 1709 году царевич привел отцу пять полков в Сумы. В ис-

полнении этих поручений царевич не заявил себя ничем, что бы нам поясняло его ум и способности, тем более что это были такого рода дела, где и нельзя видеть: он ли сам действовал или другие за него.

Некоторые черты, относящиеся до времени его пребывания в Москве, показывают, что он тогда уже не был добросердечным простаком; напротив, в его характере проглядывали признаки грубой жестокости. В последующее время, припоминая житье его в Москве, духовник его писал ему: "А и в прежде бывших времена и годы, егда присутствующу благородию твоему в Москве, многократно ты меня пугал и всячески озлоблял и в некоем доме и за бороду меня драл... есть и другие от милостиваго наказания и побой изувечны и хричат кровью". Духовник читал царевичу поучения о том, что следует быть милостиву к подчиненным; следовательно, в таких поучениях нуждался царевич. Впоследствии учитель его Вяземский открывал, что царевич драл его за волосы, бил палкой, а, будучи за границей, одного певчего избил до крови. Эти черты поясняют, что такое в глубине своей природы был царевич Алексей Петрович и чего можно было ожидать от него, если бы он был на престолѣ. Заметим, что человек, которого он драл за бороду, его духовник, был лицо самое уважаемое как им самим, так и всем кружком близких к нему людей.

Николай не имел на царевича такого нравственного влияния, как этот человек, и никому не оказывал царевич такого доверия уже потому, что он по своей обязанности был духовным руководителем его совести. Яков был уроженец Владимира, земляк и друг Досифея, находившегося потом в звании ростовского епископа и тогда показавшего себя ревностнейшим другом матери царевича. Яков более двадцати лет был в Москве — сначала дьяконом, потом священником в Верхоспасском дворцовом соборе в Кремле. Умный, сметливый и энергич-

ческий, этот священник увидел возможность внушить царевичу то учение о безусловном подчинении мирского человека духовенству, которым некогда Сильвестр держал в руках несколько лет небоуданного царя Ивана Васильевича и за которое, стараясь утвердить его силу в России, пострадал Никон. Впоследствии в 1714 году царевич, будучи за границей, рассердился на своего духовника за зятя последнего, который подвергся гневу царевича за злоупотребления по управлению его вотчинами; царевич написал духовнику колкое письмо. Духовник ответил ему припоминанием тех событий, которые некогда происходили между ними еще в те времена, когда царевич жил в Преображенском. "Помнишь ли, — писал Яков Игнатьев, — как некогда в Преображенском, в твоей спальне, пред лежащим на столе Евангелием я спрашивал тебя: будешь ли заповеди Божия исполнять и предания апостольския хранить и меня отца твоего духовнаго почитать и за ангела Божия и за апостола имети и за судью дел своих, и хощеши ли меня слушати во всем, и веруеши ли, яко и аз аще и грешен есмь, но такову же имам власть священства от Бога мне недостойному дарованную, что могу вязати и решити, якову власть даровал Христос апостолу Петру и прочим апостолам, глаголя: елице аще свяжеши на земли, будет связан на небеси, и хощеши смирения моего священству и власти во всем повиноватися и покорятися? И на сия вопрошения моя благородие твое пред св. Евангелием сице ответствовал: заповеди Божия и предания апостольския и святых его вся с радостию хошу творити и хранити и тебе отца моего духовнаго буду почитать и за ангела Божия и за апостола Христова и за судью дел своих чтити и священства твоего власти слушати и покорятися во всем должен". Ловкий поп был столько же добрым собеседником при испитии, сколько ревнителем церковной власти. На это указывают письма царевича из-за границы, где

встречаются такие выражения — "истинно подпиваем и вас сердечных любителей напоминаем" или "и на сие писание излитие вина было, дабы оно вас при прияти сего же прияти принудило, дабы вам благополучно жити и сильно пити". Веселый нрав, неотставание от кутежей, вероятно, помогали этому священнику поддерживать свое влияние на царевича и его кружок. Вообще, над святошами имеют наибольшее влияние те духовные, которые хотя и проповедают строгий аскетизм, но позволяют себе вместе с своими духовными чадами некоторые выходы житейского либерализма, вроде, например, дружеского винопития. Иезуиты очень хорошо понимали эту черту, истекающую из свойств человеческой природы, и потому как с своей нравственной теории, так и в обращении со своими учениками отличались, с одной стороны, строгостью благочестивой практики, а с другой стороны, снисходительностью к разным приятностям земной жизни. Наш отец Яков умел, как видно, приковать к себе царевича, несмотря на грубые выходы последнего. Царевич, хотя под горячий час и давал волю своим рукам до того, что посягал на честную браду своего "радетеля", а все-таки был суеверно привязан к нему более, чем к кому-нибудь. Разлучившись с ним поневоле, по случаю своей поездки за границу, совершенной по приказанию Петра, Алексей Петрович в 1710 году писал к Якову такие задушевные слова: "Не имею во всем Российском государстве такого друга и скорби о разлучении кроме вас, Бог свидетель... аще бы вам переселение от здешних к будущему случилось, то уже мне весьма в Российском государстве не желательно возвращение, паче же мне и оскорбление что вас не видети, где преже сего видел..." Главной нравственной связью царевича с этим лицом было то, что царевич открывал ему как духовнику свои заветные чувства к матери и нелюбовь к отцу. Кажется, священник служил отчасти посредником в сношениях между



ним и матерью, насколько позволяла трусость царевича. По крайней мере, впоследствии царевич при допросе своем объяснил, что отец Яков давал ему, лет тому назад одиннадцать или двенадцать (следовательно, в 1707 или 1706 годах), письмо от матери, в котором она писала о здоровье и просила у сына милостыни. Царевич прибавлял, что он ему тогда же велел вперед не возить таких писем, и Яков более не доставлял их; но мы, однако, вправе не доверять слишком точной справедливости известий, сообщенных под страхом мук. Царевич (как показал также на допросе) своему духовнику сознался в том, что желает родительской смерти, а Яков отвечал ему: "Бог тебя простит; и мы все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много". Яков шевелил самолюбие царевича, сообщая ему, что в народе хвалят царевича, пьют за его здоровье, называют надеждой российской. На посредничество Якова в сношениях царевича с матерью указывает и то, что по отъезде с матерью за границу царевич, заботясь о безопасности своего духовного отца, убеждал его не ездить во Владимир: "Понеже смотрельщиков за вами много, чтобы из сей твоей поездки и мне не случилось какое зло".

Но если тягостно-зависимое положение царевича под гнетом сурового отца, вмнявшего сыну в тяжкое преступление сношение с родной матерью, сближало царевича с духовными и подчиняло их влиянию, то из того никак не следует делать выводов, что учение о безусловном подчинении мирского человека церкви в лице духовенства, внедряемое в душу царевича отцом Яковым, осталось бы в этой душе непоколебимым и тогда, когда бы обстоятельства царевича изменились и особенно когда бы он стал государем. Чрез несколько лет, именно в 1714—1715 годах, когда долгая разлука ослабила силу прежних впечатлений, царевич поставил себя к своему бывшему духовнику в такие отношения, что духовник принужден был писать к нему

вот какие строки: "Имеешь ли ты не за ангела Божия, не за апостола Христова, не за судию дел твоих, но забыв свое обещание, сам меня судиши, называешь ли ты мое ныне ко мне писание любопристрастно, лживца; неправедно, чужим грехам потакателя и прорицаешь мне от золотых решеток, что вверху у Спаса, на низ падение и яко Илии жерца хребта сокрушение". Из этих строк ясно, что если бы царевичу Алексею судьба дала взойти на русский престол, то он постарался бы освободиться и от отца Якова, и от всяких покушений на безусловные подчинения его царской воли церковной власти, подобно тому, как освободились цари московские: Иван от Сильвестра, а Алексей Михайлович от Никона.

Кроме отца Якова, на царевича Алексея должна была иметь значительное влияние тетка его, царевна Марья Алексеевна, у которой оставалась общая дочерям Марья Ильинишны давняя вражда к сыну Натальи Кирилловны.

В этом-то кругу царевич, настроенный против отца естественным влечением к страдальце матери, воспитал в себе и укрепил враждебное чувство как к особе родителя, так и к его преобразовательным и завоевательным планам, которыми вообще недоволен был тогдашний народ русский.

В 1709 году, осенью, отец потребовал царевича к себе и отправил за границу вместе с сыном канцлера Головина, Александром, и князем Юрием Трубецким. Для царевича с этих пор наступил другой период жизни. Неприветливо ему, как глубоко русскому человеку, показалось на чужой стороне, в особенности когда он увидел себя удаленным от привычных и любимых бесед с духовным чином, бесед о вере, о церковных делах, которые были так по сердцу русским людям, и, чувствуя в этом потребность, он просил духовника прислать к нему переданного русского священника.

По воле отца, царевич отправился в Дрезден, где должен был учиться гео-

метрии и фортификации. Путь его лежал через Польшу, и там он пробыл несколько месяцев. (В Кракове мы его застаем 19 декабря 1709, а в Варшаве — в марте 1710.) Царь, кроме учения, определил еще и женить сына непременно на иностранке; на русской царь ни за что не дозволял ему жениться. Петр предоставлял ему свободу выбрать из иностранок себе жену по сердцу, но то была такая же свобода, как та, которую Петр предоставлял жене добровольно постричься. Устроено было в Шланкенберге, близ Карлсбада\*, свидание царевича с принцессою Бланкенбургскою, внучкою\*\* Брауншвейг-Вольфенбительского герцога Антона-Ульриха, Шарлоттою, родною сестрой супруги императора Карла VI. Мысль женить на ней сына зародилась у Петра еще ранее; 19 апреля 1711 года был подписан с обеих сторон брачный трактат. Придали этому вид, будто царевич избрал себе супругу добровольно; сам царевич писал к своему духовнику, что его давно уже сватали на той принцессе, "однакож ему от батюшки не весьма было открыто", но когда он после того, как увидел ее, получил вопрос от родителя, хочет ли он вступить с нею в супружество, то, зная, что ему на русской жениться не дозволят, написал батюшке, "что когда его воля есть, чтоб мне быть на иноземке женою, то я его волю согласую, чтоб меня женили на вышеписанной княжне, которую я уже увидел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ея здесь мне не сыскать". Эти одни строки показывают, какова была добрая воля, предоставленная царевичу в выборе жены. Он согласился жениться только оттого, что уже объявлена была воля царя, чтоб ему жениться на иноземке; царевич, кроме того, знал уже царское желание, чтоб он женился именно на этой, хотя ему "от батюшки и не весьма то было открыто"; понятно, что не для чего было ему поль-

зоваться даруемым дозволением жениться на какой угодно; его могли заставить жениться на Шарлотте и после заявленного им нежелания, наконец, его могли женить на другой, но хуже Шарлотты — эту, по крайней мере, он видел, и она ему показалась "человек добр".

Что царевича женили тогда поневоле, всего лучше показывает отзыв деда невесты, герцога Антона-Ульриха: "Народ русский никак не хочет того супружества, — писал он, — видя, что не будет более входить в кровный союз с своим государем. Люди, имеющие влияние у принца, употребляют религиозныя внушения, чтоб заставить его порвать дело, или, по крайней мере, не допускать до заключения брака, протягивая время; они поддерживают в принце сильное отвращение ко всем нововведениям и внушают ему ненависть к иностранцам, которые, по их мнению, хотят владеть его высочеством посредством этого брака. Принц начинает ласково обходиться с госпожою Фюрстенберг и с принцессою Вейсенфельдскою не с тем, чтобы вступить с ними в обязательство, но только делая вид для царя отца своего и употребляя последний способ к отсрочке: он просит у отца позволения посмотреть еще других принцесс, в надежде, что между тем представится случай уехать в Москву и тогда он уговорит отца, чтоб позволил ему взять жену из своего народа".

Таким образом, немецкая родня невесты Алексея очень хорошо знала, что его женят насильно, что Алексей как русский человек, верный национальным предубеждениям и поддерживаемый соотечественниками, отказывается от брака с немкою. Однако брак этот был совершен в Торгау 14 октября 1711 года по воле царя и в его присутствии.

Православную благочестивую душу царевича сильно беспокоило то, что жена его лютеранка и ему не представлялась возможность понудить ее к принятию православной веры.

В особенности совестно было ему

\* Карлсбада.

\*\* Внучкою.

пред духовником своим; в письме к нему царевич утешал и себя, и духовника надеждою, что, быть может, супруга со временем примет православие, когда приедет в русский край и сама все расмотрит.

Напрасна была такого рода надежда. Шарлотта осталась немкою до мозга костей, а царевич, со своей стороны, по замечанию императорского посла в России Плейера, "не вывез из Германии немецкого чувства и нрава".

Брак этот не был счастлив. После брачных пиршеств Петр послал царевича для собрания провианта в Польшу; там молодая чета прожила вместе с полгода, нуждаясь в деньгах, а потом, в апреле 1712 года, для них настала довольно продолжительная разлука. Петр отправил сына в Померанию для военных действий; царевич оставил жену в Эльбинге. В октябре 1712 года Петр велел ей ехать в Петербург. Кронпринцесса пришла в ужас. "Мое положение, — писала она родителям, — гораздо печальнее и ужаснее, чем может представить чье-либо воображение. Я замужем за человеком, который меня не любил и теперь любит еще менее, чем когда-либо... царь ко мне милостив; его жена под рукой вредит мне всевозможным образом, ибо она ненавидит меня столько же, сколько мне приходится ее опасаться, т.е. более, чем можно себе вообразить". О русском народе, среди которого ей предстояло жить, она составила себе самое невыгодное мнение; внушали ей омерзение и русские понятия, и русское богослужение, и русская нечистоплотность, и русские нравы. "Не говорю уже о том, — писала она, — что лютеране в их глазах не много лучше самого дьявола — они столько их ненавидят и считают себя оскверненными их прикосновением; у нас полагают, что русские искренны и верны, но я могу уверить, что они лицемерны и вероломны..." К такому взгляду на круг, в который бросила судьба Шарлотту, присоединилось еще то обстоятельство, что слу-

жившие при ее дворе распустили слухи о двусмысленных отношениях кронпринцессы к одному молодому придворному (Плейницу), и эти слухи внушали подозрения даже родным Шарлотты. Все это было причиною, что, вместо поездки в Петербург, она под предлогом неимения денег уехала к отцу. Петр сердился. Не ранее как после происшедшего уже в феврале 1713 года свидания с Петром Шарлотта отправилась в Петербург, а свиделась с супругом только в августе: до этого времени царевич осужден был на неприятный для него поход вместе с отцом в Финляндию.

Ко времени прибытия царевича в Петербург относится событие, чрезвычайно важное для уразумения личности как царевича, так и его родителя. Петр хотел прозкзаменовывать царевича, чтоб узнать, до какой степени он успел в геометрии и фортификации, и велел показать себе чертежи, сделанные царевичем.

Чертежи показать было можно, потому что можно было и чужие чертежи показать за свои, но тут на царевича напал страх: а что если царь велит при себе чертить? Царевич выстрелил себе из пистолета в ладонь правой руки, но пуля попала не в руку, а в стену; царевичу только опалило руку. Отец увидал обожженную руку и спросил: что это такое? Царевич как-то оттолгался. "В этом поступке, — замечает С.М.Соловьев, — виден весь человек, напоминающий собою тех русских мужиков, которые увечат себя, чтоб не попасть в солдаты". Соглашаемся с замечанием достопочтенного историка, но прибавим к этому, с нашей стороны, что в этом поступке виден и отец, как в поступках русских мужиков, калечивших себя из-за того, чтобы не попасть в солдаты, видно также, что такое была солдатчина. Петр сам объясняет нам тогдашнее положение сына пред царственным отцом, когда в письме своем (врученном царевичу по смерти жены последнему) сознается, что он часто бранивал сына, да не только бранивал, но и бивал,

а потом долгое время не говорил с ним. Побои — вещь нелегкая и неприятная; они легко могут сбить с толку и заставить делать отчаянные глупости и природу более богатую умственными дарованиями, чем была природа царевича Алексея. По возвращении из финляндского похода Петр посылал царевича для наблюдения над постройкою судов в Ладогу, и с тех пор не видно, чтоб он поручал ему что-нибудь. С этих пор отец, как говорится, махнул рукою на сына и даже не хотел с ним говорить. Царевич жил в Петербурге с женою. Принцесса имела свой двор, окружена была исключительно немцами; между нею и Русью не образовалось ни малейшей связи. При ней постоянно была ее подруга, Юлия Луиза фон Остфрисланд, особа, вооружавшая принцессу и против русских, и против мужа. Невыносимыми казались для немок грубые приемы жизни и обращения. Жизнь Шарлотты постоянно отравлялась разными огорчениями и лишениями. Деньги, которые следовало получать сообразно брачному контракту, выдавались ей неаккуратно и с затруднениями, а пожалованные ей имения в числе тысячи пятисот душ приносили мало дохода; крестьяне этих имений, как и вообще весь русский народ в те времена, были разорены тяжелыми казенными поборами и повинностями, так что приходилось их самих кормить и спасать от голода; принцесса постоянно нуждалась, не могла правильно платить своей немецкой прислуге и постоянно забирала в долг у купцов. С другой стороны, ей хотелось поправить расстроенные обстоятельства своих родителей, и она уступила им свое приданое в 20 000 р., сперва испросив на то согласие мужа, но потом, когда царевичу приходилось подписаться в получении этой суммы, которую, как уступленную матери кронпринцессы, получать на самом деле не следовало, царевич заупрямился, отрекался от своего обещания, наговорил жене колкостей и нанес ей глубокое огорчение. Кроме того,

кронпринцесса поссорилась с сестрою царя, царвеною Натальей, по поводу дома, занятого людьми кронпринцессы, из которого выгнал этих людей служивший у царевны хозяин дома Гедеонов. Кронпринцесса просила мужа заступиться за нее, а царевич, вероятно по трусости, боявшийся раздражать любимую его отцом тетку, не хотел вмешиваться в это дело: несогласие между супругами по этим поводам дошло до того, что царевич стал советовать ей уехать от него в Германию. "Если б я не была беременна, — писала Шарлотта своей матери, — то уехала бы в Германию и с удовольствием согласилась бы там питаться только хлебом и водою. Молю Бога, чтоб Он наставил меня своим духом, иначе отчаяние заставит меня совершить что-нибудь ужасное..." В письмах своих к сестре, императрице германской, Шарлотта, однако, скрывала свое горе и уверяла, что с нею обращаются хорошо, а впоследствии и свекор, и муж заявляли обвинения друг против друга в оскорблении принцессы. Петр после ее смерти объявил публично, что сын его дурно обращался с женою, а сын перед императором и его супругою объявлял, что отец обращается с женою, как со служанкою. Царевич, убегая сообщества немиллой жены, по-прежнему проводил время со своими русскими приятелями, и особенно любил общество духовных, беседовал с ними о религиозных предметах, о разных видениях, которым от души верил, а также пьянствовал с ними, быть может, с горью, как русский человек. При строгом надзоре над ним и при своей трусости царевич не мог ни видаться с матерью, ни иметь с нею частых сношений. Впоследствии он признавался только в том, что во время пребывания в Петербурге сестра жены учителя его Вяземского, Марья Соловцова, передала ему от матери без всякого письма молитвенник, книжку, две чашечки, чем водку пьют, четки и платок. И это уже было преступление, за которое недоброволь бы Соловцовой,

если бы узнал об этом Петр. Потом царевич посылал матери два раза по несколько сот рублей через царевну Марью Алексеевну. В минуты откровенности, вызываемой излишним винопитием, царевич высказывал свои задушевные чувства и желания (как сообщил о нем камердинер его и как он сам подтвердил справедливость слов камердинера). "Вот, — говорил он, — чертовку мне жену навязали! Как к ней приду, все сердитует, не хочет со мной говорить! Все этот Головкин с детьми! Разве умру, то ему не заплачу и сыну его Александру: голове его быть на коле, и Трубецкому... они к батюшке писали, чтоб на ней мне жениться". Не только с этими лицами, содействовавшими, как видно, его браку с Шарлоттой, но и с другими, которых он считал своими недругами, собирался разделаться со временем царевич; на кого он только злился, того в пьяном виде грозил со временем посадить на колья. "Для чего, — замечали ему, — ты так говоришь? Подслушают". "Я плюю на всех, — говорил пьяный царевич, — была бы мне чернь здорова; когда время будет без батюшки, я шелну архиереям, архиереи священникам, священники прихожанам, — так они и не хотя меня властителем учинят!" Отрезвившись, царевич, чтоб поправить свою откровенность, старался снять со своих слов характер истины. "Кто пьян не живет? — говорил он. — У пьяного всегда много лишних слов". Но что у трезвого на уме, то у пьяного на языке — гласит справедливая русская пословица. Слова, произнесенные этим чисто русским человеком в пьяном виде, без сомнения, облеклись бы в дело, да еще, вероятно, и в преувеличенном виде, если бы достиг престола этот русский человек, который еще в юности драл за бороду своего уважаемого духовного наставника и колотил подчиненных до того, что они харкали кровью. Петербург был для него ненавистен, и он утешался надеждою, что его отнимут у России. Когда его звали на какой-нибудь парадный обед

у государя или у князя Меншикова или на спуск корабля, он говаривал: "Лучше бы мне на каторге быть или в лихорадке лежать, чем туда идти!"

Тяжелое нравственное состояние надломило здоровье царевича. В 1714 году царевича отпустили в Карлсбад для лечения. Ему так стало тяжело в России, что мысль о необходимости возвращения заранее уже томил его. Был у него в это время близким человеком Александр Кикин; прежде любимец Петра, Кикин навлек на себя опалу государя и хотя был прощен, но уже не вошел в прежнюю доверенность; он сблизился с царевичем. "Царевич, — говорил он ему, — пробудь за границею подолее; хоть и вылечишься, так отцу пиши, что надобно тебе еще лечиться; поедешь в Голландию, а там, после вешняго курса, в Италию, и так отлучение свое можешь продолжать года на два или на три".

Царевич, оставив в Петербурге беременную супругу, уехал в Германию, лечился в Карлсбаде, занимался там чтением церковной истории Барония и делал из ней выписки, любопытные потому, что показывают, какие вопросы занимали этого человека. Все это касалось обрядов, церковной дисциплины, спорных пунктов между восточной и западной церковью; при этом царевич делал собственные замечания в пользу восточной церкви, и особенно останавливался на чудесах: одним чудесам оказывал он совершенное доверие, некоторые, исключительно римско-католического изобретения, отвергал, а о некоторых отзывался с наивным сожалением, склоняясь, однако, более к признанию их исторической справедливости, чем к отрицанию (напр., "грады Сирии в тресении земли на шесть миль перенеслись с людьми и ограждением: будет правда, то чудо воистину!") Такие заметки, делавшие бы честь дедушке Алексею, тишайшему Алексею Михайловичу, шли вразрез с тем, что могло занимать отца Алексея, и не только последнего, но и вообще передовых людей

его эпохи. Из оставшейся после царевича приходо-расходной книги видно, что он покупал себе книги, но также большею частью такие, которые относились к религии или церковной истории, напр., "богемский мартирологиум; животы святых Рибоденъера; животы святых немецких; Томас Акемпиз, о чудесах Божиих; Бернарда об истинной правде, Дрекселия о вечности; книга манны небесной..." Исключения составляли так называемые "смешные книги, а имя им Ларим, Лаврум, Ларисимум"; к этому разряду следует отнести "Колокольчик, О рождении жен, Фабелькопф, Езоповы басни...", значащиеся по приходо-расходной книге царевича. Такие забавные книги и прежде составляли развлечение русских грамотеев, устававших от серьезного чтения, каким считалось преимущественно чтение религиозных и церковно-исторических книг.

Во время пребывания царевича за границею, царь показал к своей беременной невестке такие образчики обращения, которые несколько подтверждают жалобы Алексея насчет дурных отношений его отца к его жене. Когда Шарлотте приближалось время родить, Петр приставил к ней посторонних лиц женского пола; кронпринцесса этим очень оскорбилась. Поводом к такому поступку Петр выставил то, что "отлучение супруга ее принуждает его к этому, дабы предварить лаятельство необузданных языков". Это остается непонятым. Нельзя предположить, чтобы Петр поступал так потому, что возникали какие-нибудь подозрения насчет неверности кронпринцессы своему супругу; в таком случае принятые меры не имели смысла; скорее, можно подозревать, что Петр боялся, чтоб не подменили ребенка и вместо дочери не подставили сына. Шарлотта родила дочь; Петр стал с нею очень ласков.

Алексей на этот раз не исполнил совета Кикина. Из Карлсбада, находясь

в раздумье, он писал к Кикину, спрашивал еще раз его совета. Кикин боялся писать ему прямо, советовал покоряться отцу, во всем его спрашивать и только прибавил: "Ты своего дела не забывай". Кикин надеялся, что царевич поймет смысл того выражения, но царевич не понял и воротился в Петербург. Будучи в отечестве, он тосковал и, выпивши, говорил ближним: "Бьтъ мне пострижену, коли не при отце, так после него постригут меня, как Василия Шуйскаго, и куда-нибудь в полон отдадут. Мое житье плохое!.."

"Что это значит, чтоб я дела своего не забывал?" — спрашивал царевич Кикина, напоминая о письме, посланном последним к царевичу за границу. "Можно было бы догадаться самому, — сказал Кикин. — Напрасно ты не повидался ни с кем от французского двора, король человек великодушный, он королей под своей протекцией держит, и тебя-де ему не великое дело продержать".

Вслед за тем кронпринцесса Шарлотта стала снова беременною, но и царица Екатерина, жена Петра, была также беременна. Октября 12-го родила кронпринцесса сына Петра, а через десять дней скончалась.

Императорский посол Плейер, бывший тогда в Петербурге и близко знавший обстоятельства того времени, положительно сообщает, что смерти Шарлотты способствовали большие огорчения, которые она переносила в России.

Еще до своего разрешения от бремени, она предсказывала свой конец, а после разрешения, которое совершилось довольно легко, с досадой слушала поздравления и желания здоровья, говорила, что лучше было бы, если бы вместо этих желаний молились Богу о кончине ее; она узнала, что царице досадно, зачем у жены наследника родился на свет сын, царица хочет ее тайно преследовать; и это повергало Шарлотту в отчаяние. Она нарочно требовала себе из пищи и питья того, что запрещалось врачами, называла

докторов, пользовавшихся ее, палачами, говорила, что они своими лекарствами только мучат ее, так как она хочет умереть. Правда, кронпринцесса пред смертью писала к царю письмо, исполненное благодарности, а своему гофмаршалу Левенвольду поручила донести ее родным, что она, пребывая в России, всегда была довольна, что со стороны государя не только все было исполнено по брачному контракту, но еще и сверх того оказаны были ей различные милости; но такие предсмертные заявления женщины благочестивой, помнившей евангельскую заповедь о прощении оскорблений, и притом матери, боявшейся за судьбу детей своих, не уничтожают исторической силы донесений Плейера, подтверждаемых и словами царевича, и письмами самой кронпринцессы к родителям, и, наконец, соображениями о тогдашних обстоятельствах.

Кронпринцессу похоронили в Петропавловском соборе чрез шесть дней после ее смерти, 27 апреля\*: По возвращении в дом царевича, где должно было происходить поминовение по усопшей, царь вручил царевичу публично письмо.

Письмо это было подписано 11 октября из Шлиссельбурга, следовательно, за 16 дней до его отдачи, накануне рождения у царевича сына. В этом письме царь выставил на вид неспособность царевича к престолу, вспоминал, что он его уже бранил, и бил, и несколько лет не говорил с ним, но все напрасно. Царь грозил лишить сына наследства, если он неліцемерно не исправится. "Не мни себе, — говорилось в конце письма, — что один ты у меня сын и что я сие только в утрастку пишу: во истину (Богу извольшу) исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя непотребнаго пожалеть? Лучше будь чужой добрый, неже свой непотребный".

Главным недостатком царевича, де-

лавшим его в глазах отца неспособным к правлению государством, было нерасположение Алексея к военным занятиям: "Паче же всего о воинском деле ниже слышать хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли, и которых не знали на свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законных причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить..." Петр приводит, с одной стороны, пример греческой монархии, которая, по его мнению, пропала от того, что греки "оружие оставили и, единым миролюбием побеждены и желая жить в покое, всегда неприятелю уступали", а с другой — достойный подражания, по его мнению, пример Людовика XIV. "Думаешь, что многие не ходят сами на войну, а дела правятся. Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король французский, который не много на войне сам бывал, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал в войне; что его войну театром и школою света называли!..."

Здесь-то высказал Петр вполне постановку военного дела и внешней обороны государства на первый план во всей своей преобразовательной государственной деятельности, определившую на грядущие времена характер русской истории, двинутой на новую колею Петровской эпохой. Тот же взгляд проявился у Петра и при торжестве по поводу Ништадтского мира, когда поднесли ему от сената новые титулы "Императора, Петра Великого и Отца Отечества". Он сказал: "Должны всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии греческой"<sup>3</sup>.

Что значило то обстоятельство, что Петр дал сыну 27 октября письмо, написанное, по-видимому, за шестнадцать дней до отдачи этого письма в те руки, в которые было назначено отдать его? Историки наши долго не задавали этого вопроса. Первый, сколько нам известно, г-н Погодин задал его для исторической

\*27 октября.

науки и попытался разрешить довольно удачно (в статье "Суд над царевичем" — Рус. Беседа. 1860 г. Кн. 12). Письмо подписано задним числом. Петр давно уже подумывал отрешить сына от престола. Ему желательно было бы вместо нелюбимого сына Евдокии передать престол детям Екатерины. Пока не было детей мужеского пола ни у Екатерины, ни у Алексея, Петр медлил. Но у Алексея родился сын. Из свидетельства современника Плейера видно, что Екатерине настолько причиняло досаду это событие, что ее досаду могли заметить. Неприятно было это и Петру, слишком привязанному к Екатерине. Пока кронпринцесса была жива, и притом больна, Петр не решался бросить свои громы на царевича — это было бы чересчур жестоко и бесчеловечно по отношению к матери, так как смысл данного царевичу письма явно показал бы ей, что ее новорожденный сын лишается своего права. Но кронпринцесса умерла, тогда Петр составил или велел составить это письмо и вручил царевичу. Нужно было соблюсти "анштальт", как говорилось в то время. Для того-то Петр подписал свое письмо задним числом, до рождения внука, иначе бы сразу показалось, что царь осердился на сына, в сущности, за то, что у этого сына родился наследник. С другой стороны, не надобно было медлить: Екатерина не сегодня-завтра готовилась родить; она могла родить сына: тогда опять дело бы имело такой вид, что Петр поражает своего сына от нелюбимой жены только потому, что у него родился сын от любимой, и тогда бы он не мог выразиться в своем письме: "...не думай, что ты один у меня сын"; неуместно было бы сказать и в конце письма: "Лучше будь чужой добрый, чем своей непотребный". Теперь анштальт был соблюден, хотя и шит белыми нитками. Письмо подано было царевичу тогда, когда у царевича был уже сын. Если бы Петр не имел намерения лишить внука престола, зачем же было давать сыну такое письмо, которое будто бы

написано до рождения внука? Тогда можно было бы прежнее письмо переписать и изменить сообразно текущим событиям. Вот это обстоятельство, по нашему мнению, всего более лишает нас возможности объяснить подачу письма иным способом, как ее объяснил г-н Погодин.

Недовольство Петра появлением на свет мужеской отрасли своего сына совпадает и с теми предосторожностями, каким подвергалась Шарлотта при первых своих родах. Тогда Шарлотта родила дочь, и Петр успокоился; теперь она родила сына, и Петру было это не по сердцу. Екатерина вооружала его против Алексея. Приближенные Петра также действовали на него. Вероятно, слова, произносимые царевичем в пьяном виде, не оставались неизвестными; люди, близкие к Петру, а Меншиков в особенности, должны были помышлять о целости своих голов.

На другой день после отдачи письма царевичу Екатерина родила сына Петра. Говорили после, что царевич, узнав об этом, сильно запечалился; и было от чего, особенно после полученного им накануне отцовского письма! Царевич прежде всего обратился к своим близким друзьям — Кикину и Вяземскому.

"Напрасно не отъехал, — сказал Кикин, припомнивши царевичу свой прежний совет, — да уж взять того негде! Теперь тебе покой будет, когда от всего отстанешь, лишь бы только так сделали!"

"Волен Бог да корона (т.е. носящий корону), — сказал Вяземский, — лишь бы покой был".

Царевич обратился после того к людям сильным, близким к отцу, адмиралу Апраксину и к князю Василию Владимировичу Долгорукову. Он сознавался в своей несоборности к правлению, просил уговорить царя отпустить его в деревню на житье. Царевич готовился послать царю письменный ответ на его письмо. При этом князь Василий Владимирович Долгорукий сказал такие двусмысленные слова, совершенно в духе



старомосковского остроумия, выработанного долговременным страхом под произволом властей:

“Давай писем хоть тысячу, еще, когда-то будет! Старая поговорка: Улита едет, коли-то будет; это не запись с неустойкою, как мы преж сего меж себя давали”.

Хитрый боярин дал понять, что, по его соображениям, как ни вывертывайся царевич, а участь его решена.

Царевич через три дня после получения отцовского письма послал царю ответ: он сознавался, что “памяти весьма лишен и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и непотребен стал к толикаго народа правлению, где требует человека не такого гнилаго как он”. Царевич отрекался от наследия, указывая на то, что у него “слава Богу брат есть, царевич Петр, которому дай Боже здравие”, призывал в свидетели Бога на душу свою в том, что не претендует и претендовать не будет на корону.

Письмо было написано в угоду Петра; видна подделка под его образ мыслей, его взгляды и способы выражения. Царевич мог, по-видимому, быть покоем: все им сделано!

Он спрашивал у Василия Владимировича Долгорукова, приехавшего к нему царским именем, как принял государь его ответ?

“Чаю, лишит наследства и, кажется, доволен”, — сказал Долгорукий, но вместе с тем прибавил с прежним своим старомосковским остроумием: — Я тебя у отца с плахи снял. Теперь ты радуйся, дела тебе ни до чего не будет!”

Петр вслед за тем заболел. Говорили, что он заболел опасно, исповедовался, причащался. Александр Кикин сказал по этому поводу царевичу: “Отец твой не болен тяжко; он исповедается и причащается нарочно, являя людям, что он гораздо болен, а все притвор; а что причащается — у него закон на свою стать”.

Проверить справедливость догадки

Кикина мы не в состоянии, но замечательно, во всяком случае, какой взгляд составил о Петре между людьми, знавшими его.

Петр выздоровел. 19 января 1716 года царевич получил от отца новое письмо. Царь гневался на сына, зачем он в своем ответе к отцу писал только о слабости телесной, а не отвечал насчет своей негодности... Это была со стороны Петра придирка: царевич в своем письме положительно признал себя лишенным “памяти и сил умных”. Но причины, которые не позволили Петру удовольствоваться простым отречением от наследства, выражены в новом письме совершенно здраво и прямо: “О наследстве воспоминаешь и кладешь на мою волю то, что всегда и без того у меня... что же приносишь клятву, тому верить невозможно для вышеписаннаго жестокосердья. К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Також хотяб и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большая борода, которая, ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен зело”.

Наконец отец дал ему на выбор что-нибудь одно: “Или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах... дай немедленно ответ, или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобою как с злодеем поступлю”.

Царевич стал советовать со своими друзьями, что теперь ему делать?

“Постригайся, царевич, — сказал Кикин, — ведь клобук не прибит к голове гвоздем: можно его и снять... а впредь что будет, кто ведает”. Эту остроту говорил Кикин царевичу и еще раньше того времени.

“Когда иной дороги нет, — сказал царевичу Никифор Вяземский, — то иди в монастырь; да поши по отца духовнаго и скажи ему, что ты принужден идти в монастырь, чтоб он ведал; он может и архиерею рязанскому (Стефану Яворско-

му) сказать, чтоб ведали, что ты ни за какую вину пошел в монастырь”.

Друзья, значит, советовали ему идти в монастырь, но с тем, чтобы иметь возможность из него выйти, когда придут новые времена.

Царевич отписал царю, коротко выразивши свое решение в таких словах: ”Желаю монашеского чина и прошу о сем милостиваго позволения”.

Вслед за тем он писал своему прежнему московскому духовнику ”радетелю” Якову, что по принуждению идет в монастырь, и стал распоряжаться своим имуществом. Тогда у него была любовница, бывшая крепостная девушка Вяземского, Евфросинья Федорова. Манифест Петра, обвиняющий царевича, говорит, что еще при жизни Шарлотты царевич сошелся с нею. Это и вероятно, так как со времени смерти Шарлотты прошло только около трех месяцев, а уж царевич показывал к этой девушке такую привязанность, которая указывала на более или менее продолжительную связь его с нею; собираясь в монастырь, он более всего заботился о ее судьбе и поручил ей отдать письма Якову Игнатьевичу и брату Александра Никитина, Ивану; в письмах просил обеспечить ее деньгами.

Но Петр также понимал, что ”клубок не гвоздем к голове прибит”. Не продолжая переписки, Петр чрез неделю приехал к сыну, когда сын был болен. Царевич на словах повторил отцу, что желает постричься.

”Это молодому человеку не легко, — сказал Петр, — одумайся, не спеша. Подожди полгода”.

Петр уехал за границу, приказавши царевичу обдумать свое положение, и, обдумавши, дать отцу окончательное решение.

Все обстоятельства этого дела до сих пор показывают, что царь был в каком-то колебании, вероятно, возбуждаемый против царевича влиянием близких лиц и в то же время удерживаемый от каких-нибудь решительных жестоких мер

и отеческим чувством, и уважением к законному аншталту, который он соблюдал прежде и с Евдокиєю, побуждавши ее долгое время вступить добровольно в монастырь, как бы избегая необходимости употребить насильственные меры, признавая их неизбежными только тогда, когда более кроткие не удавались. Исцаревичем слагалось что-то в том же виде. Царевич с шагу на шаг доходил до безвыходного положения. Слыша отзыв отца о своем недостойнстве, он беспрестанно отрекается от наследства. Петру этого недовольно, потому что чуткий ум Петра видит неискренность. Петр требует или изменить свой нрав, или идти в монахи. Сын решается идти в монахи, следовательно,ступает сообразно воле родителя; но отцу этого недовольно. Если бы Алексей был вроде сына Грозного, царя Федора Ивановича, или вроде брата Петрова Иоанна, быть может, Петр и удовольствовался бы добровольным пострижением Алексея, но Петр недаром писал сыну в письме: ты разума не лишен. Петр видел в сыне не просто неспособного по умственным силам, он видел в нем не более, не менее как врага своей жены Екатерины, своих детей, своих приближенных и сотрудищев, всего, наконец, своего дела. И таким врагом, конечно, Алексей был... Петр понимал, что после его смерти Алексей тотчас снял бы клубок, надетый по принуждению, возложил бы на себя корону, добровольно уступленную, и принялся бы истреблять, уничтожать и ломать все петровское и людей, ему помогавших, им воспитанных, и плоды дел его. Петр в нерешимости выжидал, что далее будет. Его разнообразные хлопоты не давали ему сосредоточиться на одной мысли о сыне; но он не мог успокоиться на объявленном решении сына, не мог довериться обещаниям царевича. Петр требует от сына отмены нрава или исправления, требует того, во что едва ли сам верит... В искренности такого требования мы вправе сомневаться. Во-первых, если Петр считал

это возможным, то зачем оставлял бы своего сына перед тем без внимания до такой степени, что не говорил с ним несколько лет, как в том сознавался сам в своем письме к сыну? Во-вторых, тогда незачем было ему в настоящее время, уезжая за границу, оставлять сына в Петербурге. Находя неуместным его согласие идти в монастырь и допуская надежду, что сын может исправиться, Петру всего подручнее было взять сына с собою, чтобы испытать на деле, может ли сын изменить свой нрав и сделаться достойным престола. Мы не допускаем такого черного подозрения, чтобы Петр заранее хотел довести сына до трагического конца, какой постиг несчастного Алексея; но, кажется, решивши уж в своем уме, что сыну не царствовать, Петр тогда сам для себя не решил еще, как ему с сыном поступить. Иначе нельзя объяснить его тогдашних поступков.

Оставшись в Петербурге, царевич был пугаем разными слухами и внушениями. Кикин сообщил ему, будто князь Василий Долгорукий давал такие соображения и советы царю: "Если царевича постригут, то царевич долго будет жить, а лучше таскать его с собой, так он от волокиты умрет, не в силах будучи снести труда". Другие шептали царевичу, что Меншиков и царица хотят его тайно свести со света. Кикин отправился за границу с царевной Марьей Алексеевною и обещал высмотреть лучшее убежище для царевича. Суеверный до крайности, царевич тешил себя надеждами на скорые перемены, предвещаемые разными видениями и откровениями, которые побуждали ожидать то смерти государя, то освобождения матери царевича. Сибирский царевич в марте 1716 года говорил ему: "Перваго числа апреля будет перемена: либо твой отец умрет, либо Петербург разорится; я во сне видел!" Пришло первое апреля. Царевич русский не дождался предсказанной сибирским царевичем перемены, а сибирский увертывался так: "Я говорил только первого

апреля, а не сказал, что именно этого года". Никифор Вяземский сообщил Алексею слышанные пророчества о том, что Петру жить только пять лет, а рожденному от Екатерины сыну, Петру, семь лет и т.п.

В августе 1717 года приехал из-за границы курьер и привез царевичу грозное письмо отцовское. Царь предоставлял ему на выбор что-нибудь одно из двух: или ехать к нему, не мешкавши более недели, или вступить в монастырь, и в последнем случае приказывал уведомить — куда поступит, в какое время и в какой день. Царь подтверждал, чтобы на этот раз "сие конечно учинено было". Захваченный отцом врасплох в Петербурге, царевич сразу поддался было на избрание для себя монашеского клобука в надежде, что клобук на гвоздем к голове прибивается; иначе ему тогда никакого спасения не было; он был в руках отца; теперь обстоятельства были иные: отец, вызывая сына за границу, сам явно показывал ему дорогу к бегству. Мысль о победе давно уже гнездилась в голове царевича; теперь она уже окончательно окрепла. Царевич, получивши письмо отца, собрался даже ранее срока, назначенного в письме.

Одна забота тяготила его: что делать со своей любовницею Евфросиньею. Царевич открылся своему камердинеру, Ивану Большому Афанасьеву, что едет не к батюшке, а куда-нибудь в иное место, либо к цезарю, либо в Рим; царевич доверил камердинеру и то, что Кикин поехал проводить его убежище. Камердинер отнесся к этому не совсем одобрительно, но обещал хранить тайну. "Я от батюшки не чаял присылки, — продолжал царевич, — а теперь вижу я, что мне путь правит Бог. А се и сон я видел ныне, будто я церкви строю: это значит, что мне путь достоин".

Царевич взял у Меншикова тысячу червонных, а другую тысячу от сената. Меншиков, прощаясь с царевичем, спросил: "Где же ты оставляешь Евфросинью?" — "Я возьму ее с собою до Риги, а потом отпущу в Петербург".

”Возьми ее лучше с собою”, — сказал Меншиков.

Вероятно, этот совет давался с коварною целью подвести царевича под гнев отца. Петру, наверное, не слишком было бы приятно, если бы сын приехал к нему с Евфросиньей, тем более, что царевич не на шутку стал привязываться к этой женщине и уже подумывал на ней жениться. Денежных средств у царевича было не слишком много, но перед отъездом он дал пятьсот рублей Федору Дубровскому для передачи матери, вероятно, соображая, что, уехавши за границу, не скоро будет иметь возможность оказывать ей помощь.

Царевич выехал с Евфросиньей, с ее братом Иваном Федоровым и с тремя служителями. В Риге он занял у обер-комиссара Исаева 5000 червонных и 2000 мелких деньгами.

Проезжая из Риги Либаву, царевич встретился на дороге с царевною Марью Алексеевною, возвращавшеюся из Карлсбада. Царевич вошел к ней в карету для беседы. Он только вполтину открыл ей свой умысел.

”Еду к батюшке, — говорил он, — да не знаю, буду ли угоден. Я себя чуть знаю от горести. Рад бы куда скрыться”.

Царевич заплакал.

”Куда же тебе от отца уйти, — сказала царевна, — тебя везде найдут!.. А мать зачем забыл, не пишешь и не посылаешь ничего? Послал ли ты ей что-нибудь после того, как чрез меня была посылка?”

Царевич сообщил ей о последней посылке с Дубровским.

”А письмо написал?”

”Я писать опасаясь”, — сказал Алексей.

”А что, — заметила царевна, — хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего; ведь это за мать, не за кого иного”.

”Что в том прибыли, что мне беда будет, а ей пользы из того не будет ничего. Жива ли она или нет”.

”Жива, — сказала царевна, — ей было откровение, и другим было также:

ростовскому архиерею Досифею... что отец твой опять возьмет ее к себе и дети у них будут, а станется это таким образом: будет отец твой болен, и, во время болезни его, будет некое смятение, и приедет отец твой в Троицкий Сергиев монастырь на Сергиеву память, и мать твоя будет тут же, и отец твой исцелет от болезни, и возьмет ее к себе, и смятение утихнет!..”

Подобные поэтические мечтания были в духе старой Руси. При этом, верная родной Москве, царевна прибавила: ”А Питербурх не устоит за нами: быть ему пусто; многие о сем говорят...” Царевна заставила царевича написать матери хотя маленькое письмо. Царевич на этот раз пересилил свою трусость, так как думал бежать; он уже не боялся отцовского гнева за написание письма к опальной матери и написал: ”Матушка государыня, здравствуй, пожалуй, не оставь в молитвах своих меня!..”

”Повидайся с Кикиным, — сказала царевна, — он в Либаве и хочет тебя видеть!”

Царевич приехал в Либаву, отыскал Кикина.

”Ну что, — спрашивал он, — нашел ты мне место?”

”Нашел, — сказал Кикин, — в Вене. Поезжай туда, цезарь тебя не выдаст. Мне сказывал Веселовский, что при дворе его спрашивали, за что тебя лишают наследства? А я ему сказал: ведаешь сам, его не любят; чаю для того больше, а не для чего иного. Я уверился, что Веселовский не намерен возвращаться в отечество, и стал с ним смелее, и спросил: ну, а как царевич сюда приедет, примут его? Веселовский мне отвечал: а поговорю с вице-канцлером Шенборном, он ко мне добр. По несколько времени, он мне сказал: я говорил с Шенборном, и он у цезаря спрашивал в разговоре, и цезарь сказал, что он примет его, как сына своего, и даст ему три тысячи гульденов на месяц”.

Впоследствии, хотя Кикин отрекался от справедливости своих слов об участии

Веселовского и Веселовский, как увидим, действовал в поимке царевича в видах царя, но слова, сказанные Кикиным в Либаве о Веселовском, могут быть, хотя до некоторой степени, справедливы, так как Кикин говорил при этом, что Веселовский не думает возвратиться в отечество, а это действительно случилось с Веселовским; очевидно, Кикин был близок с Веселовским, когда знал его такие намерения, которые Веселовский не мог бы открывать никому, кроме тех, к кому имел большое доверие.

Царевич рассказал Кикину обстоятельства своего выезда из Петербурга, сообщил, что открывал о своем намерении камердинеру.

“Пиши к нему, чтоб ехал к тебе, — сказал Кикин, — только я да он знают; на меня подозрения не будет, потому что я в Петербурге не был, а будет Иван в Петербурге, будет то небезопасно, чтоб не промолвился с кем!”

Царевич сообщил Кикину, что когда он прощался с сенаторами, то князь Василий был особенно к нему ласков, а Меншиков присоветовал ему взять с собою Евфросинью.

“Пиши и Василию Долгорукову, — сказал Кикин, — будет ли на меня суслет о твоём побеге, я покажу письмо твое Долгорукову и скажу: знать царевич с ним советовал, что его благодарит; я сие письмо перенял. И к Меншикову напиши, благодари, что присоветывал девку взять с собою; может быть, князь покажет письмо твоему отцу, и он будет иметь о нем суслет”.

Царевич сделал так, как советовал Кикин, и отправился в Вену, приняв вымышленное имя польского подполковника Коханского.

В Вене 21 ноября (по стар. стил.), после десяти часов вечера, офицер, выходя с письмами, следуемыми для отправки на почту, из квартиры вице-канцлера Шенборна, находившейся при дворце, наткнулся на неизвестного человека, шедшего по лестнице в больших сапогах.

Незнакомец на ломаном немецко-французском языке требовал немедленного допущения к вице-канцлеру. Ему сказали, что если дело, то он может явиться утром в 7 часов, в канцелярию, потому что вице-канцлер теперь хочет спать. Незнакомец ломился в дверь и требовал немедленного свидания, говорил, что должен сообщить нечто такое, о чем нужно будет известить тотчас же его величество! Вице-канцлер велел допустить его, принял в ночном халате; незнакомец объявил, что прибыл русский царевич, оставил свой багаж и прислугу в Леопольдштадте, а сам находится на площади в трактире bey Klappereg и хочет представиться вице-канцлеру, так как наслышался о нем много доброго. Вице-канцлер сказал, что оденется и пойдет к нему сам, а незнакомец объявил, что царевич недалеко и немедля явится к вице-канцлеру, как только пошлют к нему офицера. Не успел вице-канцлер одеться, как царевич был уже перед ним.

Прежде всего царевич попросил всех удалиться и оставить его наедине с вице-канцлером.

“Я пришел искать протекции у моего свояка-императора, просить спасти жизнь мою; меня хотят прогнать и моих бедных детей лишит короны”.

Произнося эти слова, царевич оглядывался тревожно по сторонам, бегал с места на место.

“Успокойтесь, — говорил ему Шенборн, — вы здесь в совершенной безопасности. Расскажите спокойно, в чем ваше несчастье и чего требуете?”

Царевич продолжал:

“Император должен спасти мою жизнь, обеспечить мне и моим детям наследство; отец хочет меня погубить, а я ничем не виноват. Я никогда не раздражал отца, да и не мог... я слабый человек... Меншиков меня так нарочно воспитал; меня споили, расстроили умышленно мое здоровье; теперь отец говорит, что я не гождусь ни к войне, ни к правлению, — нет у меня достаточно ума, чтоб

управлять. Господь раздает наследства, а меня хотели постричь и посадить в монастырь, чтоб отнять наследство... нет, я не хочу в монастырь.. император должен охранить мою жизнь..."

Царевич говорил эти слова крикливым голосом, не мог стоять на одном месте, и, бегая по комнате, перевернул кресло... Он остановился и попросил пива. Пива близко не было, ему предложили мозельвейну.

Царевич выпил и сказал: "Ведите меня сейчас к императору".

"Вы здесь в совершенной безопасности, — сказал вице-канцлер, — но к императору вам явиться невозможно; теперь поздно, притом необходимо прежде представить его величеству правдивое и основательное изложение дела, которое вас так беспокоит, тем более, что мы ничего не слыхали подобного относительно такого мудрого монарха, как ваш родитель".

"Я ничем не заслужил этого от отца, — говорил царевич, — всегда был ему послушен, ни во что не вмешивался, я стал слабый человек от гонений и от того, что меня на смерть спаивали; но отец все-таки был добр, пока не родились у жены моей дети, и она умерла... с тех пор пошло хуже и хуже, особенно, как новая царица родила сына. Она с князем Меншиковым постоянно раздражала против меня отца; у них нет ни Бога, ни совести; они все толковали ему одно и то же... а я ничего отцу не сделал, я люблю и почитаю его, как велят десять заповедей, но не хочу постригаться и делать вред моим бедным малюткам... Царица и Меншиков непременно хотят или моей смерти, или пострижения".

Царевич замолчал; потом, собравшись с духом, несколько спокойнее стал рассказывать повесть своей жизни, начиная от своих детских лет.

"Я действительно не имел охоты к солдатчине, — сказал он между прочим, — но вот несколько лет назад отец поручил мне правление, и все шло хорошо, и отец был доволен; но с тех пор, как царица

родила сына, меня задумали уморить или запоить; я сидел дома тихо, как вдруг прошлого года отец стал принуждать меня отказаться от наследства и жить частным человеком, или идти в монастырь, а в последнее время послал с курьером приказание, чтоб я либо ехал к отцу, либо же постригался немедленно; я постригаться не хочу — это значит губить тело и душу, а ехать к отцу — значит ехать на муки, или меня опоят; уже меня предупреждали, что отец на меня гневен, а царица и Меншиков, зная, что царь становится слаб здоровьем, хотят меня отравить... так я написал отцу, что приеду к нему, а сам, по совету добрых друзей, приехал к императору; он мне свояк, он государь великий и великодушный. Сам отец мой очень его уважает; он один мне может помочь; я не хотел искать спасения ни во Франции, ни в Швеции, так как там враги моего отца... Я прошу у императора спасения моей жизни. Я знаю, говорили, будто я дурно обращался с женою моею, сестрою ея величества императрицы: Бог знает, что это неправда, напротив, так поступали с нею мой отец и царица; они обращались с моею женою, как с девкою, к чему жена моя не привыкла по своей эдукации; это ее очень огорчало, да и меня вместе с нею заставляли терпеть нужду; и особенно дурно с нею обходились, когда она была беременна... Я предаю себя и своих детей в защиту императора, умоляю не выдать меня отцу; он окружен злыми людьми, — и сам он человек жестокий, ни во что считает человеческую кровь, думает, что он имеет над людьми такое же право, как Бог; много уже он пролил невинной крови, часто собственноручно казнил осужденных им; он всегда гневен и мстителен, никого не щадит. Если император выдаст меня отцу, это все равно, что на смерть; если отец и будет ко мне добр, то мачеха и Меншиков не успокоятся, пока не уморят меня всяческими оскорблениями или не опоят меня ядом..."

Царевич стал снова порываться, чтоб его допустили к императору и императрице, ссылаясь на то, что он с ними в свойстве; вице-канцлер опять отговаривался ночным временем:

“Принимая во внимание такой щекотливый вопрос, как неудовольствие между отцом и сыном, и притом, так как вы прибыли инкогнито, то я нахожу более благоразумным, если вы не будете говорить с их величествами, для избежания толков в свете, а предоставите здешнему двору оказать вам явную или тайную помощь и, может быть, найти средства примирить вас с родителем”.

“Нет никакой надежды, — сказал царевич, — примирить меня с отцом, я умоляю, пусть дозволит император мне жить либо открыто при его дворе, либо тайно, и куда-нибудь уйдет; я полагаю надежду, что этот великий государь не откажет мне в своем великодушии и не оставит своего свойственника”.

Вице-канцлер уговаривал царевича подождать ответа до завтрашнего дня. Царевич ушел на свою квартиру.

На другой день по докладу вице-канцлера у императора была секретная конференция по поводу приезда русского царевича. Вечером вице-канцлер сообщил царевичу такое решение. Хотя его императорское величество не может себе вообразить, чтобы его величество царь был так вооружен против почтительного сына или допускал других делать сыну зло, тем не менее, однако, сочувствуя горю и жалобам царевича, император обещает ему покровительство, сообразно своему великодушию, родственной связи и христианской любви, и будет стараться примирить его с родителем, а до того времени признает лучшим, если царевич будет оставаться тайно и не станет представляться их величествам, тем более, что состояние беременности ее величества не позволяет ей свиданий и разговоров.

Царевич волею-неволею должен был подчиниться такому решению. 23 ноября

его препроводили с людьми под большим секретом в замок Вейербург. Вслед за тем через несколько дней послан был к нему секретарь с вопросами или пунктами, касавшимися повода и цели его прибытия. На эти пункты царевич отвечал в таком же духе, в каком излагал свою судьбу и обстоятельства вице-канцлеру в разговоре, но, между прочим, присовокупил следующие замечательные слова:

“Свидетельствуюсь Богом, что я никогда не предпринимал против отца ничего несообразного с долгом сына и подданного и не помышлял о возбуждении народа к восстанию, хотя это легко было сделать, так как русские меня любят, а отца моего ненавидят за его дурную низкого происхождения царицу, за злых любимцев, за то, что он нарушил старые хорошие обычаи и ввел дурные, за то, что не щадит ни денег, ни крови своих подданных, за то, что он — тиран и враг своего народа”.

Но при дворе рассудили, что пребывание царевича близко Вены может быть скоро узвано, и положили перевести его подалее: ему предложили отправиться в Тироль под видом государственного арестанта для большего отклонения подозрений. Царевич согласился на это с радостью, потому что увидел в этой мере заботливость императора укрыть его от преследований отца. 7 декабря его повезли в Амбах, оттуда на судне отправили по Дунаю до Молька, а потом на почтовых под караулом в Тироль и привезли в крепость Эренберг, лежащую посреди гор на высокой скале и почти лишенную сообщений по трудности пути. Там Алексея сдали коменданту и вручили последнему инструкцию, в которой предписывалось на сумму от 250 до 300 гульденов в месяц содержать присланное лицо со всяким довольством, готовить ему и состоящим при нем людям кушанье, какое им угодно, давать всегда чистое постельное и столовое белье, прилично убрать ему комнаты, снабдить их мебелью,

призывать к нему в случае болезни врача, давать книги, если он потребует, позволять ему развлечения; если он захочет, то заняться с ним какой-нибудь игрою, позволять прогуливаться на свежем воздухе внутри крепости, позволять писать письма и, принимая их от него, посылать нераспечатанными к принцу Евгению. На все время пребывания арестанта с его людьми в крепости не дозволялось солдатам и их женам выходить за ворота крепости под страхом смертной казни, а караульным запрещалось вести с кем бы то ни было разговор о том, кто содержится в крепости, а на всякие вопросы велено отзываться незнанием. Царевич убедительно просил прислать ему священника; Шенборн отвечал, что это невозможно и надобно потерпеть, но велел доставлять ему газеты, из которых царевич мог знать, что делается в его отечестве.

Между тем Петр, дожидавшись сына и не дождавшись его долгое время, смекнул, что царевич, испугавшись роковой минуты, убежал. Петр сразу догадался, куда направил путь скрывшийся от него сын и, находясь в Амстердаме, потребовал к себе из Вены своего резидента, Веселовского, дал ему указ разведывать о царевиче и вручил письмо к императору Карлу VI. Русский царь сообщил императору, что сын его, который всегда оказывался непослушным отцу и жил дурно со своею супругою, родственницей императора, получивши повеление ехать к отцу, скрылся неизвестно куда; царь просил императора, если бы царевич оказался явно или тайно в его областях, приказать прислать его под караулом вместе с Веселовским для отеческого исправления.

Прежде чем Веселовский прибыл на свое обычное место в Вену, он, по приказанию Петра, проехал по дороге от Франкфурта-на-Одере через города, ведущие в Вену, и донес царю, что нашел на след подполковника Коханского, который, по многим признакам, должен быть царевич; в Вене след Коханского поте-

рялся, но вместо его явился какой-то польский кавалер Кременецкий, и по некоторым признакам можно было догадаться, что этот Кременецкий есть не кто иной, как тот самый, который назывался Коханским. Открылось, что Кременецкий спрашивал дороги в Рим; Веселовский, как он доносил царю, ездил нарочно по дорогам, ведущим из Вены в Италию, но никаких следов не увидел. Такие донесения для Петра были, конечно, неудовлетворительны. 24 февраля царь приказывал отправлять надежных людей в Италию и Швейцарию отыскивать беглеца.

В России скоро распространился слух о том, что царевич, отправившись к отцу, пропал неизвестно куда; начали ходить о нем то счастливые, то печальные вести. Одни говорили, что царь приказал схватить его на пути близ Гданска\* и заслать в отдаленный монастырь; другие, что он скрывается в цезарских землях и скоро приедет к своей матери. Разнеслись даже такие вести: солдаты взбунтовались за границей, царя убили; дворяне хотят привезти царицу в Россию, заключить ее вместе с ее детьми в тот самый монастырь, где томеется законная супруга Петра, освободить последнюю и возвести на престол царевича Алексея. Эти слухи возбуждали радость в народе. "Здесь, — писал в Вену из Петербурга императорский посланник Плейер, — все готово к бунту; и знатные и незнатные жалуются, что их утесняют, детей хотят делать мастеровыми, имения отягощают налогами, людей выводят на крепостные работы" — эти слухи, сообщаемые Плейером, передавались Шенборном царевичу.

Веселовский обращался с вопросами к министрам императора; ему отвечали, что ничего не знают. Был у Веселовского приятель, между близкими к императору людьми, референт тайной конференции Дальберг; он открыл ему тайну о царевиче; посланный Веселовским в Тироль капитан Румянцев сообщил Веселовскому,

\*Гданьска.



что царевич находится в Эрэнберге под видом государственного преступника, которого считают польским или венгерским князем. Апреля 8-го Веселовский подал императору письмо, писанное Петром еще в декабре прошлого года. Ни император, ни министры его не хотели ничего объяснить Веселовскому о царевиче; император написал такой ответ царю, в котором не было сознания, что царевич находится во владениях императора, но в то же время послана была нота в Англию: английский король был также свойственником царевичу по родству с Бранденбургским домом. Император желал узнать, захочет ли английский король защищать царевича, если царь станет доставать сына оружием. В Эрэнберг послан был секретарь Кейль показать царевичу и оригинальные письма к Петру, и копию ноты, посланной английскому министру. Кейль должен был известить царевича о том, что убежище его открыто, и предложил ему по этому поводу, если ему угодно пользоваться покровительством императора, переехать подальше, в Неаполь. При этом царевичу было сделано замечание, чтоб он помнил, что не следует подавать поводов к отцовскому неудовольствию, в особенности следовало бы ему отставить прислугу, которая для отца кажется непристойной, дабы ничто не имело вида, будто его императорское величество, оказывая царевичу свою протекцию и через то вступая в неприятные столкновения с отцом его, заступает за то, что неуместно и достойно порицания. Царевич, приведенный в тревогу отцовским письмом и словами секретаря, заливался слезами, становился на колени, умолял пощадить его, делать с ним что угодно, только не выдавать отцу. Его повезли в Неаполь. Он взял с собой только свою Евфросинью в мужской одежде. Остальная прислуга оставлена была до времени в Эрэнберге. По дороге встречались им подозрительные лица с царскими проезжими письмами. До какой степени царевич был это

время предан винопитию, показывает несение провожавшего его Кейля — ”употребляю всевозможные усилия, чтоб удержать нашу компанию от сильного и весьма частаго пьянства, но тщетно”.

Они прибыли в Неаполь 17 (6) мая и помещены в замке Сент-Альмо на холме, господствовавшем над городом. Оттуда царевич написал письма: одно к сенаторам, другое к духовным; в этих письмах извещал, что убежал от озлоблений, так как его хотели насильно постричь, и находится под покровительством некоей высокой особы; он просил не верить, если будут распускать вести, будто его нет в живых. Письмо это обещали послать по назначению окольными путями, однако не послали.

Недолго прожил царевич в неизвестности. Румянцев следил за ним до самого Неаполя, когда царевича везли туда. Петр узнал обстоятельно, где его сын, и 26 июля прибыл в Вену посланный от русского царя, Петр Толстой, вместе с отыскавшим след царевича Румянцевым. Петр поручил Толстому домогаться выдачи Алексея, обещая от отца прощение царевичу, а если император никаким образом не согласится на выдачу, то, по крайней мере, добиться свидания с царевичем, чтобы убедить последнего воротиться в отечество. Если никакие представления не подействуют на императора и он не допустит к царевичу Толстого, последний должен был объявить, что такие поступки императора царь примет за явный разрыв и будет мстить за обиду своей чести.

Посланный представил письмо царя императору.

Царь просил выдачи сына. Император, с совета своих министров, не согласился на выдачу, но дозволил Толстому ехать в Неаполь уговаривать царевича к возвращению на родину. Много способствовала этому теща императора и царевича, которая боялась, что если раздор между Петром и его сыном доведется до крайности, то от этого могут потерпеть ее внуки, дети царевича. Императорские

правительство хотело избавиться от царевича, но так, чтоб не падало дурной тени на самого императора, а потому императорскому наместнику в Неаполе (находившемуся по Утрехтскому миру в числе владений Габсбургского дома), вице-королю (вице-рою) Дауну поручалось, со своей стороны, содействовать, чтоб царевич добровольно согласился воротиться в отечество; если же царевич не поддастся никаким убеждениям, то Даун должен был уверить его, что он безопасно может оставаться под покровительством императора. Император почему-то думал, что отец сердится на сына более всего за связь с женщиною, которую царевич возил с собою, и поручил Дауну внушить царевичу, что примирение с отцом легче состоится, если царевич отпустит от себя эту женщину. Но царевич озадачил Дауна такими словами: "Если мой отец гневается на меня за эту женщину, то почему не потребует удаления этой женщины? Напротив, он хочет наложить руки на меня самого!"

24 сентября 1717 года Толстой и Румянцев приехали в Неаполь.

Через день вице-король Даун пригласил в свой дом царевича с тем, чтоб доставить царским посланцам возможность видеть царевича и тогда, когда бы последний заупрямился и не хотел допускать их к себе. Так поступил императорский наместник для того, чтобы, сообразно письму, полученному от своего государя, содействовать возвращению царевича.

Толстой передал царевичу письмо от отца. Петр хотя и упрекал сына в бегстве, но приглашал последовать тому, что будут ему говорить от имени царя Толстой и Румянцев, и написал такие строки: "Я тебя обядеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься".

Толстой вручил царевичу письмо от тещи; она подавала царевичу совет помириться с родителем.

Царевич не поддался ни на что. Он боялся, чтобы приехавшие к нему соотечественники не наложили на него рук; то же считал возможным и сам император, полагавший, как вообще полагали на Западе, что москвиты способны на всякий дикий и грубый поступок, воспрещаемый правилами европейского общежития.

Через два дня, 28 сентября, Даун снова назначил свидание царским посланцам с царевичем у себя.

"Я не поеду в Россию; я боюсь явиться перед гневным отцом; я не смею, — говорил царевич, — я напишу об этом императорскому величеству, моему протектору".

"Император, — сказал Толстой, — не станет тебя удерживать и вступать во вражду с отцом твоим. Царь будет считать тебя изменником и не отстанет, пока не добудет тебя живаго либо мертваго; мне приказано не удаляться отсюда, прежде чем я не возьму тебя; куда бы тебе ни увезли — я буду за тобой ездить по следам".

Трусливый царевич задрожал, схватил Дауна за руку, увел в другую комнату и говорил:

"Что, если отец станет меня требовать вооруженною рукою, будет ли мне покровительствовать цезарь?"

"Не обращайтесь внимания на эти угрозы, — сказал ему вице-король, — его императорское величество очень желает вашего примирения с родителем, но если вы не считаете безопасным для себя ваше возвращение, то извольте оставаться; его императорское величество настолько могуществен, что может охранить тех, которые отдаются под его протекцию".

Ободрился царевич: "Я ни за что ни под каким видом не хочу попадаться в руки отца", — сказал он Дауну. Но по своей робкой, слабохарактерной природе он не смел также решительно отвечать Толстому и прибегнул к таким уловкам, к каким обыкновенно прибегают подобные царевичу люди в минуты необ-

ходимости решиться на что-нибудь важное: он сказал, что повременит, подумает...

После того царевич запрятался в замке Сент-Альмо и не поехал к вице-королю на третий разговор.

Нужно было, однако, чем-нибудь закончить. Даун устроил третье свидание уже в самом замке Сент-Альмо, отправивши туда с Толстым и Румянцевым своего помощника фельдцейгмейстера Венцля. Из этого свидания также ничего не вышло.

Толстой думал склонить Дауна, чтоб он пострадал царевича; Толстой помнил о награждениях со стороны царя, хотя не имел на то царского указа; Даун готов был способствовать возвращению царевича, действуя только в тех пределах, какие ему были указаны императорскими письмами. Оказался податливее и склоннее к принятию наград секретарь его Вейнгардт. Толстой дал ему сто шестьдесят червонцев. За это Вейнгардт отправился к царевичу и стал, как бы от себя лично, говорить, что императорская протекция не совсем надежна: если царь объявит, что прощает сына, а сын не поедет, и после того царь вздумает вести войну, то император нехотя выдаст сына отцу.

Слова Вейнгардта сильно растревожили царевича. Он стал побаиваться, как бы в самом деле не хуже для него вышло, когда он теперь отвергнет предлагаемое отцовское прощение, а после попадет в руки отцу. Он написал записку к Толстому и просил приехать к нему, только без Румянцева, — последнего царевич боялся. Толстой приехал и говорил с царевичем наедине.

— «Я получил от государя письмо, — сказал царевич Толстой, — он собирает войско в Польше, хочет ввести его в Силезию и доставать оружием своего сына, а сам готовится ехать в Италию. Ты помнишь, государь давно хотел ехать в Италию, теперь для сего случая поедет; не думай, что он тебя видеть здесь не может! Кто ему запретит?»

Это поколебало царевича; он сказал: «Я бы поехал к отцу, только если бы у меня не отняли Афросиньи и дозволили жить в деревне».

Затем он обещал еще подумать и дать ответ завтра.

Толстой понял, что с таким характером царевича дело потянется, и приступил к Дауну с просьбою поугаждать царевича разлукою с Афросиньюшкой. Даун на самом деле не смел отнять Евфросиньи у царевича, потому что это было бы уже насилие, но поугаждать царевича разлукою с нею он считал дозволительным, во-первых, оттого, что император приказал ему содействовать добровольному согласию сына ехать к отцу, во-вторых, оттого, что царевичу от лица императора было заявлено, что если отец сердится на него за женщину, которую он с собою возит, то царевич должен знать, что императору неприличным окажется заступаться за поступки, достойные порицания. Притом если бы оно и совершилось, отлучение Евфросиньи от царевича, то и тогда можно было бы найти увертку, объявивши, что это еще не есть нарушение покровительства, обещанного только особе царевича, — это не значило бы, что император выдает его отцу. Буква закона и приличия соблюдались. Вице-король велел сказать царевичу, что прикажет отлучить от него женщину в мужской одежде. Царевич испугался и просил повременить до утра, чтоб поговорить со своей Евфросиньей. Царевич предполагал искать спасения у папы в Риме, если цезарь его разлучит с нею. Евфросинья стала ему советовать во всем покориться отцовской воле и просить прощения у отца.

Это обстоятельство решило все. Царевич на другой день объявил Толстому и Румянцеву, что едет в отечество с двумя кондициями: во-первых, если ему позволят жениться на Евфросинье, а во-вторых, жить в деревне. Толстой не имел права согласиться на такие кондиции и находил их паче меры тягостными, но все принял на себя и дал согласие словесно.

“Я еду с вами, — сказал царевич, — а вы упрсите моего отца, чтоб мне позволили жениться, не доезжая Петербурга”.

Толстой дал слово стараться, чтобы с царевичем было поступлено по его желанию, и в тот же день послал к царю известие о благополучном исходе своего предприятия паче всякого ожидания.

Толстой, со своей стороны, представлял царю свое мнение, что всего лучше дозволить царевичу жениться: с одной стороны, это уронит его в глазах цезаря, и весь свет будет видеть, что сын ушел от отца из-за этой девки, а с другой — в своем государстве все узнают, что такое царевич.

Давши слово ехать в Россию, царевич прежде съездил в Бар поклониться мощам св. Николая. Толстой и Румянцев последовали за ним неотступно туда же. Возвратившись со своего богомолья 14 октября, царевич отправился из Неаполя на Рим и беспрепятственно толковал со своими дядьками о том, как бы отец дозволил ему обвенчаться за границею до приезда в Россию. Толстой и Румянцев очень боялись, чтобы царевич под какими-нибудь впечатлениями не изменил своих намерений: они не были спокойны, пока не выедут из владений императорских. Поэтому Толстой не останавливался в Вене, проехал ее с царевичем с третьего на четвертое декабря ночью, и путники, не останавливаясь, достигли Брюнна, но здесь для них произошла неожиданная задержка. Генерал-губернатор Моравии, граф Колоредо, не дозволил путешественникам следовать далее, прежде чем не увидится и не поговорит с царевичем. Он исполнил полученное от императора приказание.

Царевич проехал Вену и не явился к императору: это обстоятельство подало императору подозрение, что царевича везут поневоле, что, быть может, он раскаялся в данном согласии и желает остаться под покровительством императора. Поэтому-то император велел морав-

скому генерал-губернатору графу Колоредо непременно видеться с царевичем и узнать от него причину, почему он не представился ему в Вене?

Толстой сначала упорно не хотел ни за что допустить кого бы то ни было видеться с царевичем.

Это давало повод заключать, что над царевичем делается принуждение, что сам царевич, вероятно, сказал бы что-нибудь такое, чего сказать Толстой не допускает его. Колоредо, сообразно императорскому повелению, задержал путешественников, несмотря на протест Толстого, вопившего о нарушении народных прав, угрожавшего разрывом с Россиею. Но потом, 23 декабря, Колоредо был допущен к царевичу, и царевич на вопрос генерал-губернатора, почему он не представился императору в Вене, объявил, что все произошло по причине дорожных обстоятельств, от трудности явиться ко двору в приличном экипаже и с приличною обстановкою. Толстой и Румянцев стояли тут же. Колоредо ничего более не оставалось, как отпустить из Брюнна путешественников и дозволить им продолжать свой путь беспрепятственно до выезда из владений императора.

Это объясняется, по нашему мнению, тем, что (как следует полагать по расчету времени) доставлено было царевичу письмо отца, писанное от 17 ноября к Толстому и Румянцеву. В этом письме Петр приказывал передать царевичу свое согласие на брак его с Евфросиньею и проживание в деревне только с тем, чтобы венчание произошло в пределах России, а не за границею, для избежания большего стыда. Царевич успокоился обещанием царя и родителя.

Евфросинья следовала за ним медленно, потому что была беременна и направлялась по иной дороге, вместо Вены, на Нюрнберг, Аугсбург и Берлин. Царевич получал от нее письма, писал к ней, советовал ехать потише, особенно через горы, говорил о своем будущем ребенке, которого называл Селебенным (?). Заме-

чательно, как сильно и постоянно занимали царевича церковные обряды. В одном из своих писем к Евфросинье он выражался: "А что ты писала, чтобы Судакову (одному из трех слугителей, оставленных в Эрэнберге) дать денег, и дай ему ты против тех же равно с ними, а когда велишь ему у себя петь вечерню и утреню в воскресенье, а он, еленюю (?) живучи, забыл гласы, и ты скажи ему, что декабря в 1-й день был осьмый глас, поэтому он может знать, что петь..."

Вступивши в пределы России, царевич ехал на Москву. Уверенность в счастливом окончании дела не покидала его. 23 января 1718 года он писал Евфросинье из Твери: "Все хорошо, чаю, меня от всего уволят, что нам жить с тобою будет, Бог изволит в деревне, и ни до чего нам дела не будет". Между тем в отечестве он мог замечать расположение к себе народа; Плейер, следивший зорко за расположением умов в России, доносил своему правительству, что во время проезда царевича народ кланялся ему и говорил: благослови, Господи, будущего государя нашего! Помещики, духовные, простой народ — все, по свидетельству Плейера, отзывались в то время с любовью о царевиче Алексее.

31 января царевича привезли в Москву.

Отец его был уже там.

3 февраля его ввели к отцу, которого окружали нарочно приглашенные духовные и светские сановники. Царевич был без шапки. Он упал к ногам родителя, заливался слезами, просил помилования.

"Я покажу тебе милость, — сказал царь, — но только ты должен отречься от наследства и указать тех, которые присоветовали тебе бежать за границу к цезарю".

Царь ушел с ним в другую комнату и говорил наедине. В тот же день в Успенском соборе, пред Евангелием, царевич подписал клятвенное обещание никогда, ни в какое время не искать, не желать

и ни под каким предлогом не принимать престола, а признавать истинным наследником своего брата Петра Петровича.

В тот же день опубликован был манифест ко всему русскому народу, заранее приговоренный. В этом манифесте объявлялось о давней, постоянной неохоте царевича к воинским и гражданским делам, о его безнравственности, о том, что он, еще при жизни своей жены, взял "некакую бездельную и работную девку" и с оною жил явно незаконно, и это способствовало смерти его жены, излагалась история побега царевича, сообщалось, между прочим, что императорский вице-король в Неаполе объявил царевичу, что цезарь не станет ни по какому праву держать его в своих владениях (против этого известия впоследствии протестовал Даун)<sup>5</sup>. Наконец, в том же манифесте объявлялось, что царь, отеческим сердцем о нем "соболезнуя", прощает его и от всякого наказания освобождает, но лишает наследства после себя, "хотя бы ни единой персоны нашей фамилии не оставалось", а вместо отрешенного от наследства назначает наследником другого своего сына — Петра, которого все подданные должны признать наследником посредством целования креста. Затем все, которые будут признавать Алексея за наследника, объявлялись изменниками.

Казалось, задушевное желание Петра достигалось; сын ненавистной Евдокии в глазах всего народа, в глазах всего света показал себя недостойным; он осрамлен, очернен, ошельмован, как говорилось тогда; сын любимой, дорогой Екатерины признан наследником. Прощение недостойному сыну объявлено торжественно.

Но прощение объявлено с тем, если Алексей откроет своих соучастников: этого не было объявлено Алексею в то время, когда Толстой выманил его из заграничного убежища.

Петр был сильно раздражен разговором, восстаниями всякого рода, протививо-

действиями своим мерам и явными, и тайными, и деятельными, и страдательными; Петр был уверен, что на Руси есть много не любивших его. Петру предстоял удобный случай поймать некоторых из них, и притом не простых, а влиятельных людей.

На другой же день после объявления манифеста начался розыск. Царевичу задали вопросные пункты, требовали от него показаний не только о действиях, но и о словах, какие он произносил сам и какие он слышал от других в разное время.

Царевичу дали вопросные пункты, которые оканчивались такими зловещими словами:

”Ежели что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй, понеже вчера пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон”.

Мелкая, эгоистическая натура Алексея проявилась во всей силе. Царевич настроил показание, в котором прежде всего очернил Александра Кикина как главного советника к побегу, наложил подозрение на своего камердинера Ивана Большого Афанасьева (хотя, как показывал, объявивши о намерении учинить побег, не получил от него одобрения), показал на Дубровского, которому передавал деньги для матери, на своего учителя Вяземского, на сибирского царевича, на Ивана Кикина, на Семена Нарышкина, на князя Василия Долгорукова и отчасти на царевну Марью Алексеевну. Царевич оговорил Кейля, секретаря имперского канцлера Шенборна, показавши, будто он принуждал его писать письма к сенаторам и архиереям, хотя эти письма не были посланы. Показания царевича не заключали полной искренности, которая все-таки бывает свойством более благородных натур; царевич раскрывался вполвину; он сказал настолько, что его показания могли притянуть в беду других, а о себе не сказал всего; он сделал так, как всегда делают в таких обстоятельствах подобные царевичу люди.

Александра Кикина схватили в Петербурге, пытали там же, потом вместе с Иваном Большим Афанасьевым привезли в Москву и подвергли страшным истязаниям в Преображенском приказе. Его пытали четыре раза. Кикин упорно запырлялся, отрицал справедливость показаний царевича, наконец, 5 марта после невыносимых мучений пытки сказал:

”Что царевич в повинной своей написал и то он делал, а иного не упомнит, только во всем том он виноват, а тот побег царевичу делал и место он сыскал в такую меру: когда бы царевич был на царстве, чтоб был к нему милостив”.

Его приговорили к жестокой казни.

На другой день казни истерзанный Александр Кикин лежал на колесе еще живой; царь проехал мимо него, слышал его стоны, вопли, моления об отпущении души на покаяние в монастырь; царь приказал отрубить ему голову и воткнуть на кол.

Камердинер Иван Большой Афанасьев оговорил многих, но не спас себя, и его приговорили к смерти, но приговор отложили.

То же сделано было с Дубровским, сообразно показаниям царевича.

Сенатора князя Василия Долгорукого арестовали в Петербурге и отправили скованным в Москву, а вслед за тем в Петербурге арестовали многих лиц<sup>6</sup> и заковали в ножные кандалы: их отправили в Москву. Всем, находившимся в Петербурге, запрещено было до возвращения государя в Петербург из Москвы выезжать из Петербурга по Московской дороге, под опасением потери жизни. Можно вообразить себе всеобщий ужас, господствовавший в это страшное время.

Князь Василий Долгорукий, человек государственный и близкий к царю, хотя не любивший Меншикова, царского любимца, не мог быть обвинен в соучастии с царевичем, но ему поставили в вину остроты, которые он отпускал над царевичем, которого хорошо понимал. Припомнили ему тогда его замечание на сход-

ство писем царевича к отцу с записями, которые давали в старину бояре друг другу. Долгорукий и после отъезда царевича за границу еще проговорился неосторожно. Когда услышали, что царевич возвращается в Россию, князь Василий сказал: "Вот дурак! Поверил, что отец посулил ему жениться на Афросинье! Жолв ему, а не женитьба! Чёрт его несет: все его обманывают нарочно". Подобного рода выражения поставлены были ему в вину. Яков Долгорукий написал тогда царю сильное и умное письмо, выставлял заслуги лиц своего рода, оказанные Петру, и указывал царю, что "ино есть дело злое, ино слово с умыслом и намерением злым, ино есть слово дерзновенное без умыслу и хотя не безвинное, однако не такой достойное мести, какой достойны злодеи, умыслом виновные". Князь Василий все-таки был отправлен в Петропавловскую крепость и впоследствии заплатил за свои остроты ссылкой в Соликамск. Учитель Вяземский отписался, показавши, что он не знал об умыслах царевича, притом и царевич давно уже не любил его и теперь наговорил на него по злобе.

Но розыск, производимый тогда в Преображенском приказе, не ограничился только теми лицами, которые притянуты были по оговору или по подозрению в содействии царевичу к побегу. В тот же день, когда заданы были вопросные пункты царевичу, Петр послал Григория Скорнякова-Писарева за бывшею своею женою Евдокиєю, в монастыше Еленюю. Скорняков-Писарев привез ее в Москву и донес, что нашел ее не в монашеском, а в мирском платье; это было вменено ей в большое преступление. След за несчастною царицею притянули в Преображенский приказ толпу мужчин и женщин духовного и мирского чина. Скорняков-Писарев (впоследствии и сам испытывший горькую участь), угождая Петру, давал советы хватать того и другого, чтоб открывать "воровство".

Тогда открылось, что отверженная

царица после долгого томления в монастыре завела любовную связь с майором Глебовым, человеком женатым, уже не молодым, имевшим взрослого сына. Попались ее письма к этому человеку (замечательные как образец выражения сердечных чувств старорусской женщины). Царица на допросе созналась в связи с ним. Сознался и майор Степан Глебов, но не хотел сознаваться ни в писании, ни в произнесении хульных слов на Петра и Екатерину. Не добились от него сознания посредством кнута и жжения горячими углями и раскаленным железом, и все-таки посадили на кол 16 марта на Красной площади. Испытывая невыразимые страдания, он был жив целый день, затем ночь и умер только пред рассветом, испросивши тайно у одного иеромонаха причащение св. Тайн пред смертью. Колесован был ростовский епископ Досифей за то, что поминал Евдокию царицею, утешал ее разными вымышленными откровениями, гласами от образов, видениями и тому подобными, издавна принятыми в старой Руси способами, пророчил, между прочим, ей быть снова царицею. Казнили смертью духовника царицы, посредника в сношениях с Глебовым; подвергли жестокому наказанию кнудом нескольких женщин, и в том числе монахинь, угождавших Евдокии. Сама Евдокия была отправлена в ссылку в Ладжский женский монастырь. Царевну Марью Алексеевну послали в Шлиссельбург; после она была переведена в Петербург и оставлена в особом доме под надзором.

Во время страшного розыска в Преображенском приказе произошло в глазах Петра замечательное событие:

2 марта, в Соборное воскресенье, в обедню, царю Петру подал некий человек бумагу. Бумага эта оказалась присяжным листом на верность царевичу Петру Петровичу, объявленному наследником престола. На нем было подписано:

"За неповинное отлучение и изгнание от всероссийскаго престола царскаго Богом

хранимаго государя царевича Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым Евангелием не кланюсь и на том животворящаго креста Христова не целую и собственною своею рукою не подписуюсь; еще к тому и прилагаю малоизбранное от богословской книги Назианзина могущим вняти в свидетельство изрядное, хотя за то и царской гнев на мя произлиется, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой за истину аз раб Христов Иларион Докукин страдати готов. Аминь, аминь, аминь”.

Этот Докукин был подьячий. Три раза подвергали его жестоким истязаниям. Он никого не выдал, хулил Петра и Екатерину и кричал, что пришел добровольно пострадать за имя Христово. Его колесовали.

Пример Докукина открывал Петру, что между сторонниками его сына находятся (хотя немногие) люди, о которых можно было сказать, что они не чета жалкому, ничтожному царевичу. Петр понял, что сила, вооружающаяся против него, не в самом сыне — а за этим сыном. ”Когда бы не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло! — говорил Петр Толстому. — О, бородачи! Многому злу корень старцы и попы! Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами”.

В избылики лилась человеческая русская кровь за этого царевича, а он сам между тем тешился уверенностью, что страданиями преданных ему людей купил себе спокойствие и безмятежную жизнь со своей дорогой Афросиньюшкой. ”Батюшка, — писал он к Евфросинье, — взял меня к себе есть и поступает ко мне милостиво! Дай Боже, что и впредь также, и чтоб мне дожидаться тебя в радости. Слава Богу, что от наследства отлучили, понеже останемся в покое с тобою. Дай Бог благополучно пожить с тобой в деревне, понеже мы с тобой ничего не желали только, чтобы жить в Рождественке; сама ты знаешь, что мне ничего

не хочется, только бы с тобою до смерти в покое дожить. А будет что немецких врак будет (т.е. что будут писать о его деле за границу), о сем, пожалуй, не верь. Пожалуй, ей-ей, больше ничего не было!”

Ничто, по-видимому, не угрожало ему. Царское слово было ему дано. Царевич все открыл, а если не все, то некому обличить его. Чего же более?

18 марта царь уехал из Москвы в Петербург. Царевич уехал с ним. Екатерина заранее писала к Меншикову, чтобы приготовить, починить и убрать для царевича двор, бывший Шелтингов.

12 апреля была пасха. Царевич, явившись с поздравлением к матеке, валяясь в ногах у нее и умоляя ходатайствовать пред царем о дозволении жениться на Евфросинье. Это делалось вслед за тем, когда осуждена была на увеличенные тяжкие страдания его родная мать, опозоренная публичным извещением о ее связи с Глебовым!

Наконец приехала давно жданная Евфросинья. Но царевич не встретил ее, не обнял при свидании. Ее, еще беременную, засадили в Петропавловскую крепость 20 апреля; туда же посадили ее брата Ивана Федорова и трех слугителей, разделявших изгнание царевича за границу.

Там она, должно полагать, и родила своего Селебеного; но что случилось с этим ребенком, неизвестно.

В одну из суббот, в мае, царь отправился в Петергоф, и царевич поехал туда же.

Вот к этому-то моменту описываемой нами трагедии относится картина г-на Ге, по поводу которой мы решились припомнить нашим читателям, с нашим собственным взглядом, события более или менее всем известные. Царь Петр допрашивает царевича. Перед ним бумаги — это роковое показание Евфросиньи, которого никак не ожидал царевич.

Художник изобразил безукоризненно мастерски этого царевича. Тупоумие, мелкая трусость, умственная и телесная



лень, грубая животность видны в его чертах, пораженных горем и тоскою; его горе не таково, чтобы возбудить к себе то сострадание, которое неразлучно бывает с уважением. Всмотритесь повнимательнее в эти черты, и вы увидите в них что-то недоброе, лживое, лукавое... Это такой человек, который с первого раза покажется чрезвычайно добрым, но который тотчас проявится иным, когда вы вступите с ним в серьезное дело. Он себя считает выше других, но при своем неумении взяться за дело и вести дело он постоянно нуждается в помощи других, в нужде станет унижаться, но первому же, кто ему окажет услугу, заплатит очень дурно, даже, быть может, именно потому, что будет чувствовать себя обязанным к нему благодарностью и тяготиться этою обязанностью. При своей умственной нищете, он склонен к суеверию, но неспособен к истинной вере, которая может быть только уделом людей с волею. В беде, постигающей его, он хочет возбудить к себе сострадание, но невольно возбуждает жалкое презрение; зато он не будет сострадать чужой беде: на это он слишком беден духом. Это человек, забитый деспотизмом, но всегда желяющий деспотствовать над другими... Таким представляется Алексей Петрович на картине г-на Ге.

Минута роковая. Петр прочтет ему показание, Алексей растеряется...

Все его надежды поколебались в эту минуту. Афросиньюшка, с которой он надеялся скоро вступить в брак, у него уже отнята. Но эту Афросиньюшку он увидит скоро: ее везут за ним в закрытой тележке. Он увидит ее, но как? Существо, которому он весь отдался, для которого жертвовал так охотно надеждою короны, — это существо явится низким, предательским оружием его гибели!

Евфросинье в крепости задали вопросы пункты о том: кто писал царевичу во время его пребывания за границей, кого хвалил царевич, кого он бранил, что о ком говорил?

Если бы Евфросинья была подослана от Петра согладатайницею за царевичем, и тогда не могла бы она лучше исполнить своей обязанности. Припоминаю, как Меншиков советовал царевичу взять ее с собою за границу, в то время, когда царевичу, как едущему к отцу, решительно невозможно, казалось, давать такой совет, невольно приходишь к подозрению: не подкуплена ли она была заранее, чтобы следить за царевичем? Но обращать подозрение в уверенность нет исторического права, тем более, что вопрос легко может быть разрешен и другими способами: Евфросинья делала из страха то же самое, что могла делать из выгод!

"Царевич, — показала она, — писал не раз цезарю жалобы на отца, писал письма к архиереям с тем, чтоб эти письма подметывать, жаловался постоянно на родителя, что он хотел лишить его наследства, и как мог искал живот его прекратить; сам царевич очень прилежно желал наследства, изъявлял радость, когда читал в курантах, что брат его Петр Петрович болен". "Видишь, — говорил он, — батюшка делает свое, а Бог свое!" Царевич надеялся на сенаторов, не сказавши, однако, Евфросинье, на кого именно надеется, а только говорил такие слова: "Хотя батюшка и делает то, что хочет, только как еще сенаты похотят, чаю, сенаты и не сделают, чего хочет батюшка!" Когда слышал о видениях и читал в курантах, что в Петербурге тихо и спокойно, то говорил: "Тишина недаром. Может быть, отец мой умрет, либо бунт будет. Отец надеется, что, по смерти его, вместо малолетняго Петра, будет управлять мате́ха его, царевича, думая, что она умна, — но тогда будет ба́бе царство и добра не будет, а будет смятение; иные станут за брата, а иные за меня"... "Я, — говаривал он, — когда стану царем, то старых всех переведу, а наберу себе новых по своей воле. Буду жить зиму в Москве, а лето в Ярославле. Петербург будет простым городом; кораблей держать не стану, войны ни с кем иметь

не хочу; буду довольствоваться старым владением..." Услышал царевич, будто в Мекленбурге бунтует русское войско, и очень обрадовался. Евфросинья показала также, что царевич из Неаполя хотел было бежать к папе, но она его удержала.

Когда царевичу предъявлено было это показание, он запырлся.

Ему дали очную ставку с Евфросиньей. Он кое в чем сознался.

Затем ему дали целую кучу вопросов, на основании разных показаний, особенно Ивана Афанасьева Большого, не столько о делах, сколько о словах двусмысленного значения, в разные времена произнесенных царевичем. Царевич и тут по одним пунктам сознавался, по другим — запырлся.

Вслед за тем царевич, очевидно, находясь в состоянии того перепуга, когда человек, потерявши присутствие духа при виде страшной опасности, не ищет уже средств избавиться от беды, а сам в беспамяත්стве бросается в погибель, написал показание, в котором наговорил столько, сколько даже не был вынужден говорить; он открывал свои тайные помышления, а отвечая на вопрос, на кого имел надежду, набросил тень подозрения на многих государственных людей — на Якова Долгорукова, Бориса Шереметева, Димитрия Голицына, Куракина, Апраксина, Головкина, Стрешнева и других. Правда, он не обвинял их в том, что б они знали об его замыслах, но называл их своими друзьями, готовыми к нему пристать, как он думал. Он снял обвинение с имперского чиновника Кейля, на которого прежде наговаривал, будто тот принуждал его писать письма к сенаторам и архиереям, — на этот раз он притянул к делу киевского митрополита, сознался, что писал к нему, — просил этого архипастыря всем сказывать, что царевич уехал от принуждения вступить в монастырь и находится в добром здравии. Этому показанию придали тогда важное значение. Царевич заявил, что

киевский архиерей ему друг. Мы не станем утомлять читателей наших подробностями показаний царевича, тем более, что их можно найти в VI томе "Истории" Устрялова. Важнейшее, оказавшее более всего пагубное влияние на судьбу царевича, состояло в таких словах:

"Когда слышал о мекленбургском бунте (войска русского, как писали в иностранных газетах), радуясь говорил, что Бог не так делает, как отец мой шотет, и когда бы оно так было, и прислали бы по меня, то бы я с ними поехал; а без присылки поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче и опасался без присылки ехать, а когда-б прислали, то-б поехал. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того что писано, что хотели тебя убить, и чтоб живаго тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то-б мог поехать".

Царевич не был еще арестован и не сидел в крепости (куда его засадили уже в половине июня). Но есть свидетельства, показывающие, что, находясь еще на свободе, он подвергался истязаниям. Уже после его смерти осужден был на каторжную работу крестьянин графа Мусина-Пушкина Андрей Рубцов, видевший, как на мызе, где был царевич, по приезде царя, повели царевича под сарай и оттуда слышны были стоны и крики, а двое других лиц, слышавших о том от Рубцова, Прошилов и Леонтьев, казнены смертью за дерзкие рассуждения об этом событии (Рус. Вест. 1860 г. № 21). Эти известия делают понятным: отчето царевич мог писать показания, явно составленные под влиянием перепуга.

Гвардии капитан Скорняков-Писарев отправился в Киев, сделал обыск бумагам митрополита и ничего не нашел, но митрополита Иосафа Кроковского, больного и престарелого, отправили в Петербург: он умер на пути, в Твери. Царевич показывал и на главное лицо между тогдашними архиереями, на Стефана Яворского; он был расположен к царю-

вичу; но Стефана не тронули, хотя царь давно уже косился на него за речь, некогда произнесенную с участием к царевичу, бывшему тогда за границею в свою первую поездку.

Сознание царевича в том, что он готов был пристать к бунтовщикам и действовать открыто против отца, дало повод не стесняться по отношению к лицу царевича царским обещанием помилования.

13 июня написаны были два объявления: одно к духовным, другое к светским судьям, избранным из воинских и гражданских чинов.

Крепко стоя за свое царское самодержавие (на которое, как знал царь из истории своих предков, бывали посягательства, особенно со стороны духовных), Петр в своих объявлениях, прежде всего, счел нужным сказать, что он "по божественным и гражданским правам, а особливо по правам российским" имеет "довольно власти учинить за преступление по своей воле без совета других", но призывает советников, уподобляясь в этом случае врачу, который, не доверяя себе в лечении собственной болезни, приглашает других врачей... В объявлении духовенству сказано, что хотя это дело и не духовного суда, но царь приглашает духовенство на основании повеления закона Божия, как значится в XVII гл. Второзакония. В объявлении к светским царь клянется самим Богом и судом его, что Ему не будет противен их суд, требует, чтоб они вершили это дело отнюдь не "флатируя или не похлебуя"; ему, государю: "Не разсуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына, но, не смотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшнаго испытания и отечество наше безбедно".

Духовенство отвечало хотя уклончиво, но замечательно мудро. Выписав разные места из св. Писания, свидетельст-

вующие об обязанности детей повиноваться родителям, оно представило на волю государя действовать или по Ветхому, или по Новому завету; хочет руководствоваться Ветхим заветом — может наказать сына, хочет ли предпочесть учение Нового завета — может пощадить и простить его по образцу, указанному в притче о блудном сыне и в поступке Спасителя с женою-прелюбодейницею "Сердце царев в руке Божией есть; да избрет тую часть, аможе рука Божия того преклоняет!" — так сказано в конце приговора духовных.

Церковь, в лице своих представителей, исполнила свое дело: указала дух, в каком должна действовать мирская власть, признающая себя христианскою, а затем, что могла делать более эта церковь, не имевшая никакого оружия, кроме слова, никаких понудительных мер, кроме нравственного влияния?

Что могли сказать светские судьи, сохраняя свое достоинство в равной степени, как сохранили его духовные? Они могли сказать: царь-государь, ты дал свое царское обещание сыну чрез Толстого в Неаполе, что ему наказания не будет, если он возвратится. Сын твой поверил слову царя-родителя, и судить его нельзя; если он сделает еще что-нибудь преступное, в таком случае созывай нас, мы будем судить его. Но могли ли говорить так люди, во главе которых сидел Александр Меншиков, личный враг царевича, желавший его гибели ради спасения собственной головы и своих детей?

Вслед за составлением суда, 14 июня, царевич был посажен в Петропавловскую крепость.

17 июня светские судьи потребовали его в свой суд в сенате.

Царевич оговорил Аврама Лопухина, своего дядю, будто он, во время пребывания царевича за границею, сообщал цезарскому резиденту Плейеру, что за царевича стоят и "заворащиваются" кругом Москвы, для того, что о царевиче ведомостей много; царевич оговорил своего

духовника Якова Игнатъева: последний, некогда узнавши от царевича на исповеди, что царевич желает отцу смерти, сказал: "Бог тебя простит, и мы желаем ему смерти".

Пытали Лопухина; расстригли и пытали три раза Якова. 19 июня настала очередь самому царевичу. Его пытали в крепости и дали 25 ударов кнутом, допрашивали: все ли то правда, что он писал в своих показаниях? Он подтвердил под пыткой, что все, сказанное им, правда, что он никогда не поклепал и ничего не утаил. Тогда пытали вновь его бывшего духовника и дали ему ровно столько же ударов, как и его царственному духовному сыну.

22 июня, после обеда, по царскому повелению приехал в крепость Толстой и взял с царевича показание, в котором излагались причины его непослушания отцу. По тону этого показания видно, что оно писано с голоса, требовавшего, чтоб писали именно так, как было написано. Царевич обвиняет себя в ханжестве, в "конверсации" с попами и чернецами, в неохоте к воинским делам, в том, за что постоянно сердился на него Петр. Язык показания совсем не обычный язык царевича, слишком известный по его письмам; и язык и склад речи — Петра. В конце царевич оговаривает императора, будто тот обещал ему вооруженную помощь: "И ежелиб до того дошло, и цезарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженною рукою доставить меня короны Российской, то-б я тогда, не жалея ничего, доступал наследства, а имянно: ежели бы цезарь за то пожелал войск Российских в помощь себе против какова нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то-б я все по его воле учинил, также и министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы достигать короны Российской, взял бы я на свое иждивение и одним словом сказать: ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю".

24 июня царевича повели на пытку; дали ему пятнадцать ударов. Он подтвердил прежние показания.

Тогда же дали 25 ударов Дубровскому, говорившему царевичу, что рязанский митрополит к нему добр, да и еще дали 9 ударов Якову Игнатъеву.

В этот же день, 24 июня, подписан был царевичу смертный приговор ста двадцатью членами суда.

25 июня Григорий Скорняков-Писарев ездил к царевичу допрашивать, что значат найденные в его бумагах выписки из Барония? Царевич сознался, что делал выписки "приличные на себя, отца и на других, чтоб видеть, что прежде было не так, как теперь делается", показывал их учителю Вяземскому, но не думал их рассеять в народе. Странно, что этот вопрос сделан был уже по окончании суда.

На другой день, 26 июня, съехались в восьмом часу утра в крепость царь с девятью сановниками (Меншиковым, Головкиным, Фед. Матв. Апраксиным, Мусиным-Пушкиным, Стрешневым, Толстым, Шафировым, Бутурлиным и Як. Фед. Долгоруковым). Учинен был застенок, т.е. пытка. В 11 часов они разъехались.

В тот же день, как записано в книгах гварнизонной канцелярии, пополудни в 6 часу царевич преставился. На другой день, 27 июня, была годовщина Полтавской битвы. Царь обедал на почтовом дворе в саду, вечером веселился. Тело его сына в 9 часу вечера вынесли в губернаторский дом.

На следующий день тело царевича перенесено было в церковь Троицы.

29 июня, в день царских именин, царь обедал в Летнем дворце, присутствовал на спуске корабля, а вечером был фейерверк и веселый пир до глубокой ночи. Тело царевича лежало у Троицы. Июня 30-го, вечером, в присутствии царя и царицы тело царевича было предано земле в Петропавловском соборе рядом с гробом покойной супруги его. Траура не было.

Царевич гнил в земле, а дело его еще продолжалось. 8 декабря были казнены смертью обвиненные его показаниями: духовник его Яков Игнатьев, дядя его Аврам Лопухин, камердинер его Иван Большой Афанасьев, Дубровский и Воронов. Других били кнутом и вырезали им ноздри.

Царь опубликовал о смерти царевича, что он, выслушавши смертный приговор, пришел в ужас, заболел болезнью вроде апоплексии, исповедовался, причастился, потребовал к себе отца, просил у него прощения и так скончался похристиански около 6 часов пополудни 26 июня. Этому описанию кончины царевича не все поверили; пошли слухи иного рода: что царевич умер насильственной смертью, но какую — говорили разно. Иностранцы, ловившие слухи, передавали за границу известия, будто царевич был опоен, будто ему отрубили голову и т.п. Одно бродившее по рукам и переписываемое, напоследок напечатанное (у Устрялова) письмо, составленное, как в нем сказано, Александром Румянцевым, описывает очень трагически, как Румянцев с Толстым и Бутурлиным, по царскому повелению, удушили царевича подушками; но достоверность этого письма едва ли может выдержать строгую историческую критику<sup>7</sup>.

В записной книге гварнизонной канцелярии не говорится, чтобы в застенке в присутствии царя и девяти сановников пытали именно царевича; правда, и под 19 и 24 июня, когда мы наверно знаем, что пытали царевича, также говорится теми же словами: "Учинен застенок"; но и после, когда уже царевича не было на свете, в той же записке встречается подобное известие о застенке в присутствии царя. Таким образом, известие о застенке 26 июня может относиться к царевичу, но может относиться и не к нему. И мы думаем, едва ли оно к нему относится. Зачем пытаться его, когда уже ему объявлен смертный приговор, когда его собственная судьба окончилась? Плейер, бывший тогда в Пе-

тербурге, не знавший, конечно, подробностей розысков, секретно производившихся в крепости, но следивший за ходом событий, говорит, что заметил, как в день смерти царевича ездил к нему в крепость высшее духовенство и Меншиков; тогда в крепость никого не пускали, а к вечеру ее заперли. Из записок, которые велись в доме Меншикова, видно, что Меншиков бывал у царевича и царевич был очень болен, а к вечеру скончался. Из записок с.-петербургской гварнизонной канцелярии мы, как выше сказали, узнаем, что в это утро царь, Меншиков и другие сановники были в крепости, где был учинен застенок для кого-то, а в шестом часу в тот же день царевич скончался. Если сообразить все эти обстоятельства, то невольно приходишь к догадке, что после объявления смертного приговора духовенство — как сообщает Плейер — приходило к царевичу для христианского приготовления его к смерти; царь с вельможами приходил к нему прощаться, как это значит в известии, сообщенном самим царем о кончине сына, а затем смертный приговор был исполнен неизвестно каким образом.

Почитатели Петра видели в поступке с сыном, безусловно, великий подвиг принесения в жертву отечеству своего родного сына. Другие видели здесь только дурную сторону. Г-н Погодин изобразил царевича до того сочувственно, что, читая статью о суде над царевичем, пожалеешь, отчего такой прекрасный человек не царствовал у нас вместо самого Петра!

Если на поступок Петра смотреть с той нравственной точки, которая не может измениться ни при каких условиях времени, то этот поступок не имеет оправдания. Верно то данному слову считалась всегда первую общественную добродетелью. Можно ли не назвать достойным порицания поступок Владимира Мономаха с половецкими князьями или императора Сигизмунда с Гусом на Констанцском соборе? Точно к такому же разряду относится

поступок Петра, давшего сыну свое родительское обещание не наказывать его, а потом предавшего его мукам и смерти. Петр переводился здесь в значительной степени своими родственными чувствами. Он не любил Алексея, сына ненавистной, отверженной им жены, и хотел доставить преемство престола потомству Екатерины; это видно из того, что Петр начал отдавать Алексею на выбор: либо исправиться, либо отречься, тогда уже, когда у Алексея родился сын; отец продолжал налегать на него настойчивее, когда родился сын у Екатерины. Если бы у Петра не было такого побуждения, то, отрешивши Алексея от наследства, он мог назначить, по праву первородства, своим наследником внука, который был так же мал, как и рожденный чрез несколько дней после внука сын Петра, Петр Петрович. Петр надеялся воспитать себе достойного преемника в сыне, но ведь то же мог он сделать с внуком. Чтобы оправдать свой поступок и придать ему законный вид, Петр установил закон, по которому царствующий государь, мимо всякого права рождения, может отдавать после себя престол по желанию. Несостоятельность и неудобоприменимость такого порядка вещей показались в истории самого Петра; ему пришлось умереть, не воспользовавшись изданным законом, не указавши после себя преемника себе.

Несмотря на все это, надобно сознаться, что для Петра, в его положении, представлялось выбирать что-либо одно: либо совершить жестокое дело, либо всю жизнь подвергаться страху заговоров и восстаний и быть всегда уверенным, что после его смерти наступят смуты и потрясения, которые могут окончиться истреблением его детей, его сотрудников, разрушением того государственного здания, над созданием которого он трудился всю жизнь.

Трагическая судьба Алексея Петровича оставляет в истории поучительный образчик того нравственного закона, по

которому содеянная несправедливость влечет за собою необходимость совершить другую, иногда же целый ряд несправедливостей. Важность зла бывает соразмерна кругу, на который простирается влияние совершающего несправедливость. Петр в молодости совершил несправедливое дело с женою, от которой имел сына, долженствовавшего быть наследником престола. По естественному человеческому свойству этот сын с детства получил враждебное чувство к отцу; чувство это развивалось оттого, что сам отец не любил сына; сначала оставлял его без надлежащего надзора и руководства, потом, покорясь необходимости существующей вещи, должен был признавать его тем, чем он был, т.е. единственным сыном и наследником; он хотел деспотическим и суровым обращением заставить его подражать ему и походить на него, но тем самым еще более утвердил в сыне то, что зародилось в детстве и получило первое развитие в отрочестве, т.е. вражду к отцу, а вместе с тем и вражду ко всему отцовскому направлению. Неизбежность рокового столкновения вытекает сама собой. Петр видит неспособность сына к престолу; он видит ее тем живее, что не любит этого сына; отцовское чувство не затмевает для него правды. В противоположность этой нелюбви к сыну Евдокии Петр любит Екатерину, любит ее детей, и тут-то, естественно, является у него мысль заменить нелюбимого сына другим, но, сохранивши, однако, по наружности, некоторого рода права. И вот Петр совершает еще одно несправедливое дело; он требует от сына невозможного — исправиться, быть не тем, чем сын был до тех пор; хочет перемены всего установившегося с детства существа своего сына, иначе грозит и отречением, и монастырем: "Я хуже, как с злодеем поступлю", — пишет он сыну. Сын боится уже не только насильственного пострижения, но и тайного убийства; сын чувствует, что он для отца лишний, что он ему мешает, что для отца всего приятнее

было бы, если б умер сын его. Что могло быть естественнее для царевича в его положении, как спастись заранее свою жизнь? Сын убегает за границу, но убегает не затем, чтобы сыскать себе мирное и тихое пристанище, не думает он посвятить себя жребию частного человека; он убегает с сознанием своих прав и заявляет об этих правах соседнему государю. Что тут делать Петру? Оставить сына за границей? Невозможно! Мало того, что Алексей после отцовской смерти немедленно явится в Россию за отцовскою короною, — всякий час, когда Алексей будет в чужих краях, он опасен для Петра. Та страна, где Алексей будет скрываться, будет иметь у себя такое пугало, посредством которого власти, управляющие эту страну, могут держать в покорности Петра и Россию; кроме того, враги и завистники России могут воспользоваться этим сыном для своих видов, а сын делается их покорным орудием. Если б этот сын, убежавши из России, заявил пред целым светом, что желает проживать частным человеком, тогда иное дело; но Алексей этого не сделал; явившись к Шенборну, он первое слово пред ним произнес о том, что отец лишает его наследства, которое ему, царевичу, принадлежит по указанию самого Бога. Как же Петру оставить в покое такого претендента? Петр выманил его из-за границы родительским милостивым словом; Петр дал обещание, что, когда сын явится в отечество, ему не будет никакого наказания. Беглец поверил обещанию и воротился.

Что тогда делать Петру? Исполнить данное слово?

Но Алексей раз уже отрекся от наследства поневоле, а потом пред двором иноземного государя заявил о своих правах; отсюда логически вытекало, что и в другой раз, отрекшись от наследства

так же поневоле, при удобном случае Алексей сделает то же. Прощенный враг все-таки останется врагом, если в нем останутся убеждения, которые сделали его врагом: он не будет показывать своей вражды только до тех пор, пока это невозможно. Положение Алексея было не таково, чтобы Петр мог для него сделать невозможным когда-нибудь заявить свои права; сторонников, готовых поддержать эти права, нашлось бы всегда много на Руси.

Если допустить, что Алексей, под страхом допросов, наговорил на себя лишнее относительно своей готовности пристать к мятежному войску и идти с оружием против отца, то все-таки несомненно то, что, притворившись прежде пред отцом в готовности отречься от наследства, Алексей не думал от этого наследства отречься и при первом удобном случае предъявил бы свои права в ущерб видам и планам своего отца.

Петру оставалось совершить еще несправедливость — нарушить данное слово! И Петр решился на эту несправедливость.

Но следует ли особенно чернить и порицать Петра?

Вся история государств от начала мира преисполнена неправдами: одна другую порождала; одною хотели исправить другую и через то, невольно спасая самих себя, совершали третью, четвертую и т.д., а совершая их, были уверены в том, что они необходимы, и старались уверить других, что так следует по законам правосудия. Так делалось издавна, всегда, повсюду. "Всяк человек ложь", — сказал некогда Псалмопевец, и Великий Петр недаром повторил эту истину в одном из своих писем к царевичу Алексею.

## Самодержавный отрок

После трагической кончины царевича Алексея Петровича осталось двое сирот его — дочь Наталья и сын Петр. По принятому в Русской земле предпочтению мужского пола пред женским, великий князь Петр Алексеевич, хотя и моложе сестры своей, с детства должен был считаться законным наследником престола. Петр Великий понимал, что такое право будут признавать за этим младенцем (великий князь Петр Алексеевич родился 12 октября 1715 года), однако сам не желал, чтобы внук воспользовался этим правом. Отвращение к сыну, рожденному от ненавистной Евдокии Лопухиной, в душе царя переходило и на потомство этого несчастного сына. Петру хотелось доставить престол потомству своей любимой Катеринушки. Петр объявил своим преемником рожденного от ней сына Петра Петровича, носившего на семейном языке родителей и нянек название "шишечки". Но не сбылись надежды государя: его "дорогой шишечка" умер, не достигши даже отроческих лет. Чрезвычайно скорбел о нем родитель, но не перенес своей привязанности на внука, хотя, как рассказывают, в минуты досады склонялся иногда к мысли признать право внука. Однако он ни разу гласно не заявил этой мысли. Напротив, в 1722 году он обязал своих подданных присягой заранее повиноваться тому неизвестному лицу, кого царю угодно будет после себя объявить своим преемником. Русь дала такую странную присягу, потому что Русь привыкла исполнять без сопротивления все, что прикажут сверху, но Русь не переставала признавать по праву наследника престола законного сына царевича Алексея.

Маленький Петр лишился матери тогда еще, когда не в силах был знать ее. Кронпринцесса Шарлотта оставила его вместе с его сестрой под надзором няньки, или гофмейстерши Роо, родом немки. Когда царевичу Петру было три года

от роду, он в своих детских забавах выказывал любознательность, подававшую утешительные надежды: он пожелал, чтоб ему сделали батарею с пушками, из которых сам палил; он также упражнялся в стрельбе из маленького ружья (Weber, III, 92). Потом надзирателями за ним были женщины "неважной кондиции", одна — вдова портного, другая — вдова какого-то трактирщика, а танцмейстер Норман учил его чтению и письму и сообщал первоначальные сведения о морском деле, так как сам служил прежде во флоте. В 1719 году, следовательно, тотчас после смерти его родителя, был к нему назначен воспитателем, или дядькой, некто Маврин, бывший при дворе пажом, потом носивший звание камер-юнкера, а в 1723 году был у Петра учителем венгерец Зейкин. Как мало обращал внимания на воспитание внука Петр Великий, показывает то, что, когда какой-то наставник великого князя Петра Алексеевича с восторгом говорил царю об успехах своего питомца и убеждал царя лично пожаловать на экзамен, государь не исполнил его приглашения. По известиям прусского посланника Мардефельда, бывшего в России в конце царствования Петра Великого и в последующие за смертью его годы (Сборн. Р. Ист. Общ. XV, 241—242), Петр умышленно не заботился о воспитании внука, давая тем ясно понять, что не хочет, чтоб этот ребенок взошел когда-нибудь на престол. В последние два года Петрова царствования общее мнение в России было таково, что царь, любя более всех в своей семье великую княжну Анну Петровну, для нее готовил преемство престола; брак с этой великой княжной был важным по своим последствиям событием, потому что должен был установить вопрос о преемничестве, и будущий муж Анны Петровны мог открыть для России новую царственную династию. В Петербурге думали, что наследники всех европейских престолов станут добиваться руки дочери царя Петра. Были предложения от имени наследного испан-



ского принца, от имени прусского наследного принца, от имени герцога шартрского, но всех более посчастливилось голштинскому герцогу, родному племяннику короля Карла XII, претендовавшему, не без основания, на шведскую корону после дяди. Этому принцу посчастливилось оттого, что он несколько лет сряду в качестве изгнанника, ищущего покровительства своим правам, проживал в России и мог лично сойтись с великою княжною. Притом ему покровительствовала и любила его Екатерина, и это, как уверяет прусский посланник, происходило у последней небескорыстно: она хотела выдать дочь поскорее замуж, чтобы, в случае смерти мужа, самой сделаться царицей и не иметь соперницы в дочери, которую могли возвести, зная особую любовь к ней родителя. Предпочтение, которое оказывал Анне Петровне царь Петр, совпадало с характером, душевными свойствами и сочувствиями великой княжны. Это была особа умная, любившая заниматься серьезными предметами, очень любознательная, не терпевшая русских обычаев и склонная к усвоению всего иностранного. Такая была по сердцу Петру, хотя бы и не была его дочерью. Совершенную противоположность должен был представлять великий князь Петр. Собственно личность его не могла еще ясно выразиться, но, будучи еще младенцем, он уже лелеял надежды и желания приверженцев старины, сторонников чисто русского направления, а к таким принадлежали и многие боярские фамилии, и большая масса русского народа. В то время какие-нибудь тридцать лет реформаторской Петровой деятельности не успели образовать ту бездну, которая впоследствии выработалась временем между высшими слоями русского общества и черным народом. Число понемеченных русских все-таки не превышало массы тех, что продолжали всем существом своим тянуться к заветной старине, и у многих под европейскими кафтанам и андреевскими звездами

билося сердце с теми ощущениями, какие слышались в сердце каждого русского простолюдина. Маленький великий князь Петр был сын царевича Алексея, которого сам отец последнего, царь Петр, выставлял сторонником старых русских обычаев и противником отцовских преобразований. За этого Алексея была в оное время вся русская старина; Алексея не стало; старолюбцы оплакивали его, своего вожака, свою надежду; но у Алексея был сын; он, этот сын, еще был малолетен, но со временем вырастет и станет заступником старолюбцев, следуя по стопам своего несчастного родителя. Этот малолеток делался заранее знаменем старолюбцев, каким был для них некогда царевич Алексей Петрович. Петр Великий не любил его и не заботился о его воспитании: тем лучше, значит, Алексеев сын не будет испорчен в детстве, и выйдет из него чистый русский, какого старолюбцам и нужно было! А между тем современники, видевшие этого ребенка, говорили в один голос, что он кроткого нрава, доброго сердца, весь в мать, которая хотя немка, но была святой жизни женщина, а красота этого ребенка просто ангельская. А к сестре своей какую чрезвычайную любовь и нежную дружбу питает... прелесть, что за мальчик!

И этого-то мальчика не любил дедушка, не любил, между прочим, оттого, что слишком был сам умен и знал человеческую природу: он понимал, что внук его не забудет судьбы своего родителя и станет ему все то милым, за что потерпел его родитель. Трагическая смерть царевича Алексея произвела всеобщую скорбь: проявлять ее гласно не смели русские люди, но в глубину сердец их не могли проникнуть происки никаких тайных канцелярий и преображенских приказов. Даже большая часть подписавших приговор над Алексеем сделала это из страха. Понятно, что, за исключением немногих, вроде Толстого и Румянцева, показавших лично злобу к царевичу, все готовы

были обратить симпатии свои к царевичеву сыну. Царствование Петра Великого для всех было не легким; многие не прочь были видеть царя с направлением, обратным Петрову, а такого направления ожидать могли именно от сына царевича Алексея. Притом многовековая привычка видеть на престоле прямых наследников по крови бывших государей так укоренилась в русском народе, что никакие новые указы не в силах были истребить ее скоро: русские привыкли уже считать от самого Бога установленным правилом, что сыновья наследуют после отцов. Наследником Петра Великого был сын его Алексей. Не стало Алексея, но был у Алексея сын — стало быть, этот сын должен быть наследником русского престола. Так смотрела вся Русь вопреки требованиям царя признать в свое время того, кого он пожелает наименовать преемником после себя. Впрочем, царь Петр до самой своей кончины не показал даже никаких намеков, кого бы он желал видеть своим преемником. Он требовал, чтобы все с покорностью дожидались того часа, когда ему угодно будет объявить об этом, и не терпел, когда дерзали его об этом спрашивать. Рассказывают, что он не на шутку рассердился на Феофана Прокоповича, который, видя, что Петр оказывает особое расположение к своему будущему зятю, голштинскому герцогу, и думая угодить царю, стал хвалить этого герцога и делать намеки, что этот будущий супруг великой княжны мог бы с достоинством занять русский престол.

Когда Петр короновал жену свою Екатерину, тогда многие видели в этом поступке желание сделать ее после себя преемницей на престоле. Не станем безусловно доверять сказанию Феофана Прокоповича, будто накануне коронации Екатерины Петр говорил о причинах, побуждающих его к этому поступку: что он после себя хочет предоставить ей престол. Конечно, Феофан, сообщая это известие уже после кончины царя, мог так

говорить в угоду Екатерине; но то несомненно, что эта коронация была единственным фактическим доводом желания Петра, чтобы его жена после него вступила на царство, и, правду сказать, иным ничем, кроме такого желания, нельзя было объяснить этого поступка царя. Россия верила, что у Петра было это желание, и эта вера утверждала право Екатерины в то время, когда она царствовала. Ей повиновались, считали, что она взшла на престол по воле покойного государя, но ее не любили и не хотели, чтоб она господствовала или, что все равно, чтоб сильные земли господствовали ее именем. Еще никогда на Руси не была возводима на престол женщина и не предоставлялось ей права царствовать самобытно без мужчин. Такая новизна порождала соблазн. Чувство законности, вытекающей не из постановлений, изданных таким-то государем в такое-то время, а из естественного порядка и нравственных понятий, освященных веками, влекло сердце русских к великому князю, сыну несчастного царевича Алексея. На сторону этого отрока склонялась и масса простого русского народа и духовенства, и люди родовитые, князья, потомки древних Рюриковичей и Гедиминовичей: Голицыны, Репнины, Трубецкие, Долгоруковы, и вновь поднявшиеся в одну версту со старинными родами: Головкины, Нарышкины, Салтыковы. Кроме чувства законности, которое родовитые особы разделяли со всей массой русского народа, их лелеяла мысль об ограничении самодержавной власти, а органом этого ограничения могли быть именно они в качестве высшего класса нации. Познакомившись по воле покойного государя с западноевропейскими порядками, они узнали, что во многих западных странах верховная власть не пользуется таким неограниченным произволом, как в России, и, прельщаясь этим, желали, чтоб и в своем отечестве явилось то же. Сам Петр заимствовал коллегияльное устройство из Швеции; неудивительно,

что туда направились и пожелания родовитых русских людей: узнали они, что именно в Швеции государственный совет так много значит, что ставит преграды верховной королевской власти; то же русским вельможам хотелось завестись и у себя; и, естественно, возникли надежды, что всего успешнее это могло осуществиться и пустить первые ростки во время малолетства государя, когда по необходимости вместо него должны будут управлять делами государства его вельможи. Еще во время кончины Петра Великого, если верить Бассевичу (Р. Арх. 1865, стр. 621), в Петербурге составлялся заговор с целью заключить Екатерину вместе с ее дочерьми в монастырь, возвести на престол великого князя Петра и восстановить старые порядки, все еще дорогие не только простому народу, но и большей части вельмож. У заговорщиков была надежда на армию, находившуюся в Украине и состоявшую под командой князя Михаила Голицына. Но, к счастью для Екатерины, узнал об этом впопугу Меншиков. Нет нужды повторять здесь обстоятельство, при которых провозглашена была Екатерина; столько же добродушная, как и умная от природы, Екатерина не стала преследовать заговорщиков — это значило бы идти против общественного мнения, которое тогда было за право великого князя Петра Алексеевича. Впрочем, наиболее видные и влиятельные сторонники последнего были фактически понижены в царствование вдовы Петра Великого. У Репнина отнял власть Меншиков; канцлер Головкин, при избрании Екатерины заявивший, что не худо было бы услышать об этом голос народа, должен был замолчать, Василий Лукич Долгоруков удален был в Варшаву послом, а Остерман, постоянно державшийся стороны великого князя, вовремя успел притвориться больным и через то впоследствии поставил себя так, что во все царствование Екатерины продолжал оставаться у дел. Сделавшись самодержавной государыней,

Екатерина постоянно оказывала знаки любви и внимания великому князю, и это помогло тому, что ее короткое царствование прошло без важных потрясений. Его особа как внука Петра и сына того, кто стал для многих народным мучеником, была священна, и чем более он возрастал, тем сильнее сердца обращались к нему. Это-то главным образом произвело крутой поворот в направлении Меншикова, который из противника вдруг стал приверженцем малолетнего великого князя. Будучи некогда одним из виновников гибели царевича Алексея, Меншиков, естественно, должен был страшиться, что сын этого царевича Алексея, вступивши в возраст, не помянет добром гонителей родителя его, а Меншикова тем более, когда узнает, что и после Петра Великого Меншиков действовал против тех, которые готовы были заступиться за права законного наследника престола. Между тем уже делалось очевидным, что, сколько бы Меншиков ни старался, все его усилия будут напрасны: Петр станет государем мимо воли Меншикова, и Меншиков будет одной из первых жертв его, и защитить его некому тогда будет. Это делалось явным для Меншикова тогда, когда, добиваясь Курляндского герцогства, он увидал, что Екатерина не помогает его честолюбивым видам настолько, насколько бы ему хотелось. На Екатерину все более и более имел влияние голштинский герцог, зять государыни; этот герцог не любил Меншикова, да и Меншиков не любил герцога. Не без этого влияния произошло и то, что по курляндскому вопросу о поступках Меншикова поручено было произвести дознание заклятому врагу Меншикова Девиеру\*. Императрица, зная неприязненные их отношения между собой, во все свое царствование благоволила к Девиеру и теперь хотела явно показать светлейшему князю, что не намерена состоять у него в покорности. В то

\* Девиеру.

время, как Меншиков находился в Курляндии, голштинский герцог провел в Верховном тайном совете постановление, чтоб никакой указ не был издаваем без подписи государыни или Верховного совета. Во всех делах Меншиков видел и чувствовал, что герцог вредит ему, опасается его и строит против него ковы. Хотя наружное согласие не прерывалось между обоими соперниками, но оба они знали, что один другому не друг. А между тем Меншиков, придерживаясь строго партии императрицы и дочерей ее, против прав великого князя Петра, должен будет работать для своего врага, голштинского герцога: ведь может же быть объявлена наследницей старшая дочь Екатерины, жена голштинского герцога! Даже если предположить, что не Анна, а другая дочь, Елисавета, будет объявлена преемницей Екатерины на престоле, для Меншикова все-таки не много от того верной надежды. Елисавета могла выйти замуж за какого-нибудь иноземного принца, и с ней вместе на русский престол воссел бы иноземец, и для этого-то иноземца Меншиков будет прокладывать дорогу! Иное дело, когда бы у Екатерины был сын, тогда Меншиков едва ли бы стал долго колебаться между сыном Екатерины и сыном царевича Алексея и, конечно, принял бы сторону первого, и держался бы ее крепко. Но теперь представлялось выбирать: или пристать к стороне великого князя Петра, от которого можно было опасаться мести за родителя, или же стоять за дочерей Екатерины и трудиться либо для своего врага — голштинского герцога, либо кто знает для кого в особе будущего мужа Елисаветы. Такой вопрос путем здравого размышления приводил Меншикова на сторону великого князя. Светлейший видел и знал, что народ станет за Петра, и потому все усилия Меншикова в пользу дочерей Екатерины могут оказаться напрасны и гибельны для него самого. А великий князь был так силен в народном сочувствии к нему, что если бы Меншикову

удалось объявить одну из дочерей Екатерины ее преемницей, если бы даже принесена была на верность новой государыне присяга, и тогда великий князь Петр Алексеевич без партии бы не остался. Его положение походило на положение его родителя в то время, когда Петр Великий хотел ограничиться тем, чтоб заставить его отречься от своих прав на престолонаследие в пользу брата. Сам же великий государь пришел скоро к тому убеждению, что это было бы напрасно: цель этим путем не была бы достигнута. Алексея непременно вытянули бы из бездействия и заставили сделаться если не вожак, то значком партии, противной Петру и его преобразованиям. Точно так теперь, при государыне Екатерине, было то же с сыном царевича Алексея. Около этого малолетнего великого князя группировалась партия, которая брала себе мальчика за значок. Разные побуждения завлекали русских в эту партию: одни видели в этом отроке воскресителя старины, других привлекало к нему чувство законности или виды на ограничение самодержавия, как мы заметили выше, а некоторые имели в виду собственные выгоды и возвышение, как всегда бывает при переменах. Как ни разнообразны могли быть побуждения, привлекавшие к царственному отроку, все-таки в результате выходило, что у Петра готово было явиться так много сторонников, что отважиться на борьбу с ними было бы дело чересчур рискованное и опасное. Это знал Меншиков, и не мог он этого не знать, после того как в Тайную канцелярию к генерал-майору Ушакову чуть не каждый день привозили провинившихся в том, что предпочитали права на престол великого князя Петра Алексеевича правам императрицы Екатерины Алексеевны; а у некоторых духовных лиц уважение к великому князю доходило до того, что они не страшились поминать его имя на ектеньях в богослужении как законного наследника престола.

Соображая все это, Меншиков пришел к мысли из противника сделаться сторонником и защитником прав великого князя Петра Алексеевича. К этому настроил его цесарский посланник Рабутин. В интересах римского императора естественно было тогда домогаться, чтобы после императрицы Екатерины был объявлен наследником великий князь Петр Алексеевич, свойственник императора Карла VI, сын сестры императрицы. Кроме этих родственных связей, много пользы надеялось извлечь для себя имперское правительство от вступления на русский престол этого отрока. Рабутин первый подал Меншикову мысль перейти на сторону Петра и тем угодить императору. Заодно с Рабутином действовал на Меншикова датский посланник Вестфален, который, в видах своего правительства, хотел не допустить голштинского герцога до престолонаследия в России. Но, чтоб обезопасить себя от мести со стороны великого князя за родителя, Меншиков, также следуя совету Рабутина, положил женить наследника русского престола на своей дочери. Таким образом, когда этот наследник станет императором, сколько бы ни старались озлобить его против врагов его родителя, чувство мести к Меншикову сталкивалось бы в нем с чувством уважения к своему тестю. Но Меншикову оказывалось нужным заранее оградить себя по этому поводу. Иначе великий князь мог дать обещание жениться на дочери Меншикова, а потом отречься от такого обещания. Меншикову казалось, что для предупреждения такого несчастья полезно будет устроить это дело теперь, пока жива Екатерина. Обвенчать великого князя с княжностью Меншиковой теперь же было невозможно: великий князь не достиг совершеннолетия. Но можно было связать его на будущее время волею императрицы-бабушки. Сама судьба, или стечение обстоятельств, помогли в этом Меншикову. Екатерина очутилась как бы в долгу сделать для Меншикова угодное.

Сын польского выходца Сапеги, получившего в России звание фельдмаршала, прекрасный молодой человек, пленявший взоры и сердца красавиц петербургского высшего общества, возмел было желание сочетаться браком с княжной Меншиковой, но потом, по старанию Екатерины, вознамерился жениться на племяннице императрицы, Скавронской. Это обстоятельство подало Меншикову смелость просить государыню в замену отнятого у его дочери жениха благоволить дать ей другого, дозволить жениться на ней великому князю. Императрица в это время была уже больна и ослабела духом. Она на все согласилась. Узнали об этом ее дочери и противники Меншикова, на челе которых очутился тогда Толстой, бывший недавно еще его другом. Они соображали, что из этого может последовать такое возвышение временщика, которое для них всех будет небезопасно; они просили Екатерину не допускать до этого. Императрица говорила им в утешение, что данное Меншикову соизволение на брак великого князя с его дочерью не решает вопроса о престолонаследии. Вслед за тем Меншиков подсунил большую государыне завещание, по которому престол назначался великому князю Петру, а двум дочерям императрицы давалось по 300 000 рублей на приданое, по 100 000 рублей каждой в год до совершеннолетия будущего государя и по одному миллиону каждой одновременно, да вдобавок все туалетные украшения и все столовое серебро и золото; а местности и земли, составлявшие частную собственность государыни, предоставлялись ее родственникам Скавронским. В завещании своем императрица поручала великому князю жениться на Меншиковой, а дочери Елисавете выйти замуж за епископа любского, двоюродного брата голштинского герцога. Управление государством до совершеннолетия Петра поручалось администрации, состоящей из двух цесаревен, голштинского герцога и прочих членов Верховного

тайного совета в числе девяти особ, между которыми дела решаться должны по большинству голосов. Великий князь, достигший совершеннолетия, не должен требовать отчета от администрации. Россия обязывалась содействовать голштинскому герцогу получить Шлезвиг и шведскую корону. Цесаревнам предоставляется свободный выезд за границу, но для герцога голштинского надлежит купить от казны дом в Петербурге. Права потомству цесаревен по старшинству их между собой предоставляются только тогда, когда бы не осталось потомства от великого князя. Это завещание уничтожало указ Петра Великого о назначении наследника от произвола царствующего лица и возвращало права великому князю по его происхождению.

Завещание вскрыто было на другой день по кончине императрицы, 7 мая 1727 года. Что Меншиков распорядился волей находившейся в предсмертном томлении государыни, это понятно, но решить невозможно, в какой степени и по каким побуждениям согласиться должны были на все цесаревны. Девьер и другие товарищи были осуждены именем императрицы в день ее кончины и затем посланы.

На другой день после смерти Екатерины, в пять часов утра, созвана была гвардия, состоявшая тогда из двух полков, Преображенского и Семеновского; она была расставлена у окон дворца. В дворцовую залу, где собирался обыкновенно Верховный тайный совет, созвали весь генералитет, знатнейших духовных сановников, знатное шляхетство, всего было до трехсот человек. Будущего императора посадили на высоком месте. Меншиков приказал распечатать и громко прочитать завещание императрицы Екатерины. Все единогласно закричали: виват! Все присутствовавшие двинулись в церковь. По совершении литургии опять все отправились в залу. Молодой царь сел на возвышении под балдахинном на кресле; по правую сторону от него

сидели на стульях цесаревна Анна с своим супругом, великая княжна Наталья Алексеевна, сестра нового государя, и великий адмирал Апраксин, по левую — также на стульях сидели цесаревна Елисавета, Меншиков, канцлер Головкин и князь Дмитрий Михайлович Голицын. Остерман стоял подле императорского кресла. Снова прочли завещание и решили записать его в протокол.

Тут фельдмаршал Сапега заметил, что он не отходил от постели умиравшей государыни и никакого завещания не видал, и ничего от нее о таком завещании не слышал. Но на это замечание не обращено было внимания, и самому завещанию по вопросу о возведении на престол Петра не придавали значения. Завещание имело важность по отношению к цесаревнам и родственникам императрицы. Что касается престолонаследия, то без всяких завещаний Русская земля давно уже признала права Петрова внука.

Одиннадцатилетний император в этот же день произнес несколько пожалований: между прочими Меншиков возведен был из вице-адмиралов в адмиралы, а сын его, Александр, сделан обер-камергером.

Трудно было желать более полного единодушия, чем то, какое сопровождало восшествие на престол Петра II. Все радовались, что отменился нелепый и опасный закон, навязанный России Петром Великим, закон, предоставлявший царствующему государю назначать себе преемника, не руководствуясь никакими соображениями о первородстве. Теперь восстанавлилось укоренившееся в народном сознании понятие о том, что государь получают свои права не от человеческих умыслов, а от непостижимой воли самого Бога. Петр II вступал по праву первородства, без возражений, без объяснений; все были довольны.

Много было надежд на хорошее царствование. О молодом государе говорили, что он очень добр и любит справедливость, а о его воспитании будет приложено

старание со стороны умных людей. Рассказывали, что на другой день после своего возведения на царство он написал к своей сестре Наталье письмецо такого содержания:

”Богу угодно было призвать меня на престол в юных летах. Моею первою заботою будет приобрести славу доброго государя. Хочу управлять богобоязненно и справедливо. Желая оказывать покровительство бедным, облегчать всех страждущих, выслушивать невинно преследуемых, когда они станут прибегать ко мне, и, по примеру римского императора Веспасиана, никого не отпускать от себя с печальным лицом”.

Эти слова, написанные в этот день на письме, были произнесены государем в заседании Верховного тайного совета 21 июня.

Такие поселяющие надежду известия разносились о новом государе. Приверженцы старины были очень довольны восшествием на престол сына царевича Алексея и пророчили возвращение для России всего, что к их досаде было изломано, уничтожено Петром Великим. Но не унывали тогда и сторонники петровских преобразований, так как во главе руководящего управления государством на время малолетства государя был Меншиков, любимый сподвижник Петра, а воспитателем царствующего отрока был назначен Остерман, умный иноземец, умевший обрусеть в России. Приводя программу воспитания малолетнего государя, Вебер (*Verändert. Russl.*, III, 93) говорит, что можно утвердиться в Пифагоровом учении о переселении душ, глядя как гений Петра Великого переходил в государственных людей его века.

Меншиков начал с того, что послал известить страдавшую в заточении в Шлиссельбурге бабу императора, первую супругу Петра Великого, Евдокию Лопухину, постриженную насильно под именем инокини Елены. После несчастного процесса над ее сыном, царевичем Алексеем, привлеченная к этому процессу,

всенародно ошельмованная опубликованием ее связи с Глебовым, несчастная узница отправлена была в Ладожский монастырь на строжайшее заключение, но потом переведена была в Шлиссельбург. По известию иностранцев, от нее отнята была прислуга, оставлена была только одна карлица, которая для нее была бесполезна, и бывшая царица должна была сама себе мыть белье и подметать свою комнату. Никто к ней не допускался, и даже те офицеры и солдаты, которые стояли на карауле, были обыскиваемы в предупреждение, чтоб кто-нибудь из них не приносил какого-нибудь письмеца к царице или от нее не принимал к кому-нибудь. Говорят, будто такое стеснение постигло ее особенно по злобе императрицы Екатерины, но, чтоб обвинить последнюю в такой жестокости, мы не имеем никаких оснований, кроме известий, сообщаемых иностранными книгами, а их составители писали по слухам, не будучи сами близки к делу (*Neu. Miscellanen*. 179, 180).

Теперь эта несчастная страдалница вдруг узнала, что внук ее достиг престола. Меншиков, извещая ее об этом, именем ее царствующего внука, просил ее благословения внуку на брак его с княжною Меншиковою. Вместе с тем вывели ее из запертой тюрьмы, перевели в просторные комнаты, прислали ей белья, платья, прислугу, столовые приборы, дали обстановку, более приличную для бабки государя императора.

Чтоб держать в руках несовершеннолетнего государя, Меншиков перевел его из дворца в свой дом на Васильевском острове. Предлогом к такому переселению послужило то, что неприятно было оставаться в том дворце, где так недавно скончалась императрица и где еще лежало ее непогребенное тело. Меншиков уступил для государя половину своих просторных палат и, сверх того, еще домик в своем саду, примыкавшем к палатам. Государь очутился как будто в плену у Меншикова, так что ни с кем он

не мог ни видаться, ни беседовать. Остерман, с титулом обер-гофмейстера при особе императора, занимался обучением его. Прежние воспитатели Петра, Маврин и Зейкин, были отдалены. Маврин был заподозрен Меншиковым в участии в заговоре с Девиером и отправлен в Тобольск в почетную ссылку под предлогом поручений по службе. После был удален от воспитательства и Зейкин, а чрез несколько времени отпущен на свою родину в Венгрию.

Двенадцатого мая одиннадцатилетний император, помещенный в доме Меншикова, вошел в отделение, оставленное князем для себя с семейством. Он застал там у князя нескольких вельмож. "Я сегодня хочу уничтожить фельд-маршала", — сказал он. Все, стоявшие тут, переглянулись между собой, не понимая, в чем дело. Тогда Петр подал Меншикову бумагу: это был подписанный рукой государя патент на чин генералиссимуса. Напрасно домогался этого чина при Екатерине зять ее, герцог голштинский.

Через четыре дня после этого производства Меншикова в генералиссимусы, 16 мая, совершилось погребение императрицы обычным образом в Петропавловском соборе, а 22-го числа того же месяца совершилось другое событие, которое должно было укрепить могущество Меншикова. Члены Верховного тайного совета приехали к Меншикову в дом: Меншиков предложил на обсуждение вопрос об исполнении воли покойной императрицы, благословлявшей своего наследника и внука императора Петра вступить в брак с княжною Меншиковою. Все члены Верховного тайного совета без возражений согласились и составили протокол. Воля императрицы в ее завещании была выражена так ясно и положительно, что спора об этом не могло быть допущено. Тайный советник Степанов отвозил составленный протокол в Екатерингоф для подписи голштинскому герцогу и двум цесаревнам. Они все

находились тогда в Екатерингофе и держали карантин по поводу распространившейся в Петербурге эпидемической оспы, от которой умер жених принцессы Елисаветы, епископ любянский. И они все трое подписали протокол: никакое противоречия невозможно было поставить.

В четверг 24 мая совершилось обручение молодого царя с княжною Мариею Александровною. Обряд совершен был архиепископом Феофаном Прокоповичем. После обряда все присутствовавшие стали приносить новообрученным поздравления, сделалась большая давка, все целовали государю руку, а государь целовал поздравлявших в уста и, по обычаю того времени, подносил своими руками в кубках венгерское вино. Прежний жених теперешней царской невесты Сапега был здесь же и оказывал Меншикову знаки уважения и любезности. Мария Александровна в качестве царской невесты тогда же получила титул высочества, ей назначен был особый штат и содержание в 34 000 р. в год. На все согласились члены Верховного тайного совета в угоду могучего Меншикова. Но царь был отрок и не показал при этом важном событии в своей жизни той нежности, какую можно было бы требовать от жениха к невесте. По окончании обряда своего обручения он уехал в Петергоф на охоту.

Царский воспитатель, барон Андрей Иванович Остерман, принадлежал к числу редких по уму людей, обладающих притом изумительным житейским тактом. Вестфалец родом, чуждый России по происхождению, по воспитанию и по симпатиям, которые привлекали его как немца к немецкой народности, этот иноземец более всех других иноземцев, привлеченных в Россию Петром Великим, понял, что, поселившись в чужой стране, надобно посвятить себя совершенно новому отечеству и сжиться с духом, нравами, особенностями того общества, среди которого будет течь новая жизнь. Остерман был по происхождению



незначительный человек: он был не более как сын пастора. Поступивши студентом в Йенский университет, он не окончил там курса по причине несчастного случая: в буйной студенческой пирушке, подпивши с товарищами, он поссорился с одним студентом, вышел на дуэль и проколол шпагой своего соперника. После того уже нельзя было ему оставаться в университете. Он уехал в Голландию и там, в Амстердаме, встретился с русским вице-адмиралом Крюсом, который по поручению Петра Великого вербовал в Россию на службу разных полезных и сведущих людей. Остерман поступил к нему как частный человек. Это было для него тем удобнее, что старший брат Остермана находился уже в России на царской службе. Время поступления меньшего Остермана к Крюсу было в первых месяцах 1704 года. От частной службы у Крюса Остерман скоро перешел в государственную и занялся изучением русского языка. В этом он не был похож на большую часть тогдашних иноземцев, искавших счастья в России: они обыкновенно смотрели на Русь и на русский язык свысока, считали себя просветителями и благодетелями варварской страны, в которую переселялись, и не признавали нужным знать по-русски: русские-де, как варвары, обязаны учиться речи образованных народов, а не люди образованные их варварскому, дикому языку. Так смотрело большинство иноземцев; не так взглянул на это Остерман. Как только поселился он в России, тотчас принялся за русский язык и при своих блестящих способностях в течение двух лет усвоил его себе так, как только мог усвоить в те времена прилежно старательный иноземец. Нужна была Петру о каком-то предмете записка, и ему подали ее написанной по-русски в таком виде, что она очень понравилась государю. Он спросил, кто ее составлял, и узнал, что автор ее иностранец, всего не более двух лет живущий в России. Петр умел с первого раза оценивать людей и

взял составителя записки в свою канцелярию. Через несколько времени он уже поверял ему важные секретные государственные бумаги. "Никогда ни в чем этот человек не сделал погрешности", — говорил о нем Петр впоследствии. "Я поручал ему писать к иностранным дворам и к моим министрам, состоявшим при чужих дворах, отношения по-немецки, по-французски, по-латини; он всегда подавал мне черновые отпуски по-русски, чтоб я мог видеть, хорошо ли понял он мои мысли. Я никогда не заметил в его работах ни малейшего недостатка". В 1711 году во время несчастного Прутского дела Остерман принимал немаловажное участие, но деятельность его во всей широте проявилась во время переговоров со Швецией, тянувшихся с 1718 по 1721 год; хотя он числился там вторым лицом подле генерал-фельдцейхмейстера Брюса, но был душой всего дела, состоя в звании тайного советника. При Ништадтском мире Россия осталась навсегда обязанною Остерману удержанием Выборга. Петру хотелось удержать за собой этот город, но русский царь, утомленный продолжительной войной, еще более нуждался в мире и потому предписывал Остерману не упорствовать чересчур из-за Выборга и уступить его шведам, если они будут угрожать прерыванием переговоров. Остерман хотел во что бы то ни стало сохранить для России этот город, между тем участвовавший вместе с ним Ягужинский был того мнения, что Выборг следует уступить, и собирался ехать к государю для взятия от него решительного повеления об отдаче Выборга. Остерман сговорился с комендантом в Выборге, генералом Шуваловым, и упрямил его задержать у себя Ягужинского во время отправки его к государю, а между тем он постарается настоять на уступке Выборга России. Так и сделалось. Шувалов начал угощать Ягужинского, вообще склонного к пиршествам, продержал два дня в Выборге, а Остерман успел добиться своей цели: швед-

ские уполномоченные, желая также скорейшего мира с Россиею, согласились в это время на уступку Выборга: если б этого не сделал Остерман, Ягужинский, представивши государю о необходимости ради примирения сделать шведам уступку, лишил бы таким образом Россию этого важного города. В эту эпоху Ништадтского мира Остерман показал царю свою заботливость о сохранении казенного интереса: государь дал ему сто тысяч червонцев на подкуп шведских уполномоченных. Остерман употребил всего десять тысяч, а девяносто тысяч возвратил обратно казне. Это было очень по сердцу Петру, который всегда берег государственное достояние и строго наказывал казнокрадов. После Ништадтского мира Петр пожаловал Остермана титулом барона, а в 1723 году, после низложения Шафирова, дал ему должность вице-канцлера. Незадолго до своей смерти Петр отзывался о нем, что этот человек лучше всех постигает истинные выгоды Русского государства, и Россия без него не может обходиться. При Екатерине Остерман продолжал занимать должность вице-канцлера, произведен был в действительные тайные советники и украшен орденом св. Андрея Первозванного. При своей важной вице-канцлерской должности он заведовал почтовым ведомством и торговлею, а пред концом царствования Екатерины назначен был воспитателем великого князя Петра Алексеевича и его обер-гофмейстером, с сохранением прежних должностей и своего места в Верховном тайном совете. Этот человек, при необыкновенном природном уме, владел большой начитанностью и высоким разносторонним образованием, которое он успел получить сам, несмотря на то, что шалости молодости не допустили его окончить университетского курса. Это был человек замечательной честности, ничем нельзя было подкупить его — и в этом отношении он был истинным кладом между государственными людьми тогдашней России, кото-

рые все вообще как природные русские, так и внедрившиеся в России иноземцы были падки на житейские выгоды, и многие были обличаемы в похищении казны. Для Остермана пользы государства, которому он служил, были выше всего на свете. Его считали чрезвычайно хитрым, двуличным; никто не мог отгадать его мыслей и намерений, никто не мог понять, когда он умышленно выражался так, чтоб его не поняли; никто не умел так извиливаться и ускользать от опасностей, как он, и никто так верно, правильно и так впору не узнавал насквозь людей, с которыми вступал в сношения. Редко кто мог сказать, что слышал от него правду, если надеялся выпытать от него то, что он имел основание скрывать. Но с такими свойствами хитрости, двуличности и коварства, Остерман, как бывает часто у людей с такими свойствами, не отличался сильной волей и не был злой человек; он лукавил только тогда, когда по его видам этого требовала польза России в сношениях с иностранными властями или собственная его безопасность в омуте придворных интриг. Самым характеристическим приемом его было очень ловко и кстати напустить на себя болезнь, а это несколько раз делал он, когда нужно было поступить или вопреки своей совести, или наперекор силе, так что остермановские болезни вошли, можно сказать, в историческую половицу. Казавшись обрусевшим, с искреннею любовью к России, Остерман все-таки остался иностранцем в том смысле, в каком в тогдашнее время человек, усвоивший в убеждениях и жизни культурные признаки, не походил на чистокровного русского, не хотевшего двигаться далее того предела, который отделял старую Русь от новой, созданной гением Петра Великого. Остерман стал русским человеком, но стоял, однако, выше того уровня, на котором находилось тогда русское общество. Он назывался не Генрихом, а Андреем Ивановичем, говорил не иначе как по-русски; го-

ворят некоторые, что он даже принял православие, но другое известие, что он остался лютеранином, имеет за собой более основания, особенно в то время, когда царствовал Петр II: тогда, по крайней мере, неприязненные Остерману люди находили неуместным назначение его воспитателем государя именно потому, что он был лютеранин. Есть известие о нем, что он был один из ранних адептов того вольнодумства, которым так ославился XVIII век (об Остермане см. Phiseldeek, стр. 344, 352, ссылка на Hempel "Leben des Gr. Ostermann", стр. 299 и далее).

После удаления Маврина и Зейкина Остерман взял в учителя Петру академика Гольдбаха, молодого ученого с большими способностями, и деятельным товарищем его был знаменитый архиепископ Феофан Прокопович, преподававший государю Закон Божий. От них обоих, от Остермана и Прокоповича, остались программы воспитания государя — любопытный памятник истории умственной жизни того века. Система в программе Феофана не была строго православною, по крайней мере, не в таком духе и не с такими приемами являлось православное учение под пером других славных пастырей церкви. Феофан в своей программе, как и в большей части своих сочинений, походил более на евангелического доктора, чем на православного архиерея. Наставление, какое предполагает он давать в религии государю, начинается от познания Божества; первоначальным источником богопознания признается, во-первых, созерцание творения во всех видах, во-вторых, наблюдения над свойствами души человеческой, невидимой телесными очами, и, наконец, в-третьих, сознание человеческой совести, внушающее человеку радость о содеянном им добром деле и беспокойство о совершенном им зле. Таковы свидетельства всех народов, веровавших и доселе верующих в Божество. Бог всемогущ, всеведущ, всеблаг и справедлив, безна-

член и бесконечен, он награждает за добро и наказывает за зло — в том уверяет нас наша совесть. Но так как мы видим, что в мире многие злодеи пользуются земными благами, а праведные люди страдают и терпят гонения, из этого вытекает логически потребность веры в будущую жизнь по окончании нашего земного бытия. Но для такой веры недостаточно одного нашего разумения, необходимо откровение свыше или религия. Религия может признаваться истинною или ложною. Феофан считает все религии ложными, исключая христианской. Приводятся богословские и исторические доводы подлинности и правдивости книг Ветхого и Нового завета, служащих основанием христианского вероучения. Учение христианское делится на учение о вере и нравственное учение. Затем составитель программы предполагает сообщить своему царственному питомцу краткие сведения о церковной истории, о ересях и расколах, о вселенских и поместных соборах, о писаниях св. отец и т.п. В этой краткости, с какою предполагается знакомить ученика с тем, из чего открывается, между прочим, так сказать, фундамент отличия православной церкви от других христианских вероисповеданий, и виден Феофан. У другого, более, чем он, православного вероучителя эта сторона обратила бы гораздо больше внимания.

Программа светского учения, начертанная Остерманом, заключает в себе одиннадцать параграфов. Сначала воспитатель толкует о необходимости изучать иностранные языки, чему естественно было придавать в России больше значения, чем в остальных европейских странах. Латинский язык хорошо знать, потому что такое знание составляет признак благовоспитанного человека; притом надобно следовать примеру, указанному в Немецкой империи: там всегда уважалось основательное знание латинского языка, и нынешний римский император хорошо в нем сведущ. Молодой русский царь признается уже достаточ-

но подготовленным как в латинском, так и во французском языках. Остается упражняться в них, выслушивать задаваемые предложения и составлять сообразные ответы. Остерман хотел более упражнять императора в науках. Из массы наук воспитатель отличал и ставил на первый план те, которые казались ему наиболее необходимыми для звания государя. К ним он причислял: историю новых государств, науку государственного благоразумия; различные виды управления государственным и их выгоды, гражданское законоведение, права и обязанности верховного и земского начальства, учение о союзах, о посольском праве, о войне и мире, о военном искусстве и о всем, что с ним соприкасается. Все другое, затем входящее в область человеческих знаний, следует излагать вкратце. Сюда относит он древнюю историю с ее разнообразными образцами доблестей, математику, космографию, естествоведение, насколько оно служит основанием построения машин, водопроводов, мореплавания и т.п. и насколько занятия естественными науками пробуждают благородство духа и стремление уразуметь природу с ее тайнами – гражданскую архитектуру, геральдику и генеалогии высоких домов. Для удобства в преподавании предполагалось составить извлечения из разных ученых сочинений для руководства государю при обучении. Время ученья не должно простирается более часа; затем должен следовать отдых и забава. Уроки должно излагать в виде разговоров или бесед, а не утомлять учащегося множеством писания и чтения. Надлежит вести дневник и отмечать в нем, какие места, читанные в книгах, остановили внимание государя.

При изложении истории новых государств следует иметь в виду образ правления в этих государствах и перемены, возникавшие в них, не утомлять памяти хронологией, но стараться ясно указать на способы управления, устройство коллегий и вообще государственных учреж-

дений, обратить внимание на войско, торговлю, национальное богатство, религию, на цели и намерения государств по отношению к соседям. При этом следует, чтобы учащемуся императору излагать деяния Петра Великого, тем более, что по этому можно обозреть все Русское государство, его силу, потребности и средства, как в зеркале.

Относительно военного искусства делается замечание, что несправедливо принято возвеличивать тех государей, которые отличались военной славой и приобрели завоевания; гораздо более славы правителю миролюбивому, прилагающему заботы свои к государственному устройству. Но так как война не всегда от нас самих зависит, то необходимо держаться в готовности вести ее, и потому нужно изучение военного дела. Военное искусство двояко: одна часть его состоит из планов, приготовленных заранее и служащих для обучения в доме. Это военная архитектура. Другая приобретает в поле; сюда принадлежит расположение лагерей, доставление продовольствия и боевых запасов, осада и защита укреплений и пр. Рекомендуются при этом французское сочинение под названием: "L'art de faire la guerre".

В преподавании древней истории принималось за правило излагать с большою подробностью историю Византийского государства и Востока по связи с Россией как в отношении православной веры, так по государственным событиям.

На все обучение предполагалось посвятить два года, полагая в неделю пять учебных дней, а в каждый день от двух до трех учебных часов. Остерман назначил время и для забав: для стрельбы, "концертов музыкальных", "вальянтеншпиль" (игра), бильярда и пр. Сохранилась записка, в которой обозначено, в какой день учиться, в какой – солдат обучать, с птицами в поле ездить. На прогулки употреблялось послеобеденное время; в субботу заниматься следовало музыкой и танцами, а в воскресенье по-

полудни ездить в летний дом и в огорды. Еще не достигши совершеннолетия, по программе, начертанной Остерманом, государь каждую среду и пятницу должен был посещать заседания Верховного тайного совета. Но такие определенные в программе посещения Верховного тайного совета ограничились на деле только одним разом, 21 июня; тогда Петр проговорил в совете то самое, что писал в письме к сестре своей на другой день после своего вступления на престол. Всем заправлял Меншиков, но и он также не ездил в совет, а дела приносились к нему на дом для подписи. Цесаревны не бывали в совете, их значение скоро умалилось, и одна из них, старшая, скоро совершенно вышла из России.

Герцог голштинский, как говорится, стоял Меншикову костью в горле. Светлейший князь очень желал выпроводить его из России, чтоб не иметь близко себя особ, которые по рождению стояли выше его и пред которыми он должен был смиряться. Сначала герцог не думал, как видно, убраться из родины своей супруги. 19 мая министр его Бассевич подал в Верховный тайный совет мемориал: в нем, упоминая об уплате указанного в завещании Екатерины миллиона и ежегодном платеже по 100 000 цесаревнам, сообразно тому же завещанию, он просил купить для герцога дом в Петербурге, а до того времени разместить свиту его в здании Академии наук. На этот мемориал не последовало ответа. После смерти жениха Елисаветы, епископа любского, умершего от оспы, Меншиков под предлогом охранения здоровья государя, заставил герцога с супругой не ездить во дворец, а потом стал так обращаться с ним, что герцог увидал необходимость уезжать. Молодой государь должен был ехать в Москву короноваться. Меншиков представлял герцогу, что ему обременительно будет ехать за государем в Москву и совершенно незачем; лучше ему ехать в свое Голштинское герцогство и хлопотать о приобретении Шлезвига, так

как уже заключен у России договор с римским императором и последний обязался прилагать все зависящее от него старание, чтоб герцогу достался Шлезвиг. Герцог понимал, что Меншиков хочет его выпроводить. Мало было ему опоры против могучего временщика. Русские люди не любили пришельца, роптали, что содержание его в России дорого обходится. Меншиков уже давно, еще при строгом государе Петре Великом, привык обкрадывать казну, теперь он распоряжался ею совершенно по произволу — все это прощалось ему, своему, но не прощалось иноземцу даже и то, что не имело подобия с таким казнокрадством, однако все-таки делало ущерб государственной экономии. Еще более не нравилось людям старорусского направления то высокомерие, с которым относился молодой и неопытный герцог к русской национальности, в чем он разделял тогдашний недостаток всех немцев, живших в России, исключая умного Остермана, который один понимал, как надобно в России держать себя немцу, и был так бескорыстен и нежаден, что отказывался от предоставляемых ему в собственность имений, конфискованных у Толстого после его ссылки и составлявших от пяти до шести тысяч крестьянских дворов (Lefort Сб. Р. Ист. Общ., т. III, стр. 481). Уразумев свое положение, голштинский герцог скоро убедился, что и в самом деле ему лучше по добру-поздорову убраться из страны, воспользовавшись теми деньгами, которые предоставлялись в его пользу по завещанию Екатерины. 28 июня его министр Бассевич и другой министр Штанке заявили в Верховном тайном совете, что их герцог имеет намерение уехать навсегда в свое наследственное герцогство вместе с супругой.

В начале июля Меншиков заболел и более двух недель не выходил. Болезнь, постигшая его, была, как говорили, лихорадка, но она сопровождалась разными мучительными припадками и, между

прочим, кровохарканьем, подававшим повод подозревать чахотку. Были минуты, когда болезнь казалась до того важною, что опасались за жизнь Меншикова.

В это время раздумье брало многих; составлялись разные планы и предположения. Не терпели Меншикова старолюбцы, не терпели его и те, которых нельзя было признавать в числе старолюбцев, не терпели за высокомерие, надменность и алчность; все тайно желали, чтоб он сошел со сцены. Но вреднее для него в его болезни было то, что в то время, когда он был болен, молодой царь подвергся влиянию, зарождавшему в нем неприязненное чувство к Меншикову. Не видясь с Меншиковым во время болезни последнего, Петр виделся со своим наставником Остерманом, ходил к нему по утрам в халате и проводил целые дни в постоянном сообществе с Долгоруковыми — Иваном Алексеевичем и отцом его Алексеем Григорьевичем. Князь Иван Алексеевич, молодой человек восемнадцати лет от роду, очень понравился малолетнему царю. Во время смерти императрицы Екатерины он был осужден по делу Девиера и удален в деревню, но молодой царь упросил Меншикова простить его и приблизил к себе. Родитель этого князя Ивана Алексеевича, князь Алексей Григорьевич, обер-гофмейстер великой княжны Наталии Алексеевны, был назначен помощником Остермана в звании царского воспитателя. Меншиков не боялся ни этого князя, ни его сына. Князя Алексея Григорьевича он считал не настолько умным, чтоб опасаться его с какой бы то ни было стороны, сына его — слишком молодым, чтоб тот мог вредить ему, так высоко ставшему в кругу государственных сановников и заручившемуся обручением своей дочери с государем.

На Остермана он надеялся. Но Остерман не был сердечно расположен к Меншикову, напротив, возненавидел его за высокомерие и чрезвычайную заносчивость. Меншиков воображал, что теперь

уже никто не нужен ему, и со всеми обходился свысока. И с Остерманом дозволил себе светлейший такого рода обращение, которое не могло понравиться последнему. Остерман, не ссорясь еще с Меншиковым, во время болезни последнего не употреблял, однако, своего влияния на государя для того, чтоб укоренять в нем любовь к своему будущему тестю.

Напротив, Остерман сходился тогда с князем Василием Лукичом Долгоруковым: это был, как кажется, самый умнейший из князей Долгоруковых того времени, приобрел себе известность дипломатическими сношениями в Польше и Швеции и находился с Меншиковым не в ладах по курляндскому делу еще при покойной государыне, когда не хотел содействовать честолюбивым замыслам князя Меншикова получить Курляндское герцогство. Говорят, что Остерман и князь Василий Лукич подействовали на князей Алексея Григорьевича и сына его Ивана Алексеевича, и последние, приобретаемая более и более расположение государя, старались возбудить в государе нерасположение к светлейшему князю. В сообществе с Долгоруковыми Петр пристращался к охоте; Остерман был этим недоволен, так как ему хотелось, чтоб царь гораздо более тратил времени на ученье, чем на забавы, однако не препятствовал Петру ездить с Долгоруковыми на охоту в надежде, что, быть может, они, по крайней мере, успеют устранить Петра от Меншикова.

Во второй половине июля Меншиков оправился от болезни. Герцог решился тогда уехать. Бассевич, именем своего герцога, получил от Меншикова в уплату завещанного жене его миллиона — двести тысяч, а остальные подлежали уплате в течение восьми лет, но Меншиков тогда же взял с герцога взятку восемьдесят тысяч рублей: из них Бассевич привез Меншикову 60 000 тотчас же, а на остальные 20 000 привез от герцога обязательство в уплате. "Ты много труда поло-

жил, — сказал Бассевичу Меншиков, — возьми эти двадцать тысяч в свою пользу”. Однако герцог ограничился одними обещаниями Бассевичу, когда тот привез ему от Меншикова записку, предоставлявшую эти 20 000 в пользу Бассевича, и никогда не заплатил своему министру обещанной суммы.

25 июля герцог с супругою отплыл в Голштинию. Меншиков все более входил в силу, и честолюбивые замыслы одолевали его. Брак Елисаветы с епископом любским не состоялся. У Меншикова возникла мысль женить на ней своего сына Александра и таким образом утвердить двойным союзом родство свое с царской фамилией. В этом у него явился соперник, маркграф бранденбургский, которого прусский посланник Мардефельд силился посватать Елисавете; но прусский король неблагоприятно относился к этому плану, поэтому у Меншикова не терялась надежда. К умножению его честолюбия римский император прислал ему диплом на княжество Козель в Силезии, обещанное еще ранее через Рабутина, когда дело шло о том, чтоб Меншиков старался пред императрицею Екатериною о назначении Петра преемником ей на престоле.

Зазнаваясь в своем величии, Меншиков окончательно разошелся с Остерманом. Выздоровевши от болезни, он увидел, что молодой император заявлял к Остерману большую любовь и привязанность. Меншикову было это не по сердцу. Он хотел, чтобы Петр любил и уважал его более всех других сановников. В Петергофе он придрался к Остерману за то, что тот ведет воспитание русского царя не так, как бы нужно было и как бы хотела русская нация: Остерман — лютеранин, и внедряет своему царственному питомцу такие взгляды, которые приличны были бы для государя лютеранской веры, но не для православного, каким должен быть государь России; Остерман отводит его от посещения церкви и хочет оставить его без всякой ре-

лигии, так как и сам Остерман, в сущности, не принадлежит ни к какой религии и ни во что не верит: с такими обличениями отнесся к Остерману светлейший. Остерман сначала стал объяснять Меншикову, что это несправедливо, но Меншиков разгорячился, обругал Остермана атеистом и грозил ему ссылкой в Сибирь. Тогда Остерман, с своей стороны, потерял свое обычное хладнокровное благоразумие и сказал Меншикову: “Напротив, я за тобою знаю много такого, за что тебя следовало бы не то что в Сибирь заслать, но даже четверговать”. В самом деле, Остерман, как и другие, знал за Меншиковым, например, такого рода поступки, что он держал у себя фальшивого монетчика, и отчеканив на несколько тысяч монет из низкого пробного серебра, спустил его на жалованье войскам в персидские области и через то возбудил между тамошними туземцами ропот: те говорили, что русские обманывают их выпуском в обращение плохих денег (Мардефельд. Сб. Р. Ист. Общ. XV. 390). Так Меншиков своею гордостью и заносчивыми выходками вооружил против себя все окружающее и приготавливал врагов из тех, кого прежде считал друзьями.

Между тем Меншиков старался сближаться и с такими, которые были с ним враждебны по коренным убеждениям. В то время он пытался сойтись с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным, по боярской своей важности считавшимся главнейшим вожаком старолюбцев, сторонников русской старины. И он, и брат его фельдмаршал князь Михайло Михайлович были ненавистники Петербурга и желали перенесения столицы в Москву. Они видели в основании Петербурга корень зла и вместе с тем относились с нелюбовью к петровским замыслам устроить могучий флот и преобразить Россию в сильную морскую державу. “Петербург, — говорил князь Дмитрий Михайлович, — это часть тела, зараженная антоновым огнем; если ее впору не отнять, то пропадет все тело” (Мар-

деф., *ibid.*, 365). Оба брата имели большую силу даже и при Петре Великом, несмотря на то, что государю известно было их старолюбивое направление. Теперь, когда восшествие на престол сына царевича Алексея подавало надежды на торжество старины, Голицыны возвысились еще более и в кругу, близком к правлению, все заискивали их благорасположения. У фельдмаршала Михаила Михайловича Голицина была дочь, взрослая невеста, Меншиков возмел намерение женить на ней своего сына. Только что перед тем он мечтал сделать своею невесткою принцессу Елисавету, но эта принцесса так же отмахивалась от этого жениха, как и от других членов владетельных европейских домов. Елисавета заявила нежелание вовсе связывать себя браком. Она жила весело и пользовалась свободой вполне.

И Остерман, с своей стороны, хотел сблизиться с братьями-стариками Голицыными. Но более всего надеялись тогда, что Голицыны войдут в силу, когда приедет бабка государя, несчастная Евдокия Лопухина, мать царевича Алексея. Выше мы привели известия, сообщаемые иностранцами того времени, о положении, в каком узница находилась в Шлиссельбурге. Мы уже сказали, что известиям этим, бросающим черную тень на характер Екатерины, не следует вполне верить; в самом деле, они сами лгутся во лжи: уверяют, будто при Екатерине к заточенной царице Евдокии не допускали даже священника и не доставляли ей возможности слушать богослужение (см. *Phiseldeck*, стр. 358, ссылка на *Neue Miscellanien*, стр. 179, 180), а из оставшейся переписки того времени (см. Письма Р. Госуд. III, 11), напротив, видно, что заточенной царице выдавалось в сутки по одному рублю на стол, сто рублей на одежду, при ней был иеромонах, причет, келейницы, и походная церковь поставлена была в ее покоях. Меншиков имел повод опасаться этой старухи, если она получит возможность иметь

влияние на внука, а потому после смерти Екатерины и провозглашения Петра императором в первых месяцах хотя и послал к ней от царского имени просить благословения на брак, однако не сделал распоряжений о совершенном освобождении бабки государя. Только тогда, когда Меншиков заболел и когда многие неблагоприятные его надеялись, что больной князь уже не оправится, в Верховном тайном совете состоялось такое распоряжение. Оно потревожило не только Меншикова, но вместе с ним и всех тех, которые некогда враждебно относились к сыну освобожденной царицы и к ее родным, к Лопухиным; оно неприятно подействовало и на герцога голштинского, вовсе не расположенного сердечно к Меншикову и совершенно непричастного к суду над царевичем и Лопухиными. Говорят, что в числе причин, побудивших герцога поторопиться отъездом из России, было, между прочим, нежелание встречаться с царицею, которая, как сказывали, скоро должна была появиться при дворе. Ожидали от нее, что она будет враждебно относиться ко всему иноземному и неприятно встретит мужа Петровой дочери. 25 июля уплыл герцог с женой, а 26-го того же месяца в Верховном тайном совете, в смысле восстановления чести царицы Евдокии, в монашестве инокини Елены, последовал указ отобрать у всех манифест о деле царевича Алексея Петровича, Глебова и Досифея, где обнаружались неприличные поступки бывшей царицы; все, у кого находились экземпляры этого манифеста, обязывались приносить их в Петербурге в Сенат, в Москве в Сенатскую контору, а в прочих городах губернаторам и воеводам; за утайку грозили отдачею под суд виновных. Тогда же уничтожалась сила указа 1722 г., по которому престол мог принадлежать, независимо от всяких прав по происхождению, тому лицу, кого назначит себе преемником прежде царствовавший государь.

Выздоровевши, Меншиков не смел



нарушить состоявшееся без него распоряжение Верховного тайного совета о даровании свободы царской бабке, но помещал ей приехать прямо в Петербург, а велел увезти ее в Москву, в предположении, что сам царь скоро должен ехать для коронации и тогда бабка увидит своих внучат. Впрочем, старуха сама охотнее отправилась на житье в Москву. Петербург не мог возбуждать в ней ничего, кроме отвращения. Напротив, с Москвою связывались воспоминания юности и первых лет супружества, пока она еще не успела опротиветь мужу. Притом многолетнее горе направило ее к презрению земною суетою и к предпочтению тихих прелестей отшельнической жизни. Она поместилась в Новодевичьем монастыре.

В 1727 году Меншиков сделался вполне всемогущим владыкою. Иностранные посланники замечали, что даже покойного государя Петра Великого не боялись до такой степени, как в это время Меншикова. Верховный тайный совет значился только больше именем; он издавал такие лишь постановления, какие угодны были всемогущему временщику. Однако в короткое время управления князя Меншикова выпущено несколько таких законов, в суждениях о которых нельзя не признать государственной мудрости законодателя и гуманности; вообще, в них заметно направление дать сколько возможно более облегчения и льгот народу. Ослаблено было стеснение духовенства в пользовании церковными имуществами; 12 июля Верховный тайный совет постановил: все архиерейские имущества отдать в заведование самим владетелям с обязательством вносить в Камер-коллегию положенные на эти имущества казенные сборы. В этот же день, 12 июля, Верховный тайный совет решил разобрать столбы, поставленные в разных местах в Петербурге с взоткнутыми головами казенных, а самые головы, снявши, похоронить. Таким образом, хотя Меншиков и теперь, как прежде, оставался ревностным поборником нача-

того Петром преобразования, но не увоил себе от покойного государя жестокости, а напротив, относился, где было можно, мягко. Таким явился он и по отношению к Малороссии. После восстания Мазепы Петр хотя уверял малороссян, что измена гетмана не вынудит его к жестоким мерам насилия над народом, но уже не доверял стране, где лица, стоявшие на "верху", заявили себя неискренними друзьями России, Петр боялся давать в Малороссии управление умным и даровитым туземцам, и Скоропадский получил гетманское достоинство именно за то, что был человек недалекого ума и не показывал стойкости в характере. По его смерти малороссийская старшина обратилась к Петру с прошением о дозволении выбрать нового гетмана. Петр не отказывал совершенно наотрез, но стал тянуть это дело, водить просителей, и, наконец, придравшись к жалобам на старшин, засадил их в Петропавловскую крепость. Главная личность между ними — Полуботок, носивший уже звание наказного гетмана, умер в заточении, а его товарищи выпущены были Екатериною, но изменений в управлении Малороссийским краем не последовало. Малороссию продолжала править Малороссийская коллегия под председательством Вельяминова. Жалобы на эту коллегию следовали одна за другою. Коллегия выдумывала отягощающие для народа поборы. Малороссяне должны были притворяться довольными существовавшим порядком, но в самом деле тяготились им. С восшествием на престол Петра II, 12 мая, издан был указ прекратить сборы, самовольно установленные Малороссийскою коллегиею; членам коллегии велено было ехать в Петербург. 21 июня предоставлено было Малороссии, сообразно своим старым правам, выбрать гетмана, и представителем верховной власти при выборе назначен был тайный советник Наумов. Выбор нового гетмана состоялся 1 октября, когда уже Меншиков перестал держать в руках

правление, но выбор этот произошел по его плану и желанию. Правда, казакам, собравшимся в Батуриин для избрания предводителя, заранее было указано, что правительство желает видеть гетманом миргородского полковника Данила Апостола: Меншиков знал его лично и считал надежным человеком. Апостол, во всяком случае, не был противен большинству избравших, хотя находилось достаточно и таких, которые не выбрали бы его, если бы заранее не высказана была о нем воля правительства. Этот человек был уже очень стар; ему минуло семьдесят лет, и это-то было для многих благовидным поводом не желать его. Но нехотевшие принуждены были молчать и должны были поступать так, как желают власть и большинство избирателей. Во всяком случае, после того, что перед тем испытывал Малороссийский край, дозволение избирать гетмана было уже со стороны верховной власти милостью, и раздражать власть противоречиями было и бесполезно, и опасно. Приехавши в Батуриин, Наумов на собранной для избрания раде приказал, прежде всего, прочесть царскую грамоту о дозволении учинить избрание гетмана, потом проговорил казачеству наставление, чтоб избран был человек способный и заслуженный. Около Наумова стояли офицеры с гетманскими клейнотами. У одного была булава, лежавшая на красной бархатной подушке, у другого — бунчук, у третьего — печать, у четвертого — царская хоругвь. Казаки беспрекословно выбрали Апостола, как прежде было показано тем из них, которые руководили голосами. Апостол отпрашивался, как следовало по господствовавшему издавна этикету у казаков, отговариваясь старостью. Но старшина, как бы против его воли, схватила его на руки и понесла перед Наумова. Наумов еще раз громко спрашивал всю раду: добровольно ли избирается новый гетман? Все единогласно закричали, что они излюбили Апостола. Тогда Наумов вручил новоизбранному

один за другим знаки гетманского достоинства, а новый гетман в церкви, пред лицом киевского митрополита, нарочно приехавшего на раду, произнес присягу на верность в отправление своей новой должности. Один печерский монах произнес при этом приличное событию слово.

В управление Меншикова изданы были облегчительные для народа распоряжения по торговле. Сбавлено пошлины с пеньки вместо прежней 27  $\frac{1}{2}$ % только на 5%, с галантерейных товаров, вместо 10%, положено платить половину прежней, торговля заграничным табаком стала свободно для всех. Дозволено было торговать каждому драгоценными камнями, тогда как прежде, истари, надобно было представлять их в царскую казну и после уже позволялось продавать то, что не признавалось годным для царской казны. Всем дозволялось заниматься обработкою металлов Сибири, не выпрашивая предварительного дозволения на лицо, только с платежом в казну 10%; точно так же торговля солью объявлена вольною с платежом в казну 10% с пуда и 5%, если продавалось менее пуда. И торговля мягкой сибирскою рухлядью перестала быть казенною монополиею, а предоставлена была всем желающим вести ее; это принесло большое облегчение, так как до того времени велась большая контрабанда, и преследование ее причиняло большие стеснения. Кроме того, было издано несколько облегчительных распоряжений по торговле, имевших временное значение. Так, по случаю пожара, истребленного на Неве суда, владельцам этих судов предоставлялось платить с товаров, привозимых на их судах, половинную пошлину. Чтб умножить торговлю с Новгородом, дозволялось плавать по Ладожскому озеру судам всякого устройства и доставлять на них в Петербург сено, хлеб, плоды, овощи, деревянную и глиняную посуду, без всякого осмотра, не стесняясь уже теми правилами, которые установлены были при Петре Великом. Меншиков был первый, озабавившийся устроить мост

на Неве для сообщения Васильевского острова с другими частями Петербурга.

Летом 1729 г. у молодого царя со дня на день все более и более развивалась склонность к охоте и переходила в горячую страсть. Он беспрестанно ездил в Петергоф и там целые дни с собаками и птицами рыскал по полям и лесам, неразлучно со своим любимцем князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым, а иногда с отцом его, князем Алексеем Григорьевичем. Петр так увлекался охотой, что члены Верховного тайного совета принуждены были нарочно посылать к нему приглашения пожаловать в заседание совета.

Царь никогда не любил своей невесты, княжны Меншиковой, и обручился с ней только для того, чтоб исполнить завещание Екатерины; притом он сделал это по слабости характера, свойственной детским летам, не зная, как отвязаться от настояний Меншикова, представившего ему со вступлением на престол брак с княжною как обязанность. Долгоруковы, отец и сын, подметивши холодность Петра к невесте, старались всеми силами восстановить его против Меншикова, родителя немилой ему невесты. Царь, кроме того, очень дружен был со своею сестрою: и та не любила Меншикова, и та настраивала брата против временщика. Наконец, что было всего важнее в этом случае, царь возымел привязанность к своей тетке Елисавете, переходившую за пределы родственного благорасположения, и тут-то, естественно, ему делалась смертельно противною мысль о принудительном браке с какою-нибудь другою особою, кроме той, которая была ему по сердцу. Прусский посланник Мардефельд (Сб. Р. Ист. Общ. XV, 380) говорит, что, кроме красоты, Елисавета пленяла всех своими душевными качествами и Петр, увлекаясь ею, называл княжну Меншикову, свою обрученную невесту, красивой статуей. Избалованный самодержавною властью, так рано полученною, молодой царь показывал нрав беспокойный;

всегда хотелось ему поставить на своем, не терпел он никаких себе возражений и со дня на день укреплялся в той мысли, что он как самодержавный властелин может делать все, что ему вздумается. Меншиков привык с ним обращаться как с малолетним, а царь не хотел уже быть малолетним, как это часто бывает с детьми, когда им хочется, чтоб их считали взрослыми, и они сердятся на тех, кто их считают несовершеннолетними. Прежде Петр был под надзором Меншикова и не смел ни шагу сделать без его воли. Во время болезни Меншикова царь остался без этого надзора и некоторое время привык быть без него. Меншикову после своего выздоровления уже не легко было снова стать в прежнее положение, особенно когда в его отсутствие враги успели подействовать на ребенка так, что тому было уже противно оставаться под властью опекуна. Тут и Остерман возымел над царем еще больше нравственной силы, чем прежде; Остерман обладал несколькими такими достоинствами, какими не мог потягаться с ним князь Александр Данилович. Петр искренно и глубоко уважал Остермана, Петр сознавал, что барон Андрей Иванович — человек высокого образования, все, что ни скажет, выйдет у него умно; а князь Александр Данилович не переставал быть в глазах царя выскочкою, мужиком: у него, несмотря на усвоенные приемы вельможи, проглядывали и мужицкое происхождение, и мужицкая грубость. У Меншикова после его выздоровления оказался целый кружок недоброжелателей, вооруживших против него молодого царя: две великие княжны — Наталья и Елисавета, Долгоруковы — Василий Лукич, Алексей и Сергей, брат Алексея Григорьевича, сын Алексея Иван, любимец царский, — и, наконец, Остерман, которого Меншиков озлобил против себя выходками своего высокомерия.

Когда, таким образом, в молодом государе созрело нерасположение к Мен-

шикову, подогреваемое влиянием близких особ, произошел ряд событий, готовивших падение человека, так высоко ставшего в России.

Еще перед болезнью Меншикова, в июле (если полагаться в верности хронологии на Манштейна: см. Р. Ст., апр. 1875 г. Прилож., стр. 5), цех петербургских каменщиков поднес императору в подарок десять тысяч червонцев. Государь отправил эту сумму в подарок своей сестре. Придворный, который нес этот подарок великой княжне Наталье Алексеевне, встретился с Меншиковым; тот спросил его, куда он идет и что несет? Узнавши от придворного о деньгах, Меншиков сказал: "Государь еще молод, не знает, как обращаться с деньгами; неси деньги ко мне, я увижусь с государем и поговорю с ним". Придворный не смел послушаться Меншикова и отнес деньги к нему, вместо того чтобы доставить по назначению великой княжне. Увиделся с сестрою Петр и узнал, что она не получила посланного подарка. Царь призвал придворного и спросил, куда девал он те деньги, что ему велено отнести великой княжне? "Меншиков отнял!" — отвечал придворный. Царь велел позвать к себе Меншикова. "Как вы смели, князь, не допустить моего придворного исполнить мое приказание?" — с гневом сказал Петр. Меншиков в первый раз испытал такую выходку от государя, которого, как ребенка, привык держать в почтительном страхе пред своею особою. Меншиков был ошеломлен, однако через минуту, опомнившись, сказал: "Ваше величество! У нас в казне большой недостаток денег; я сегодня намеревался представить вам доклад о том, как употребить эти деньги, но, если вашему величеству угодно, я прикажу воротить эти десять тысяч червонцев и даже из моей собственной казны дам миллион". Царь топнул ногой и сказал: "Я император, мне надоело повиноваться". С этими словами царь отвернулся и ушел, Меншиков прошел вслед за царем и старался смягчить его.

Через короткое время после того опять были у Меншикова неприятные столкновения с государем. Польско-саксонский посланник рассказывает, что Меншиков выдавал на мелочные расходы для царя деньги на руки служителю и выдавал таким образом до трех тысяч рублей. После узнал князь, что служитель, без ведома князя, давал деньги в распоряжение царю; Меншиков прогнал служителя. Петр вернул к себе прогнанного служителя прямо наперекор Меншикову. Потом царь потребовал у Меншикова пятьсот червонцев и подарил их сестре своей, а Меншиков отнял эти деньги у великой княжны на том основании, что все-таки смотрел на обеих высочайших особ, как на детей, которым нельзя дозволить распоряжаться деньгами без надзора со стороны старших. Это сказание Лефорта (Сб. Р. И. О. III, 492) несколько подозрительно: быть может, оно есть представленное в виде двух событий изменение рассказа Манштейна, или, быть может, одно из событий, приводимых Лефортом, есть то же самое, которое передается Манштейном, только несколько иначе. В настоящее время нет средств решить этот вопрос. Во всяком случае, как бы дело ни происходило в подробностях, видно, что у Меншикова возникли недоразумения с молодым царем из-за денег, которые Петр считал себе вправе тратить куда ему угодно, начавши чувствовать себя самодержавным государем, а Меншиков, считая Петра еще несовершеннолетним, признавал за собою право надзора за такими тратами. Далее Лефорт говорит (см. Сб. Р. Ист. Общ. III, стр. 489, 490), что в день именин великой княжны Натальи Алексеевны Меншиков целый день не мог объясниться с царем, как ни старался об этом, как ни заискивал его благорасположения. Молодой царь умышленно от него отворачивался и, указывая на Меншикова, сказал кому-то из своих приближенных: "Смотрите, как я его поставлю в струю!" Заметили Петру, что Меншиков недоволен холод-

ностью царя к дочери Меншикова, царской невесте. Петр на это сказал: "Зачем лишняя любезности? Довольно ей моей любви. Меншиков хорошо знает, что я не намерен жениться ранее двадцати пяти лет возраста. Такое у меня намерение!"

Около этого дня, по известию Лефорта, произошло еще следующее (Сб. Ист. Общ. III, 492). Ярославцы-серебряки поднесли царю серебряный подарок своего изделия. Петр послал его в дар сестре. Меншиков, узнавши об этом, послал к великой княжне требовать, чтоб ему доставили эту вещь. Она не отдала. Меншиков еще два раза посылал к ней за тем же. Великая княжна не отдала и говорила посланному: "Скажи Меншикову, что я знаю, какая разница между императором и таким человеком, как он". При этом она побожилась, что никогда не будет у него в доме. Это известие, быть может, также видоизменение того, что рассказано у Манштейна и у последнего отнесено к гораздо раннему времени. Несомненно, как это мы знаем из достоверных современных актов, деньги на расходы царя выдавались на руки некоему Кайсарову, и тот получил от Меншикова предписание: не выдавать их никому и не тратить никуда без разрешения Меншикова или Остермана.

Настал день именин Меншикова. Светлейший приглашал царя с семейством пожаловать к нему на именины в Ораниенбаум. Царь сначала обещал, а потом сказал, что ему некогда, есть свои занятия в Петергофе: "Может себе Меншиков праздновать именины и без царя!"

"Должно сознаться, — замечает прусский посланник Мардефельд (Сб. Р. Ист. Общ. XV, 386), — что Меншиков легкомысленно отказался тогда от всего, что ему советовали добрые люди для его безопасности; временщик сам ускорил свое падение, поддаваясь своему корыстолюбию и честолюбию. Ему надлежало действовать заодно с Верховным тайным советом, поддерживать им же заведенный государственный строй, а вместе

с тем приобретать расположение к себе и царя и его сестры. Меншиков же прибрал к рукам все финансовое управление, располагал произвольно всеми военными и гражданскими делами как настоящий император и оскорблял царя и великую княжну, сестру государя, отказывая им в исполнении их желаний; все это делал он, увлекаясь тщеславною мыслью, что ему надобно обоих царственных детей держать под ферулой".

3 сентября, в воскресенье, назначил Меншиков освящение своей домовою церкви в Ораниенбауме. Уже находясь тогда в большой размолвке с императором, Меншиков надеялся, что при этом торжестве прекратит возникшие недоразумения и совершенно помирится с царем. Он приглашал на освящение царя и сестру его, но не считал нужным приглашать Елисавету, которую, естественно, не терпел за любовь к ней царя и притом считал соперницею своей дочери. Царь не поехал. Великая княжна Наталья тем более отказалась, когда уже прежде выразилась, что не хочет никогда быть у Меншикова в доме. Церковь освящена была без императора и высочайшей фамилии, хотя съехалось много тогдашней правительствующей знати: Головкин, Голицыны, генералы: Волков, князь Шаховской, Сенявин, тайные советники: Макаров и Бестужев и много штаб- и обер-офицеров. Богослужение отправлял архиепископ Феофан с коломенским епископом Игнатием. Есть известие (Phiseld, 389), что Меншиков, зазнавшись в своем величии, во время освящения сел на место, приготовленное для царя, так как царской особы не было. Во время бывшего потом обеда была пушечная пальба, играла музыка. После обеда бывшие там тайные недоброжелатели светлейшего поспешили в Петергоф донести о том, что Меншиков во время богослужения осмелился занять царское место. На другой день утром бывший у Меншикова его фаворит, как выразались тогда, генерал-лейтенант Волков, советовал светлейшему

не медля ехать в Петергоф и объяснить с царем и с членами царской фамилии насчет того, что из них никто не приехал на освящение церкви, а это походило на немилость. Но Меншиков не послушал этого совета и не поехал. Когда пришло время обеда, Меншиков сел за стол с бывшими у него в тот день гостями — князьями Голицыными, тайным советником Мамоновым, Чернышевым, Сенявным и Иваном Львовичем Нарышкиным. После обеда Волков принялся за прежний совет и в этот раз настоял на своем; Меншиков прослушал его и в пять часов пополудни выехал из Ораниенбаума, провожаемый пушечными выстрелами: такие почести дозволялись ему всегда, когда он куда-нибудь отправлялся из дому.

В тот же день, в 7¼ часов пополудни, прибыл Меншиков в Петергоф. Он виделся с царем в больших верхних палатах, но ненадолго и как бы вскользь (см. Есипова "Ссылка Меншикова", Отеч. Зап. 1860. № 8. Лефорст. Сб. Р. Ист. Общ., III, 492). По другому известию (Phiseld., 389), Меншиков в этот день не увидел государя вовсе. Не воротился в этот вечер Меншиков в свой Ораниенбаум: то было накануне именин цесаревны Елисаветы, которую, как требовал долг придворной вежливости, надобно было поздравить. Меншиков расположился в комнатах, собственно для его особы назначенных в Петергофском дворце, и стал с кем-то играть в шахматы.

На другой день, 5 сентября, Меншиков прежде всего утром хотел повидаться с царем, но ему сказали, что Петр, поднявшись очень рано, уехал на охоту. Меншиков обратился тогда к великой княжне Наталье Алексеевне, но та не захотела с ним встречаться, и, когда он к ней входил, она выскочила в окно. Ясно было, что царственная чета, брат и сестра, хотят заявить, что Меншиков стал им противен. Тогда Меншиков отправляется к Елисавете, которая не терпела Меншикова, так же как и он ее. Менши-

ков поздравил ее с именинами и стал потом жаловаться на царя: Петр неблагоприятен и забывает, что Меншиков оказал ему довольно важных услуг. Меншиков говорил, что, видя к себе явно царскую немилость, ему ничего более не остается, как удалиться от двора и уехать к войску, расположенному в Украине. Не знаем, что ему отвечала на это цесаревна Елисавета. Светлейший после беседы с нею поговорил с полчаса с Остерманом (быть может, тогда-то и происходил тот крупный разговор, о котором известие у Мардефельда мы привели уже выше, не зная подлинно, в какой именно день он происходил). В 12 часов дня Меншиков обедал только со своим семейством. К вечеру он уехал с семейством в Петергоф, а между тем в этот вечер в Петергофе был устроен бал в честь именинницы. Воротился царь с охоты. Он посетил бал, но присутствовал там недолго, жаловался на усталость, удалился и отправил в Петергоф генерала и майора гвардии Салтыкова с приказанием Верховному тайному совету перевезти все царские экипажи и все царские вещи из дворца Меншикова в царский Летний дворец.

Враги Меншикова тайно действовали против него; он же, ничего не зная, вместе с семейством прибыл на Васильевский остров, переименованный им в Преображенский, и остановился в своем собственном дворце. Соблюдая свое обычное величие, он ехал туда в шести придворных каретах.

В Верховном тайном совете в этот день уже призван был гоф-интендант Мошков и спрошен, во сколько времени может быть окончена уборка Летнего дворца, куда имел намерение перебраться государь. Мошков назначил три дня. Меншиков ничего про это еще не знал и думал, что размолвка с царем уладится так же скоро, как улаживалась прежде, когда, бывало, возникала. Меншиков не падал духом, посещал коллегии, смотрел дела, держал себя по-прежнему могущественным правителем государства. То было

в среду, 6 сентября. Между тем экипажи императора перевозились из Меншиковского дворца в императорский Летний дворец, сообразно приказу, привезенному из Петербурга Салтыковым. Сам царь не возвращался в столицу, провел весь этот день на охоте и вечером прибыл в Стрельну. Там он заночевал.

Настал следующий день, четверг, 7 сентября. Меншиков встал в 6 часов утра, вышел в Ореховую залу своего дворца и просидел там неодетый в задумчивости до 9 часов утра. Этого с ним еще никогда не бывало. В 9 часов отправился он в Верховный тайный совет. Царя не было. Заседание в этот день не отправлялось. Меншиков застал там только двух лиц и воротился домой. В противность своему обычаю, он в этот день не отдыхал после обеда. Ясно стало Меншикову, что над ним собралась грозная туча.

Меншиков обратился с письмом к князю Михаилу Михайловичу Голицыну, но бывшему тогда в Петербурге, и писал к нему, чтоб он поспешал; по недавней дружбе своей с родом Голицыных хотел Меншиков употребить их как сильных людей для своего спасения. Меншиков послал тогда же воротить и отпущенного бывшего учителя Зейкина, как это оказалось из арестованных впоследствии у него бумаг. Видно было, что, замечая против себя нерасположение Остермана, он задумывал удалить от царя этого немца и снова приблизить к Петру прежнего царского наставника. В этот же день Меншиков приказал вывести с Васильевского острова, по известию Лефорта, шесть размещенных там полков, а по известию Физельдека (стр. 390), Ингерманландский полк; вместе с этим Васильевский остров, переименованный в последнее время в Преображенский, снова велено называть прежним именем. Все это были последние распоряжения светлейшего. Напрасны были все его старания; не повредили ему и сделанные в тот день ошибки, как называют иностранцы, удаление войска с острова, кото-

рое ни в каком случае не могло отстоять падавшего временщика. Вечером воротился в Петербург царь, и Меншиков, за всем следивший, как только узнал о приезде Петра в Летний дворец, отправился туда с семейством. Но царь не велел принимать ни его, ни княгини, ни их дочери — своей обрученной невесты.

По приезде царя барон Остерман передал собравшемуся Тайному совету царское повеление такого рода: "Понеже мы восприяли всемилоостивейшее намерение от сегодня собственною особою председать в Верховном тайном совете и все выходящая от него бумаги подписывать собственною нашею рукою, то повелеваем, под страхом царской нашей немилости, не принимать во внимание никаких повелений, передаваемых через частных лиц, хотя бы и чрез князя Меншикова".

В пятницу, 8 сентября, Верховный тайный совет отправил майора гвардии Салтыкова снять почетный караул при доме Меншикова, данный ему по званию генералиссимуса, и объявить Меншикову, что он состоит под арестом.

Царь в этот день был у обедни у св. Троицы и, если верить иностранцу Веберу (который легко мог ошибиться, не вполне зная все наши обычаи, особенно по отношению к благочестию), причащался (стр. 704). В церкви явились к нему особы женского пола из семейства Меншикова и бросились к ногам государя, думая молить его о прощении светлейшему. Царь отворотился от них, не сказавши им ни слова, и вышел из церкви. Княгиня Меншикова с дочерьми отправилась за ним во дворец, но, как вчера, ее не допустили к царю (Леф., Сб. И. О., III, 493). У царя в этот день обедали князья Долгоруковы, члены Верховного тайного совета и фельдмаршал Сапега с сыном. Петр говорил: "Я покажу Меншикову, кто из нас император — я или он. Он, кажется, хочет со мною обращаться, как обращался с моим родителем. Напрасно. Не доведется ему давать мне пощечины".

Княгиня Меншикова с дочерьми, не добившись свидания с царем, обращалась к великой княжне Наталье Алексеевне, потом к цесаревне Елисавете: обе от нее отвернулись. Княгиня обратилась к Остерману и три четверти часа ползала у ног его. Все мольбы ее были безуспешны.

Меншиков между тем сидел в своем доме под арестом. Салтыков не отпускал его от себя ни на шаг. Когда светлейшему объявили первый раз об аресте, с ним сделался припадок, из горла пошла кровь; он упал в обморок, думали, что с ним будет апоплексический удар. Были в то время у него в гостях приятели: Волков, Макаров, князь Шаховской и Фаминцын. В первом часу ему пустили кровь. В два часа подали обед в предспальной комнате. Приятели ласкали его надеждами, что с ним не произойдет особенного бедствия, уволят его от двора и почестей, удалят в деревню, и будет он оканчивать жизнь в уединении, пользуясь скопленными заранее богатствами. Как бы в подтверждение таких надежд, ему дозволили делать распоряжения над своим достоянием.

Тогда Меншиков попытался склонить к себе в милость государя и написал к нему письмо такого содержания:

”По вашего императорского величества указу сказан мне арест, и хотя я никакого вымышленного перед вашим величеством погрешения в совести моей не нахожу, понеже все чинил я ради лучшей пользы вашего величества, в сем свидетельствуюсь неоцененным судом Божиим, разве, может быть, что вашему величеству или вселюбезнейшей сестрице вашей ея императорскому величеству учинил забвением или нерадением или в моих вашем величеству для пользы вашей представлениях: и в таком моем неведении и недоумении всенижайше прошу за верныя мои к вашему величеству службы всемилостивейшаго прощения и дабы ваше величество изволили повелеть меня из-под ареста освободить, памятуя речение Христа Спасителя нашего:

да не зайдет солнце во гневе вашем. Сие все предаю на всемилостивейшее вашего императорского величества разсуждение; я же обещаюсь мою к вашему величеству верность содержать всегда до гробу моего. Так же сказан мне указ, чтоб мне ни в какия дела не вступаться, так что я всенижайше прошу, дабы ваше величество повелели для моей старости и болезни от всех дел меня уволить вовсе, как по указу блаженныя и высокодостойныя памяти ея императорскаго величества уволен генерал фельдцейхмейстер Брюс. Что же я Кайсарову дал письмо, дабы без подписания моего расходов не держал, а словесно ему неоднократно приказывал, чтоб без моего или Андрея Ивановича Остермана приказу расходов не чинил, и он к тому определен на время, дабы под образом повелений вашего величества напрасных расходов не было. Если же ваше величество о том письме изволите разсуждать в другую силу и в том моем недоумении прошу милостиваго прощения”.

Вместе с письмом к государю арестованный временщик написал письмо и к великой княжне Наталье Алексеевне. Извещая о том, что Салтыков объявил ему арест, Меншиков выражался так: ”О чем и ваше высочество всенижайше прошу о милостивейшем к его императорскому величеству предстательстве, дабы из-под ареста был освобожден и от всех дел уволен вовсе” (Протоколы Верх. Т. Сов. Чт. 1858 г., III, 64).

Наконец (см. деп. Лефорта в Сб. Р. И. О., III, 495), 9 сентября подана царю записка о Меншикове, составленная Остерманом. Царь утвердил все, но велел отложить до времени приговор о лицах, осуждаемых вместе с Меншиковым: о Волкове и о свояченице Меншикова Варваре Арсеньевой. Меншикову было объявлено, что он будет отправлен в одно из его имений, в Ораниенбург (иначе Раненбург). У него отобрали ордена. С него взяли за подпискою обязательство ни с кем не переписываться.



11 сентября павший вельможа выехал из Петербурга, но не так, как ссылаемый в изгнание, а как боярин, удаляющийся на покой в свои вотчины. Он отправлялся с семьею своею в богато убранных каретах, заложных каждая шестерней лошадей. В одной из этих карет сидел сам князь со своею княгинею и свояченицею; в другой карете его сын с карликом, в третьей — дочери с двумя служанками, в четвертой — брат жены князя Меншикова Арсеньев. За этими каретами следовал ряд повозок с прислугою и домашнею рухлядью. По документам того времени видно, что выехало с ним сто пять берлинов, шестнадцать колясок, одиннадцать фургонов и одна колымага. Прислуги поехало с ним 127 человек, но в Любани на пути присоединилось к ним еще двадцать человек. По бокам обоза шло двадцать вооруженных солдат под начальством гвардейского капитана Пырского: это был конвой, препровождавший ссылаемого князя. Толпы народа высыпали на улицы смотреть на удаляющегося вельможу, которого величие блистало над Петербургом с самого основания этого города. Не жалели о нем русские люди; напротив, глядели на него с тем злорадством, с каким обыкновенно толпа сопровождает падение таких, что сами вышли из низкого звания и, поставленные судьбою на высоте, не умеют устоять на ней, без того чтоб не заняться, и оттого падают. Но все жалели жену Меншикова, потому что ее считали очень доброю женщиною.

В начале своего путешествия Меншиков был уверен, что удалением от двора все дело его кончится, и он будет пребывать в своих имениях до тех пор, пока не изменятся обстоятельства. Но по дороге с ним происходили неприятности одна за другою, и они показывали, что враги Меншикова не удовольствуются тем, что сделали, а будут медленно растравлять нанесенную рану. Из Петербурга вслед за Меншиковым посылались курье-

ры один за другим и возили новые распоряжения, стеснительные для изгнанника. Сперва один курьер явился с приказанием обезоружить прислугу. Потом в Валдае случилось такое происшествие. Дворецкий Богдан Родионов упросил Пырского дозволить женщинам и девушкам из прислуги с двумя служителями проехать вперед одну станцию. Пырский дозволил, но на следующей станции не нашел поехавших вперед, их догнали в Москве и отвезли по дороге назад. Пырский, рассердившись на дворецкого Родионова за самовольный проезд прислуги, держал его под арестом всю остальную дорогу.

Вероятно, приключение с прислугою в Валдае имело свое влияние, когда Пырский по своей обязанности донес о нем Верховному тайному совету; как бы то ни было, в Твери догнал Меншикова другой курьер и привез приказание отправить назад в Петербург лишние экипажи и прислугу, какую найдут излишнею, распорядился этим Пырский. В Клину третий курьер, по прозвищу Шушерин, привез приказание отобрать и отправить в Верховный тайный совет ордена от сына Меншикова, дочерей его и Варвары Арсеньевой, сверх того, обручальное кольцо у невесты императора, а ей возратить ее собственное, бывшее на руке государя. Сам Шушерин, отправивши эти вещи с другими, по данной ему инструкции, отлучил от Меншиковых его свояченицу Варвару Арсеньеву и повез на заточение в монастырь в Александровской слободе.

Меншиковым не дозволили проехать через Москву, и объехали ее. 3 ноября наконец Пырский привез своих узников в Ораниенбург и поместил их в собственном меншиковском доме, находившемся в крепости. Пырский должен был, согласно инструкции, оставаться постоянно при Меншикове в качестве надзирателя за его поступками. Ворота в крепости, где стоял дом, должны были запирались по пробитии вечерней зари и оставаться

запертыми вплоть до пробития утренней зари. Караул был постоянный; часовые расставлены были по комнатам князя и детей его. Ни через кого посылать писем нельзя было мимо Пырского. Меншиков мог писать не иначе как в присутствии Пырского. 5 января 1728 года Пырский был заменен капитаном гвардии Мельгуновым (Есип., "Ссылка кн. Менш.", От. Зап. 1860, № 8, стр. 381, 426).

Враги Меншикова не оставляли князя в покое во время его пребывания в Ораниенбурге: Долгоруковы особенно старались погубить его, чтоб самим стать на той высоте, с какой был низвергнут Меншиков. С ними заодно действовал Остерман. Верховный совет делал все, что представлял Остерман, в качестве обер-гофмейстера царского сообщавший волю государя совету.

Всеобщее мнение давно уже утвердилось, что Меншиков нажил состояние взяточничеством и казнокрадством. Теперь, после его падения, всплывало наверх многое, что прежде не смело показаться на свет.

23 сентября в совете было читано принца Морица Саксонского (претендента на Курляндское герцогство) письмо, отданное Меншикову в день его ареста. Из этого письма открывалось, что Мориц обещал князю одновременно две тысячи червонцев и, кроме того, ежегодный взнос на всю жизнь по сорока тысяч ефимков, если Меншиков пособит ему получить герцогское достоинство. Поднялись и другие доносы, и 9 ноября состоялся указ описать все движимое имущество Меншикова, находившееся в покинутых московских и петербургских домах, дачах и деревнях. У него, как сообщает по современному рассказам Лефорт (Деп. 25 нояб. 1727 г. Сб. Р. И. О., т. III, 507), описали тогда на 250 000 одного столового серебра, 8 000 000 червонцев, на тридцать миллионов серебряной монеты и на три миллиона драгоценных камней и всякого узорочья. Сам Лефорт не считал это вероятным. 17 ноября доставлена была из Стокгольма реляция

графа Николая Головина о том, что Меншиков писал к шведскому сенатору Дикеру: хотя русские министры стараются, чтобы Швеция не приступала к Ганноверскому трактату, выгодному для Англии, но на это не следует обращать внимания; войско русское все у него, Меншикова, в руках, а здоровье государыни Екатерины, тогда бывшей на престоле, слабо, и век ее продолжиться не может, и чтобы сие приятельское внушение Швеции не было забвенно, ежели ему какая помощь надобна будет. Кроме того, открывалось, что Меншиков шведскому посланнику Цедеркрейцу в Петербурге объявлял о том же и взял с него взятку пять тысяч червонных, присланных английским королем. Говорили, будто у Меншикова отыскалось письмо к прусскому королю, в котором просил себе займы десять миллионов талеров, обещаясь со временем возратить, когда получит полномочие. Оказалось тогда, что Меншиков, вымогая многое от разных лиц, злоупотреблял подписью государя и, заведая монетным делом в России, приказывал чеканить и пускать в обращение монету дурного достоинства. Поставили ему в вину его поступки с голштинским герцогом и его супругою. Он взял с них (как мы уже сказали выше) взятку 80 000, из которых 60 000 положил на счет казны. Кроме того, герцогу и его супруге подарен был казенный долг, следуемый с английского купца Мерсеи; Меншиков взял насильно себе половину этого долга и уже получил от голштинского министра барона Штанге 2 000 рублей, в чем и дал расписку.

Нарядили судную комиссию для исследования преступлений Меншикова. Взяли под арест секретарей его, Виста, Вульфа и Яковлева; но те, однако, ничего предосудительного за Меншиковым не сказали. Наконец, отправили к Меншикову сто двадцать вопросных пунктов по разным возникшим против него обвинениям (Проток. Верх. Тайн. Сов. Чт. 1858 г., III, 69, 70).

После отправки Меншикова в Ораниенбург царь извещал голштинского герцога о судьбе, постигшей человека, бывшего постоянным недоброжелателем герцога. Главною виною Меншикова поставлялось неуважение, оказываемое членам императорской фамилии, и в том числе жене герцога.

Бывший друг князя Меншикова Остерман, так много содействовавший его падению, мог по своему положению стать таким же всемогущим властелином, каким был Меншиков; но Остерману тотчас же пришлось увидеть соперничество в возраставшей силе Долгоруковых, отца и сына. Они стали его злобными врагами, хотя старались не казаться ими. Примкнули к Остерману и составили одну партию с ним Апраксин и Головкин; Голицыны, враждующая тогда с Долгоруковыми, не сходились и с Остерманом, а пытались составить свою, третью партию. Между особами царского семейства также не было единодушия. Сестра государя, великая княжна Наталья Алексеевна, будучи по возрасту старше государя одним годом и тремя месяцами, имела над ним большое влияние; она была расположена к Остерману, и ей-то особенно Остерман был тогда одолжен тем, что сохранил свое значение царского руководителя. Дружеское расположение великой княжны к Остерману было очень не по сердцу отцу и сыну Долгоруковым, и они, прежде расположенные к Наталье Алексеевне, стали от нее отдаляться и сближаться с цесаревною Елисаветою, а последняя все более и более получала власти над сердцем государя; скоро, однако, Долгоруковы должны были покоситься и на цесаревну Елисавету, как только стали замечать, что она не хочет быть у них в покорности и сближается с противниками их — Голицынами. Прежде Долгоруковы сами старались сводить царя с теткою, а теперь раскались в этом и стали стараться, как бы отвести от нее государя.

Молодой царь, поставленный в водо-

вороте разных партий, начал показывать в своем характере такие черты, что иностранцы, следившие за ходом дел при дворе, находили, что в некоторых случаях Петр Второй напоминал своего деда Петра Первого именно тем, что не терпел никаких возражений и непременно требовал, чтоб все делалось вокруг него так, как ему хочется. В самом деле, юность Петра Второго с юностью Петра Великого сходствовала, главным образом, тем, что оба они, и дед и внук, в отроческом возрасте объявлены были государями, и с самодержавною властью, оба рано привыкли видеть пред собою раболепство и считать себя выше всех прочих людей в государстве. Оба стремились предаваться по своему произволу забавам, однако стремления у них имели неодинакие свойства. У Петра Великого во всем видна была любознательность, желание научиться и создавать новое; Петр Второй повторял слышанные им от других слова, что знатным особам нет необходимости быть образованными, а царь, как человек выше всех, не нуждается в надзоре людей, которые бы имели право его останавливать. Такие взгляды внушали ему Долгоруковы в те дни, когда нужно было им спихнуть Меншикова. Отрок легко усвоил эти взгляды, потому что ему хотелось жить как взрослому, а не как ребенку. Петр Великий катался в лодке по Яузе, как будто ради забавы, но тут уже видны были зачатки его великой любви к мореплаванью, создавшей в России морскую силу; Петр Великий устраивал себе потешные отряды из отроков и потешался с ними походами и примерными битвами, но тут же видно было в нем будущего знатока военного искусства и создателя русской армии. У Петра Второго забавы были для одной забавы. Моря Петр Второй не любил, но сухопутная война, по-видимому, его несколько занимала: он, как его дедушка, окружил себя дворянскими отроками от десяти до пятнадцати лет возраста, однако все ограничивалось ребяческими играми.

Остерман сам, в своей программе для царского обучения, предоставил Петру много времени для отдыха и развлечения. Сообразно такой программе царь занимался учением только до полудня, а в остальное время дня гулял, по вечерам играл в карты с сестрою и Елисаветою, тешился военными эволюциями с кадетами или отправлялся на охоту. Естественно, что, имея свободного времени для забав и развлечений более, чем для учения, Петр полюбил забавы и развлечения больше, чем учебу, а молодой князь Иван Алексеевич поддерживал в нем такое предпочтение забав учению. Собственно, Остерман, не утомляя воспитанника принудительными мерами обучения, имел в виду внушить ему такое настроение, чтоб он без всякого внешнего принуждения получил любовь к дельным занятиям, а царь под влиянием Долгоруковых стал падок на веселое препровождение времени, и Остерману скоро пришлось пожалеть, зачем допускал к царю Долгоруковых слишком близко. Через месяц после удаления Меншикова Остерман заметил, что царь с ним становится холоднее, сдержаннее, и такая холодность к наставнику увеличивалась по мере усиления горячей привязанности к любимцу и доверия к отцу любимица. Остерман решился объяснить с царем с полною откровенностью. Остерман выставил на вид Петру свою верность, указывал на то, что царь слушает не его, а тех, которые угодничают ему как государю из видов собственной пользы. Наставник, разговаривая с царем, прерывал речь свою слезами; расчувствовался и Петр; он уверял Остермана в полном своем к нему доверии. В самом деле, Петр любил Остермана, и в это время, когда другими замечалась в его обращении с наставником холодность, он любил его так, что посторонние, всмотревшись пронизательнее, находили, что царь без Остермана жить не мог (Лефорт, *ibid.*, 501). Однако после уверений в любви и преданности к своему наставнику Петр

все-таки увлекался опять праздными забавами с Долгоруковыми, от чего удерживал его благоразумный наставник. Царь стал превращать ночи в дни, рыскал Бог знает где со своим фаворитом, возвращался на рассвете и ложился в семь часов утра, не досыпал и целый день оставался в дурном расположении духа. Повторял не раз свои наставления Остерман — ничто не помогало; тогда барон Андрей Иванович с досады притворился больным. Думал он, быть может, этим потрасти царя, но это повело к худшему: считаясь больным, Остерман должен был молодого царя поручить попечению своего помощника, князя Алексея Григорьевича, а тот оставил царя в сообществе своего избалованного сына. Петр день ото дня становился своенравнее, и даже у него уже являлась склонность к жестокости. Все придворные относились к нему с подобострастием, исполняли раболепно все, что отрок-царь ни задумывал, и это очень портило нрав Петра. Он принимал свойства тех пустых натур, которым труднее всего на чем бы то ни было остановиться и сосредоточиться. Во время свадьбы Сапеги с Софьею Скворонскою, родственницею императрицы Екатерины, царя не могли удержать за столом на то время, когда другие гости там сидели. Он поспешил уйти в другую комнату, и тут некоторые заметили, что сколько-нибудь чинное благовоспитанное общество, где нужно соблюдать приличие, было ему противно. Ему более нравилось общество гуляк; говорили, что у него уже показывалась склонность к пьянству, и это казалось вполне естественным и наследственным: дед его и отец были подвержены тому же пороку (Лефорта депеша 27 ноября, *ibid.*, 508).

Остерман, оправившись от своей мнимой болезни, узнал, что царь вел себя противно тому, как ему наставник постоянно советовал и как Петр сам обещал вести себя. Тогда Остерман высказал царю в таких словах: "Ваше величество, моих советов не слушаете. Я дол-

жен отдавать за вас, государь, отчет пред Богом и совестью! И поэтому я бы хотел, чтобы меня определили к другим делам или вовсе дали отставку". Царь, как и прежде, удерживал его от намерения покинуть своего воспитанника, со слезами уверял, что более всех уважает Остермана и ценит его добрые советы. Однако и после таких нежных объяснений с наставником Петр тотчас принялся за прежнее. Уже говорили, что дружба с фаворитом довела Петра до таких забав, какие несвойственны его отроческим летам: князь Долгоруков доставил ему свидание с одной девушкой, служившей прежде у Меншикова и находившейся потом у цесаревны Елисаветы: ей обещали пятьдесят тысяч рублей (Лефорт, Сб. И. Общ., III, 513). Против такого рода увеселений сильно вооружался Остерман, и вместе с ним старалась действовать на царя сестра его Наталья, но с тех пор Петр, бывши до того времени с ней очень дружен, стал на нее коситься.

Между тем старолюбцы надеялись, что дела пойдут лучше, когда царь свидится со своею бабкою, и с нетерпением ожидали, когда Петр поедет в Москву короноваться. Манифест о предстоящем отъезде его был подписан Петром 21 октября (Weber, Veränderte Russland., III, 106).

Бабка государя, инокиня Елена, хотя еще Меншиковым освобождена была из Шлиссельбургского заточения, но до ссылки князя не осмеливалась вести переписки с внучатами. Первое письмо ее из Москвы к Петру писано 21 октября. Она писала тогда, когда уведомила, что Меншиков, не допуская ее до царя и отославший ее за караулом в Москву, "за свои противности отлучен", и поразвляла царственного внука с этим радостным событием. Остерман, как знаток человеческого сердца, заблаговременно расчел, что царь и сестра его могут прильнуть душой к своей бабке, и после ссылки Меншикова писал к старухе, что "дерзновение восприял ея величество

во всеподданнейшей своей верности обнадежить", а за этим письмом следовали другие письма. Остерман в них уверял царицу, что старается уговорить государя скорее отправиться в Москву для свидания с бабушкой. Старая царица писала Остерману: "Благодарна, что обнадеживаешь меня о горячести его императорскаго величества любезнаго внука моего, и прошу содержать его величество и впредь в склонности ко мне и чтоб я могла скорее его видеть. А за верную службу вашу государю воздаст вам Бог!" "Благодарю за услугу твою, что хранишь здоровье внука моего, и впредь о том же прошу". 22 октября Остерман отправил ей описание бывшего в день царского рождения фейерверка, манифест о предстоящей коронации и портрет государя (Письма Рус. Госуд., II, 81). И снова он уверял царицу, что ничего так не желает, "как того, чтоб ея величество была всемилостивейше благонадежна о его вернейшей преданности к ея высокой особе".

Между царем и его сестрой, с одной стороны, и его бабкою, с другой — всю осень и зиму до приезда царского в Москву шла нежная переписка. "Внук мой дорогой, — писала царица 25 сентября (стр. 70), — здравствуй и с сестрой своей, а с моею дорогою внукою, с княжной Натальей Алексеевной. Дай, моя радость, мне себя видеть в моих таких несносных печалях, как вы родились, не дали мне про вас слышать". Царственный внук писал ей о своем желании скорее увидеть свою бабушку и надеялся, что это произойдет скоро, потому что он собирается в Москву для коронации. "Радуюсь, — писала Евдокия, — что по долговременном терпении своем имею надежду вскоре видеть очи ваши и сестры вашей, любезнейшей внуки моей, и молю Бога, дабы меня немедленно сподобил того, чтоб я в добром здравии вас обоих по природной горячести моей видеть и родителским зрением утешиться могла" (стр. 82). Петр приказал отправить

бабушке десять тысяч рублей и свой портрет, а бабушка прислала внукам в подарок платков и звезду с лентой своего низанья. Великая княжна Наталья послала после того бабушке маленький презент: книжку, молитвенник киевский. По просьбе царицы при дворе Петра II был принят ее племянник Федор (Пис. Р. Г., II, 116). Остерман был как бы посредником между бабушкой и внуком и сообщал старухе, что, по его старанию, государь дал указ удвоить ее свою бабушку людьми и всякими припасами. За это благодарил его старуха. Замечательно, что Остерман расчел, что может поддержать расположение к себе старухи короткими, как бы мимоходом сказанными в сочувственном духе намеками на ее прежние, уже минувшие несчастья. "Капитан-поручик Лавров, — писал между прочим Остерман 7 ноября, — объявил мне об ужасном и неслыханном терпительном прежнем содержании вашего величества в Слюселебурге, о котором я не оставил его величеству и ея высочеству донести, и оные купно со всеми добрыми людьми от всего сердца сожалеют и будут стараться, дабы ваше величество всеми возможными образами паки обрадовать, яко же и правосудный Бог тех, которые тому причиною были, судить не оставит" (Письма Р. Госуд., II, 97). Из одного письма царицы к Остерману видно, что были попытки поставить недружелюбное отношение между бабкою государя и его воспитателем. Ноября 2-го, между прочим, Евдокия пишет вице-канцлеру: "Я истинно об вас ничего пустаго не слыхала кроме всякой услуги ко внуку моему и ко мне; и ежелиб кто мне и говорил и у меня этого никогда не бывало, чтоб мне верить и впредь не будет, что я вижу от вас услугу к нему и к себе" (стр. 94). Неясные эти намеки на что-то, нам неизвестное, поясняются известием Лефорта, который следил за тем, что делалось тогда в высших кругах в России, и сообщал об этом своему правительству. Он говорил, что Дол-

горуковы писали к государевей бабке, выставляли пред нею свою преданность и чернили Остермана. Инокания Елена, говорит тот же Лефорт, отправила их письма к императору, своему внуку. Лефорт мог не знать в точности, как происходило дело, и писать мог по слухам, а быть может (что всего вероятнее), царица-бабка не отсылала внуку писем Долгоруковых, но со стороны Долгоруковых могли быть попытки нарушить дружеские сношения царицы-бабки с вице-канцлером: однако такие попытки им едва ли удавались. Остерман слишком хорошо изучил всю подноготную русской жизни, и не так-то легко было сбить его с пути. Искренно расположенный к царю, видя, что Долгоруковы возымили над ним влияние, Остерман надеялся, что авось, быть может, этому влиянию может противопоставиться родительское влияние бабки, когда царь придет в Москву и повидается с бабкою, и потому Остерман так сходилась со старухою и так старался заранее приобрести ее расположение.

Между тем царь, достигши тринадцатилетнего возраста, нагляднее показывал охоту казаться взрослым, но при этом продолжал повесничать, и в декабре 1727 года опять имел столкновение со своим воспитателем. "Мои труды пропадают даром, — говорил Остерман царю, — потому что ваше величество меня не слушаете ни в чем!" Царь не стал слушать его наставлений и ушел прочь. После того он предался обычной своей праздности, уклонялся от занятий, и Остерман стал опять упрекать его. "Извините меня, государь, за мою смелость, — говорил он, — если б я теперь не предостерегал вас, то, пришедши в возраст, вы бы велели мне отрубить голову. Я не хочу быть свидетелем вашего падения и желал бы, если б вы, государь, изволили отставить меня от должности царского воспитателя". "Не отходите и не оставляйте меня вашими советами, — сказал царь, — я всегда буду во всем слушать вас". Царь, говоря это, плакал. Но

и на этот раз трогательное объяснение царя со своим наставником не имело последствий, как и прежние объяснения такого же рода. Царь опять впал в праздность в сотовариществе своего фаворита, князя Ивана Алексеевича. Цесаревна Елисавета не утратила еще прежнего влияния на Петра. Вместе с нею заодно стояла царская сестра, великая княжна Наталья: обе были тогда на стороне Остермана. На счастье ему, противники его, Голицыны и Долгоруковы, не ладили между собою. Но говорили, что готовился тогда выступить на него и еще один противник, Шафиров, живший тогда в Москве, как бы в почетной ссылке. Он сближался с бабкою императора, чуть не каждый день посещал ее и приобрел к себе ее расположение: стали пророчить, что как только царь повидается с бабкою, так бывшая царица возьмет над внуком силу и за собою потянет вверх Шафирова, и тогда недобровать Остерману, который в качестве вице-канцлера занимал ту должность, какую когда-то имел Шафиров. Но Остерман, как выше мы указывали, старался заранее своей угодливостью застраховать себя со стороны царицы-бабки. Эта бабка теперь вдруг поставлена была в такое положение, что государственные люди соперничали между собою, старались заручиться ее покровительством и наперерыв забегали вперед один перед другим. Но инокиня Елена от того не завалилась; ревностная исполнительница всех обрядов церкви, она в последние годы так приучила себя к монашеской нестяжательности и нищете, что заглушила в себе всякие стремления к честолюбию и роскоши. Современники говорят, что инокиня Елена была такая строгая постница, что в великую четырехдесятиницу в продолжение многих дней почти не касалась пищи (Леф. деп. 17 мая 1728. Неггн. 521).

Цесаревна Елисавета, разошедшись с Долгоруковыми, сближалась с их противниками Голицыными, а через то самое Голицыны стали входить в близость

к царю. При посредстве Голицыных Петр сошелся с зятем фельдмаршала Голицына Бутурлиным и, допустив его быть товарищем юношеских забав, начал было пристращаться к нему; при дворе начинали предекрять: вот молодой Бутурлин оттеснит молодого Долгорукова, станет на его месте фаворитом государя. Однако Долгоруковых столкнуть было в то время очень трудно, несмотря на то, что они, отец и сын, постоянно между собою не ладили; отец даже завидовал сыну, а между тем оба они умели превосходно держать Петра в руках и согласно между собою пользовались слабыми сторонами нрава царя. Петру хотелось более всего, чтоб его признавали уже взрослым; ему ничто не было так омерзительно, когда давали ему понять, что считают его еще ребенком. Долгоруковы поняли это и исполняли его желания. Князь Алексей Григорьевич, товарищ Остермана по должности царского воспитателя и руководителя, ставил себя в положение царского советника, готового по своей верной службе сказать свое мнение, когда того потребует от него государь. Подмечая, что Петр ненавидел над собой опеки, Долгоруковы не смели ни поступками, ни словами высказать, что государь у них под опекою, хотя на самом деле так именно и было. От этого-то и укрепились так Долгоруковы. Были фамилии, по крови более близкие к молодому царю, — таковы Лопухины и Салтыковы, однако все ожидания и соображения, построенные на родственной близости их к молодому царю, не оправдывались. Долгоруковы оставались в прежней силе.

Еще 21 октября царским манифестом объявлено было, что царь отправится в Москву короноваться, и в ноябре стали в Петербурге об этом ходить разные толки и суждения. Странники Петровых преобразований и с ними все иностранцы, как жившие и служившие в России, так и дипломаты, строившие свои политические расчеты на дружественной связи с Россиею, очень боялись такой царской

поездки в Москву; они все предвидели, что, захавши раз в столицу предков, отрок-царь уже не вернется в Петербург: в Москве старолюбцы опутают его молодой ум и не пустят идти по дороге, проложенной его дедом. Шел вопрос о том, какой Руси предстоит господство: новой ли, только что, так сказать, рожденной Петром Великим, или старой. С новой Русью соединен был новопостроенный Петербург, со старою — Москва, столица древних царей; восторжествует новая Русь, столица утверждена будет в Петербурге, а станется иначе — в Москве будет столица, как встарь была. От того, где будет находиться столица — там или здесь, — зависело и торжество новых либо старых начал. Потому-то сторонники Петровского преобразования сильно хотели, чтоб царь и двор оставались в Петербурге; на стороне Петербурга были тогда с ними заодно и послы иноземные; в своих депешах изъявляли они такое убеждение, что польза их дворов от сношения с Россиею необходимо требует, чтоб столица Русского государства была в Петербурге, а если перейдет она в Москву, тогда все для их видов пропало. Противников их, старолюбцев, существовало два вида. Одни допускали, так сказать, некоторый компромисс с западным европейством; такие старолюбцы собственно заклятыми врагами иноземного просвещения не были, но их идеал не достигал до того реализма, по которому преобразовать хотел Петр Россию; они допускали чужеземщину настолько, насколько допускали ее отцы их и дяди, поколение, черпавшее мудрость в Киевской коллегии или в Славяно-греко-латинской академии. Многие из этих отцов и дядей сошли уже в могилу, другие были тогда уже стариками, но дух их жил еще отчасти в их детях, и последние, хотя люди не очень старые по летам, были по убеждениям старолюбцами: они ненавидели Петербург с его новозаведенными порядками, чуждыми русской жизни в прежние времена;

их пленяла старая Московская Русь с ее колоколами, с ее обрядностью церковною, придворною и домашнею, и даже с ее обжорством и ленью. Для этих людей надеждою казалась царская бабка. Тогда твердили, что эта бабка иностранцев не терпит, пророчили, что как только она войдет в силу, тогда горе будет всем иноземцам и всем сторонникам иноземщины. Такие прорицатели грозили Остерману; он, думали они, станет первую жертвою злости царицыной к иноземщине. Но того не знали мудрые прорицатели, что ловкий Андрей Иванович заручился уже дружбою и покровительством старухи, хотя не видал ее вовсе в глаза, и что сама инокиня Елена так отрезалась от мирской суеты, что не могла уже руководить ничем в деле управления государством. Расположивши к себе царицу-бабку, Остерман и между русскими вельможами поставил себя так, что те из них, которые, будучи старолюбцами, его недолюбливали, признавали его слишком полезным человеком. Из всех сановников того времени не было никого трудолюбивее барона Андрея Ивановича, а из русских вельмож было довольно таких, которые были рады, когда за них другой будет работать. Хитер был Остерман и лжив — в один голос говорили о нем иностранцы, оставившие после себя известия о России, но и злейшие враги его не могли сказать, чтоб он был корыстолюбив или пролагал себе к возвышению пути по головам других, и потому становится понятным, что Остерману хотя и не любили русские вельможи, но делать ему решительного зла не хотели.

Цесаревна Елисавета в это время стала сходитьяся с Остерманом. Видно было, что племянник-царь все более и более к ней пристращается; боялись, чтоб она не овладела его сердцем совершенно и не сделалась императрицею, несмотря на то, что она была теткою императора: ведь еще при Екатерине Остерман делал соображения о браке тетки с племянником, стараясь оправдать такой брак



софизмами. Долгорукоты очень боялись, чтоб этого не случилось. Прежде, с целью окончательно возбудить в царе отвращение к княжне Меншиковой, его невесте, они сами сблизали племянника с теткою; теперь у них возникло желание устранить от царя Елисавету, выдать ее замуж за какого-нибудь чужестранного принца и таким путем пресечь ее нравственное влияние на царя. Жених для Елисаветы на примете находился: принц Мориц Саксонский, бывший прежде женихом курляндской герцогини Анны Иоанновны. Он прежде домогался сделаться курляндским герцогом, но Россия помешала этому намерению, потому что у России были политические виды на Курляндию; теперь возможным казалось и удовлетворить разом Морица, и не нарушить интересы России: надобно было женить его на цесаревне Елисавете и тогда сделать его курляндским герцогом. С его стороны было сделано об этом заявление через его поверенного Бакона в Петербурге. Русские вельможи, не хотевшие, чтобы Петр женился на своей тетке, увидели тут удобный случай спроводить Елисавету. Составляли вместе с тем план удалить от государя и сестру его, великую княжну Наталью Алексеевну, еще больше, чем Елисавета, преданную Остерману; думали выдать ее замуж за принца прусского, но это предположение не удавалось, потому что со стороны прусского короля об этом не было искаательства, напротив, слышалось, что прусский король желал тогда породниться с английским королевским домом. Испанский посланник Де Лирия намеревался женить своего принца-инфанта Дон Карлоса на великой княжне и доносил в своей депеше, что она сама этого желала.

9(20) января 1728 года царь Петр выехал из Петербурга в Москву со всем двором. Такого царского путешествия не бывало, если не считать поездки царя Петра I в Москву для коронации Екатерины; теперь подобное совершалось гораздо в более широком объеме. Все пра-

вшае государством во всех отраслях управления последовало за царем в старую столицу, и Петербург, по замечанию иностранного посланника, вдруг обратился в пустыню. В те времена путешествие двора из Петербурга в Москву имело такой вид, какой в наше время могла бы иметь разве экспедиция в отдаленнейшие пределы империи. На всем пути от Петербурга до Москвы, кроме городов, через которые была проведена большая столбовая дорога, нигде было купить самого необходимого для жизни. На ямах, где переменили лошадей, не было приличных и просторных помещений, приходилось довольствоваться приютом в курных избах. Знатные и богатые путешественники должны были запасаться почти всем в Петербурге на всю дорогу до Москвы, и можно вообразить, как это было неудобно, особенно зимою; вся съестная провизия в морозы замерзала, в оттепель растаивала, а где приходился ночлег или обед, там происходило долговременное приготовление кушанья своими поварами. Так вообще езжали того века знатные господа; так ехал государь, за которым следовало много господ, а при каждом из этих господ следовали дворня и поварня.

12(23) января Петр II въехал в Новгород с такими церемониями, какие давно уже не виданы были в этом древнем русском городе. Были построены для царского шествия в город триумфальные ворота; перед этими триумфальными воротами выставлено было четыреста мальчиков в белых одеждах с красными перевязями или поясами. В их толпе развевалось три знамени; одно знамя представляло собой символически то исторической знамя, которое велел когда-то сделать Константин Великий; на нем было вензелевое имя Спасителя. Из этой толпы отроков выступили двое; они произносили царю приветствие, один — по-латыни, другой — то же самое по-русски. Содержание этого приветствия было такое: "Сей древний и великий

град, бывший некогда столицей вашего величества светлейших предков, посылает нас, детей своих, к стопам вашим выразить внутренния чувствования сердец наших, исполненных верностью, любовью и покорностью к вам, могущественный император, и пожелать вашему величеству всевозможнейшаго благополучия, а граду сему вашей любви и могущественнаго покровительства. Царь царствующих да дарует вам долгоденственное царствование, о сем Бога молит духовный чин со всеми жителями, возсылающими свои сердечныя моления". Затем царь, въехавши в город, отправился в Софийский собор, посреди двух рядов духовенства в облачении, певшего церковные песнопения по чину. В соборе царь слушал торжественное богослужение. Литургию совершал архиепископ Феофан Прокопович. После поклонения местным иконам и мощам государь с генералитетом был на обеде, приготовленном в архиерейских палатах. Заблестал великолепный фейерверк. Устроено было пятьдесят пирамид с надписью: "Бог сотвори сие", а у городских ворот было огненное изображение царя Соломона с надписью: "Соломон воссел на престоле отца своего Давида".

Царь обозрел достопримечательности города. Сам он показывал архиепископу и окружающим архиепископа меч, который прислал царю в дар дядя его, римский император. При этом Петр сказал: "Русский престол берегует церковь и русский народ. Под охраною их надеемся жить и царствовать спокойно и счастливо. Два сильных покровителя у меня: Бог в небесах и меч при бедре моем!"

Выехавши из Новгорода, царь приехал в Тверь и там почувствовал себя нездоровым: это заставило его приостановить свой путь. У него открылась корь, и пролежал он в Твери четырнадцать дней.

Между тем бабушка никак не могла дожидаться своих милых внучат, о которых долго не смела даже ни у кого

спрашивать. "Пожалуй, свет мой, — писала она к великой княжне Наталье Алексеевне, — проси у братца твоего, чтоб мне вас видеть и порадоваться с вами. Как вы родились, не дали мне, право, слышать, не то что видеть". Писала она и к заочному приятелю своему Остерману и после обычной благодарности за попечения о внуках выражалась: "О том вас прошу, чтоб мне внучат моих видеть и вместе с ними быть, а я истинно с печали чуть жива, что их не вижу. А я истинно надеюсь, что и вы мне будете рады, как я при них буду, а мне истинно уж печали наскучили и признаваю, что мне в таких несносных печалех и умереть, и ежелиб я с ними вместе была, и я б такая несносная печали все позабыла" (Пис. Р. Госуд., II, 121). Царица просила своего царственного внука быть милостивым к Александру Строганову, которого мать была близка к царице-инокине.

Оправившись от болезни, царь продолжал свой путь, но под Москвой опять сталась ему задержка. Готовилось торжественное вступление молодого царя в предковскую столицу. Опять бабушку взяло нетерпение, и она писала внуку: "Долго ли, мой батюшка, мне вас не видеть? Или мне вас вовсе не видеть? А я с печали истинно умираю, что вас не вижу. Дай-то, мой батюшка, мне вас видеть. Хоть бы я к вам приехала!" К Остерману она писала: "Долго ли меня вам мучить? Что по сию пору в семи верстах внучат моих не дадите мне видеть. Дайте хоть бы я на них поглядела да и умерла!" (П. Р. Госуд. II, 122).

Наконец приготовления к вступлению окончились, и 4 февраля царь въехал в столицу. До сих пор на всем пути от Петербурга до Москвы, исключая тех дней, когда Петр был болен в Твери, народ толпами бежал около царского поезда. Для Руси был тогда великий, давно ожидаемый, праздник. Любовь народа к Петру II выказывалась самым блестящим образом и имела в себе что-то особенное. Отрок-государь возбуждал ее

к себе своею своеобразною судьбою. В глазах всего русского народа Петр был истинный наследник престола, а между тем этого наследника неправильно отстраняли и разом преследовали тех, кто отваживался говорить гласно о его правах. Дед, Петр Великий, не любил его, как не любил он всего русского. Дед положил свое монаршее благоволение на русское платье и на русские обычаи. Нелюбовью ко всему русскому этот дед увлекался до того, что стал врагом своей собственной крови; этот дед мучил безвинно свою законную жену за ее любовь к старине, замучил своего бедного сына за то единственно, что сын не хотел идти по следам родителя и предпочитать чужое, немецкое — родному, русскому. Ненавистью к памяти замученного им же сына лихой царь не удовлетворялся, стал он ненавидеть и отродие немилостивого сына, не хотел, чтоб сирота-внук царствовал когда-нибудь! И потакавшие царю бояре, по смерти его, возвели на престол немку, которую царь при жизни своей объявил своею царицею незаконно, от живой жены; ее детям хотели передать наследие русских царей, а того, кто имел на него права, устранили совсем. Однако Бог не допустил до этого. По Божией святой воле досталось царство Русское тому, кому оно принадлежало по рождению. И вот теперь этот законный молодой царь возвращается в свою столицу, в первопрестольную Москву, недостойно униженную его лихим дедом. Так смотрел на тогдашние политические события в России народ русский. Все любовались царем, когда видели его на проезде. "Ах, какой он молодец! — говорили и старые и малые, мужчины и женщины. — Вот царь, так царь! Это будет настоящий русский царь!" Все склонности молодого Петра II были, казалось, настоящие русские. Покойный царь, дед его, полюбил море, завел флот, хотел насильно заставить русский народ любить море, как любил сам, но русский народ моря не полюбил. Оно ему издавна было

чужим и противным. Недаром русские вообще называли все, что было за пределами их земли, заморскими сторонами, хотя бы на границе между Россиею и этими землями моря не было. Все старания Петра Великого завести на Руси мореплавание ложились большой тягостью на русский народ и оттого были ему чрезмерно противны. Теперь народ узнал, что молодой царь моря не терпит и не пойдет по следам деда своего. Невзлюбил молодой царь и новой столицы, построенной на болоте, в чухонской земле, среди люторской веры, а полюбил Москву православную с ее золочеными маковками; теперь уже не будут неволить русского человека бросать свое родное пепелище, где жили его деды и прадеды, и переселять его на житье в проклятое болото. Москва опять станет средоточием русской жизни, как была встарь, с незапамятных времен. Какое счастье, какая радость русским людям! Какая горесть проклятым иноземцам и с ними их любителям! Завели гнездо на Руси иноземцы, собрались отовсюду разедавать здоровые соки русской державы. Теперь придется им убежать в заморщину или жить у нас не господами, а слугами. Так ликовал русский народ, так ликовали старолюбцы. Иноземцы и все русские, что искренно пошли по пути Петра Великого, теперь опускали голову; видели они, что все начатое Петром пропадает, опять воцарится на Руси прежнее невежество, прежняя спячка.

У нас нет достаточно подробных сведений о первом свидании царственных внучат со своею бабушкою, старую царицею-инокинею, но, по некоторым данным, видно, что оно происходило не очень сердечно. Великая княжна Наталья, любившая все иноземное, не хотела беседовать со старухою наедине, но при свидании с нею взяла с собой тетку, цесаревну Елисавету. Это сделано было для того, чтоб не заводила бабушка речей о таких предметах, о которых слушать и толковать внучке было неловко (Де

Лирия, стр. 46). Как встретился с бабкою царь, не знаем, но известно то, что в заседании Верховного тайного совета, переехавшего за царем в Москву, царь предложил назначить своей бабке-царице содержание, приличное ее высокому сану, и Верховный тайный совет ассигновал ей в год шестьдесят тысяч рублей и, кроме того, постановил приписать ей волость в две тысячи дворов и на ее домашний обиход определить придворный штат. Разом вместе с тем назначено было и для другой бабки царя, с матерней стороны, герцогини Бланкенбургской, по пятнадцати тысяч рублей в год. Соловьев, пользовавшийся письмами высочайших особ из Государственного архива, сообщает, что эта последняя царская бабка хлопотала о поведении внука, и невпопад. Как истая немка, и притом аристократка, она думала, что на ее внука имел дурное влияние Меншиков, человек низкого происхождения, но теперь можно исправить Петра при влиянии князей Долгоруковых, особ знатного происхождения. Бабушка-немка поручала брауншвейгскому поверенному, состоявшему при русском дворе, побеседовать с князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым, царским любимцем, и внушить ему уверенность в необходимости вывезти молодого царя из Москвы обратно в Петербург. В тот же день, когда в заседании Верховного тайного совета назначены были пенсионеры обеим царским бабкам, в число членов Верховного тайного совета приняты были князья Долгоруковы — Алексей Григорьевич и Василий Лукич. Последний еще при Петре Великом отличался на дипломатическом поприще и приобрел славу дельного, умного и полезного государственного человека. Любимец царя, князь Иван Алексеевич, еще был слишком молод, чтоб занять место между сановниками, но был возведен в чин обер-камергера. Эти три князя Долгоруковы составляли тогда, так сказать, триумвират лиц, овладевших особою государя.

В понедельник 18 февраля (1 мар. н. ст.) царица-бабка приехала к своим внучатам в Кремлевский дворец и просидела там довольно долго, но царь, как прежде сделала сестра его, уклонился от тайных задушевных бесед с бабушкой и заранее пригласил тетку, цесаревну Елисавету, чтоб и она находилась при свидании с бабушкой. Бабушка, однако, прочла внуку родительское нравоучение, укоряла его за беспорядочный образ жизни и советовала жениться, хотя бы на иностранке. Молодому царю не по вкусу было слушать старушечьи наставления, и после того, когда между придворными разнеслась весть о том, что бабушка журила царственного внука, твердили, что, верно, теперь царь захочет вернуться в Петербург, чтоб не слушать ворчания бабушки. Вместо ожидаемых сборов к такому возвращению двора, обнаружено было запрещение, под страхом наказания, толковать о том, воротится ли царь в Петербург или останется в Москве. На самом деле царь выезжать из Москвы не думал. Исполняя обычай предков, царь перед своею коронациею ездил в Троицкую лавру и там провел несколько дней в говении, как следовало пред совершением важного священного дела.

24 февраля (7 марта н. ст.) совершилась царская коронация обычным порядком. Подобно своим предкам, поступавшим так в подобных торжествах, Петр издал милостивый манифест, дававший подданным некоторые льготы: прощены крестьянам и дворовым подушные деньги, которые должны были собраться за майскую треть; прощены все штрафные деньги и освобождены из-под ареста те, которые содержались за поштины; смягчено наказание, определенное для осужденных уже преступников: тех, которых по приговору суда ожидала смертная казнь или ссылка в каторжную работу, повелено сослать в Сибирь без наказания, а тех, которые были присуждены к ссылке в Сибирь, велено сослать без наказания и предписать губернаторам опре-

делить их в службу. Князь Михаил Михайлович Голицын и два Плещеева — Иван и Алексей — в этот день произведены в тайные советники, а Лефор, Геннинг и Владимир Шереметев — в генерал-лейтенанты. На другой день князь Василий Владимирович Долгоруков (потерпевший при Петре по делу царевича Алексея, возвращенный Екатериною из ссылки и находившийся в то время при войске в Персии) приглашен ко двору с чином генерал-фельдмаршала; фельдмаршальский чин получил тогда и князь Юрий Трубецкой, бывший киевский губернатор; граф Андрей Апраксин и гофмаршал Елагин произведены в генерал-майоры; Миних получил графское достоинство и, сверх того, именование в Лифляндии, состоявшее из двадцати шести гаков земли: этою милостью обязан был он своей женитьбе на графине Салтыковой. В этот же день объявлены были милости архиатеру-президенту Медицинской коллегии Ивану и лейб-медику президенту Академии наук Лаврентию Блюментростам. Восемь дней после коронации в Москве шли празднества. Город с утра до вечера оглашался колокольным звоном, по вечерам горели потешные огни; в Кремле, и в разных местах Москвы за пределами Кремля, устроены были фонтаны, из которых струились вино и водка.

Друзья Меншикова хотели воспользоваться царским праздником и выпросить для удаленного князя милости, но взялись за это неловко и горько ошиблись. Через несколько дней после коронации у кремлевских Спасских ворот поднято было подметное письмо, в котором оправдывался Меншиков. Может быть, автор этого письма достиг бы своей цели, если бы в этом письме просили только милосердия к Меншикову, но в нем было написано более обвинений против врагов Меншикова, находившихся тогда в царской милости, чем доводов в защиту светлейшего князя. Это раздражило Долгоруковых, и они не только

не показали великодушия, не только не просили царя о милосердии к павшему их сопернику, а, напротив, старались усилить в молодом царе к нему злобу. Подметное письмо было таково, что задевало и Долгоруковых, и самого царя. В нем говорилось, что особы, заменившие Меншикова около молодого государя, ведут императора к образу жизни, недостойному царского сана. Таким образом, царь Петр представлялся каким-то глупцом, которым руководить и, так сказать, помыкать легко могут другие. Известно, что знатные и высоко стоящие лица всего менее прощают то, когда их уличают в слабости ума и воли. Было подозрение, что это письмо составлено с участием князей Голицыных, которые постоянно оказывали враждебное расположение к Долгоруковым, но их, по знатности их рода, не тронули. Немало учинено было арестов в домах не столько высоких персон, однако не дошли ни до чего.

28 марта издан был манифест, в котором государь обещал прощение тому, кто добровольно сознается в написании этого письма, а тому, кто откроет автора, награду; вместе с тем угрожала кара всякому, кто, зная об этом, не доведет до сведения верховной власти. Впоследствии оказалось, как говорили, что сочинителем подметного письма был какой-то священник, духовник царицы Евдокии; говорили, будто Меншиков через своих приближенных подкупил его. Дело было так. У княгини Меншиковой, кроме Варвары Арсеньевой, сосланной в Александровскую слободу в монастырь, была еще сестра Ксения Кольчева, жившая в Москве. Она желала помочь сосланной в монастырь сестре своей Варваре и, по совету какой-то своей соседки Бердяевой, через монаха Евфимия, завела сношение с монахом Клеоником, бывшим у царицы-бабки, инокини Елены, духовником. Кольчева добивалась, чтоб Клеоник как-нибудь склонил на милость царицу-бабку и та бы исходатайствовала у царя свободу Варваре Арсеньевой.

За это Клеоник взял с Колычевой взятку тысячу рублей. Освобождение Варвары не состоялось, а сношения в пользу ее открылись. Колычеву притянули к допросу, подвергли пытке хомутом и ремнем<sup>8</sup>; потянули к допросу и других. Никто из подозреваемых в подметном письме не сознался, но почему-то заключили, что это письмо писал Клеоник, обличенный уже в плутовской проделке по поводу ходатайства пред царицею-бабкою об Арсеньевой. Всех разослали и — по известной русской пословице: с большой головы на здоровую — принялись за Меншикова. Как бы то ни было, только подметное письмо в пользу Меншикова, поднятое у Спасских ворот, вместо желаемой пользы принесло окончательное падение бывшего временщика. Верховный тайный совет бедного Меншикова, как бы уличенного в участии в составлении подметного письма, приговорил к тяжелой каре: лишив всего его имущества, сослать с семейством в Березов, в Сибири, на реке Оби, а сестру жены Меншикова Варвару Арсеньеву сослать в Сорский женский монастырь в Белозерском уезде и там выдавать ей по полуполтине в день на содержание.

Во исполнение указа Верховного тайного совета Меншикова с семейством отправили в Сибирь с особенными приемами жестокости и дикого зверства. Мало казалось того, что у него тогда отняли все недвижимое и движимое имущество: дома в Москве (на Мясницкой, у Боровицкого моста, на Яузе, на Хопиловке, в Слободах), в Петербурге (на островах: Васильевском, Адмиралтейском, Крестовском), в Ораниенбауме, в Ямбурге, в Нарве, в Копорье на Ижоре и в разных дачах; дома, удивлявшие современников роскошью мебели, обоев из китайского штофа, вызолоченной кожи, разрисованных кахлей; сады, пыльные мельницы, множество мыз и населенных деревень в тридцати шести великороссийских губерниях, в Ингерманландии, Эстляндии, в Малороссии (при них

одной пахотной земли числилось 152 356 десятин, кроме лесных угодий и сенных покосов, считаемых не десятинами, а десятками верст); все движимое имущество: экипажи, лошади, столовые приборы, кухонные запасы, деньги (в одном доме на Мясницкой взято было 72 570 рублей), богатый гардероб, множество бриллиантов и золота в украшениях, — все было отнято в казну и потом много раздарено другим лицам. Этого казалось недостаточно. Когда 16 апреля вывезли ограбленного временщика из Ораниенбурга с семейством в рогожной кибитке, приставы (Плещеев и Мильгунов), давши проехать восемь верст, догнали его с воинскою командою и с толпою дворни, прежде принадлежавшей князю, и приказали выбрасывать из кибитки все пожитки под предлогом осмотреть: не увезли ли ссыльные с собою лишнего. Тогда их обообрали до того, что князь Александр Данилович уехал только с тем, что на нем было надето, не имея даже лишнего белья для перемены, а у его дочерей отняли сундуки, в которых было уложено теплое платье и материалы для женских работ. Княгиня Дарья Михайловна, ослепшая от слез, отправилась в путь больная и на дороге умерла 10 мая в Услоне, близ Казани. Едва дозволивши мужу и детям похоронить ее, 11 мая ссыльных повезли далее в судне по Каме и таким образом доставили в Тобольск, а оттуда препроводили в Березов. На содержание сосланного князя с семьей и десятью человеками прислуги определено было по десяти рублей в сутки (Есип. "Сс. кн. Меншик." Отеч. Зап. 1861, № 1, стр. 55—90).

Вскоре после коронации пришло известие о благополучном разрешении от бремени герцогини голштинской Анны Петровны. Родился императору Петру II двоюродный брат, тот самый, которому лет через тридцать с небольшим суждено было сделаться русским государем под

именем Петра III. Весть о его рождении дала повод к новым праздникам и во дворце, и в городе Москве. При дворе (13 марта н. ст.) был дан бал, куда приглашены были все находившиеся тогда в России иностранные министры, но тогда же заметили с удивлением, что на этом бале не было царской сестры, великой княжны Натальи Алексеевны. Носился слух, что она была нездорова и по этой причине не посетила бала, но это показалось для многих сомнительно, потому что перед тем Наталья провела вечер у герцогини курляндской. Дело объяснилось тем, что великая княжна была тогда недовольна царем; у сестры к брату возникла некоторого рода ревность: великая княжна сердилась на брата за то, что тот слишком много сердечного расположения показывает к своей тетке Елисавете. Царь, не дождавшись сестры, открыл бал без нее и вначале танцевал с теткою. После трех контрадансов, царь ушел в другую комнату, а цесаревна Елисавета танцевала с царским фаворитом, князем Иваном Долгоруковым. Царь из другой комнаты вышел и стал на пороге при входе в большую залу: он следил внимательно за танцующею парю цесаревны Елисаветы и князя Ивана Алексеевича, и замечавшие движение на лице его поняли, что его величество ревнует к тетке. Говорили тогда, будто Остерман разжигает в молодом царе любовь, во-первых, с политическими видами, так как цесаревна Елисавета с Остерманом несколько сближалась, во-вторых, по соперничеству с Долгоруковыми. Но то были только предположения, ходившие в придворном кругу. Остерман сообразил, что трудно ему отдалить от царя князя Ивана Алексеевича, и шел за лучшее поладить с молодым князем Долгоруковым; Остерман начал ему оказывать внимательность и любезность. Таким образом, когда царь пожелал своего фаворита сделать обер-камергером, Остерман первый подал царю совет поступить так с князем Долгоруковым,

а потом просил Лефорта, посланника польского короля, чтоб тот упросил своего государя пожаловать фавориту русского императора польский орден Белого Орла.

После коронации царица-бабка удалилась со двора и сидела себе за своими монастырскими стенами. Она увидела, что на нее мало обращают внимания и внуки не относятся к ней с тою сердечностью, с какой она к ним относилась. Старуха поняла, что ее пора минута безвозвратно, что она развалина прошлого и нечего ждать ей от жизни впереди. Она проводила время в посещении богослужения да в беседах с сестрами-инокинями. Она в этот год так строго хранила указанный церковью великий пост, что на страстной неделе даже лишилась сил. В то время и Остерман сделался так болен, что опасались даже за его жизнь, и царь несколько раз посещал его с обычными знаками внимания.

Настала пасха, приходившаяся тогда 21 апреля. С пасхи царь стал чаще ездить на охоту, которой так горячо предавался и в Петергофе. Окрестности Москвы, богатые в то время лесами, представляли для этого развлечения обильное поле действия. С царем ездила тетка Елисавета. Сестра, великая княжна Наталья, уклонялась от этих забав и не сопровождала брата: говорили, что у ней уже открывалась чахотка. С Елисаветою на охоте постоянно находилась одна боярыня и две русские служанки. Члены Верховного тайного совета и генералитет должны были сопровождать царя в его охотничьих подвигах, хотя бы иному и не хотелось. Поезд царский поэтому был огромен и тянулся более чем в количестве пятисот экипажей. При каждом из вельмож, отправлявшихся за царем на охоту, ехала собственная кухня и прислуга. Переезжали из одной волости в другую, где были лесные дачи; останавливались, где находили удобным: происходил обычный процесс охоты; между тем развивали палатки, готовилось пирувание;

слуги развязывали поклажи, доставали посуду, устанавливали на столах кушанья и бутылки; работали подвижные кухни. После охоты сходились в палатки собеседники, шел веселый пир, а по окончании пира снова все укладывалось, увязывалось, ехали далее и снова становились там, где нравилось и обыкновенно заранее было указано. Это было не столько увеселительная поездка, а скорее кочевание в азиатском вкусе и соответственно старой московской жизни. Даже купцы, думая зашибить копейку, с товарами, и особенно съестными, ехали вслед за двором, отправившимся на охоту: на охотничьих стоянках продавалось все втридорога, хотя, по замечанию современников, тогда в Москве и без того было все несравненно дороже, чем в Петербурге. Поле (т.е. место, где надлежало располагаться и вести охоту) назначалось всегда по воле государя. Оно бывало различного качества, смотря по условиям местности: там охота шла за волками и лисицами, в другом месте за зайцами, в третьем за птицами. Для охоты за птицами употреблялись ученые птицы: кречеты, соколы и ястребы; гончие собаки только выгоняли птицу из кустов или из болота, а тут сокольничьи, кречетники, ястребники уже стоят и держат кляпыщи с кречетами, соколами и ястребами. На кречета, сокола и ястреба заранее надет клобучок, чтобы ловчая птица не видала ничего. Когда собаки спугнут птицу, сокольничьи снимают клобучок с глаз своей птицы, а та летит, нападает на утку или какую другую птицу, умерщвляет ее, а сама возвращается и садится на свой кляпыш. В охоте за зверями работали егеря и охотники: они были одеты в зеленых кафтанах с золотыми и серебряными перевязями; у каждого на такой перевязи висела лядунка и золотом либо серебром блестящий рог; на этих людях были шаровары красные, шапки горностаевые, рукавицы лосиные. Сначала пускают, по обычаю, гончих собак спугнуть зверя, тогда егеря и охот-

ники, сидя верхом, спускают со своры борзых собак, а сами за ними скачут вслед... Иногда же на волков брались тенега, и место, вошедшее в тенега, называлось островом; выгоняли из леса зверя и загоняли в расставленные кругом роши тенега. На медведя охота производилась в дремучих лесах, и тогда царя не пускали близко, чтоб не было ему опасности. Выбирались охотники крепкие, рослые, сильные; борцы с медведями приобретали славу в охотничьем кругу, как храбрецы в военном. Царя приглашали приблизиться только тогда, когда медведя проколят рогатиною или упадут в него пулею. После охоты за зверем ли или за птицею наступал обыкновенно пир в палатках, о которых выше мы говорили. Шум, крик, гам, звук рогов, звон колокольчиков во время охоты сменялись песнями, виватами и почетными выстрелами. Все это делалось в старом русском духе, и царь привыкал к такого рода забавам, сродным ему и по народности, и по фамильным преданиям, так как цари древние, особенно Романова дома, любили охоту. В поле или в лесу все шло вольнее, не то что во дворце; тут в сторону откладывались чопорные церемонии, какими там была постоянно окружена царская особа. Почтенные вельможи, сотрудники великого преобразователя, предавались невольно этой веселой жизни, и сам Остерман, постоянно напоминавший своему воспитаннику о возможности государственного труда, сам, как бы угождая молодому государю, делался участником охотничьих забав; впрочем, барон Андрей Иванович не постоянно сопровождал царя, а, поехавши с ним по его воле, уезжал поскорее назад в Москву заниматься делами. Другие члены Верховного совета менее, чем он, сознавали потребность вращаться к своим государственным занятиям.

Князь Иван Алексеевич часто оставлял государя, удалялся в Москву и, сходясь с Остерманом и другими европей-



ской партии, говорил, что ему надоедают царские забавы. "Не по сердцу мне, — выражался он, — когда царя заставляют делать дурачества, не терплю наглости, с какою с ним начинают обращаться на охоте". Но это был только благовидный предлог. Его другое влекло от царя и от царской охоты. Он был большой любитель прекрасного пола и относился к нему чрезвычайно беззастенчиво. Если случится, какая-нибудь хорошенькая боярыня приедет в гости к его матери, и хозяйки не застанет, молодой князь без церемонии хватает ее за талию, тащит в кабинет и делает с нею, что ему угодно. С княгинею Трубецкою был он в постоянной связи, все в Москве это знали, и он открыто издевался над ее мужем. Отец этого ловеласа, князь Алексей Григорьевич, был с ним в постоянном препирательстве; отец даже думал повредить добрым отношениям сына к царю. У князя Алексея Григорьевича был другой сын, и этого-то сына хотел отец ввести в фавор к государю, а князя Ивана устранить. Старый Долгоруков, князь Алексей, ластился к Остерману; Остерман притворялся пред обоими, и пред отцом и сыном, и тому и другому расточал любезности, а на самом деле и отца и сына равно не терпел; Остерман, так сказать, лавировал между ними: слушал со вниманием сына, когда тот жаловался на родителя, но показывал участие к отцу, когда тот говорил Остерману о проказах сына. Князь Алексей Григорьевич в глаза называл Остермана первым умницею в свете и своим лучшим другом, а за глаза проклинал его и считал своим лютым врагом.

24 мая пришло известие о кончине голштинской герцогини Анны Петровны, последовавшей 4 мая. При дворе наложен был траур, но это не воспрепятствовало в день царских именин быть празднеству и балу. Только цесаревна Елисавета, родственно и дружески привязанная к своей старшей сестре, грустила о потере ее сердечно и глубоко. Тело покойной

герцогини решили привезти в отечество и похоронить в Петербурге. За телом послан был президент Ревизион-коллегии генерал-майор Бибиков.

В июле тревожные вести из Малороссии о татарских замыслах побудили послать туда с войском фельдмаршала Голицына, а опасения, чтоб вместе с Турциею не стала действовать против России Швеция, заставили было обратить внимание на флот, еще не успевший прийти в совершенный упадок после Петра Великого; хотя с кораблей орудия были сняты и экипажа не было ни на одном, но еще можно было изготовить военные суда к походу в короткое время, если бы оказалось нужным. Русские вельможи чванились своим флотом, по замечанию испанского посланника, словно школьник, получивший офицерский чин и привязавший в первый раз в жизни шпагу к своему боку. Из этого чванства нельзя было ожидать никаких важных последствий, потому что корабли от времени портились, а новых не строили и, вообще, не занимались корабельным делом вовсе. Оно, казалось, осуждено было на совершенное всегдашнее пренебрежение, после того как царь с двором перебрался в отдаленную от моря Москву, точно так, как и всему, чему только Великий Петр положил начало, грозило невнимание власти и забвение. Поэтому-то Остерман сильно пытался склонить Петра к мысли о возвращении в Петербург. С ним разделяли это желание из видов пользы своих держав посланники: императорский — Вратиславский и испанский — герцог Де Лирия. По известиям, сообщаемым последним, Англия через вольфенбиттельского посланника старалась о том, чтоб русский престол оставался в Москве и Россия не сделалась морскою державою. В этом случае английские виды сходились с видами русских старолюбцев. Для Англии не мило было возвышение России, и она желала всегда, чтоб Россия коснела в своей вековой неподвижности. Остерману приходилось противопоставить

все способы хитрым козням эгоистической державы. Все, по его соображениям, зависело от того, чтоб убедить молодого государя переехать обратно в Петербург. Но чем далее шло время, тем труднее было Остерману действовать на государя; Петр все более и более доверял советам Долгоруковых, и притом, отправляясь на охоту на продолжительное время, пристращался к этой забаве до безумья. Остерман думал было, чтоб отучить Петра от охоты, устроить ему близ Москвы другую забаву — маневры, которые бы приучали отрока-царя к воинским упражнениям. Но Петр от всего отбивался; у него в желании была единственно охота; ей преданся он особенно с жаром осенью, так как это время вообще приветливо для страстных охотников. Царя постоянно сопровождал князь Алексей Григорьевич и возил его в свое подмосковное имение Горенки, где находилось его семейство; там хитрый царедворец сводил молодого императора со своей дочерью, девицею Екатериною, замышляя, авось либо удастся, что она сумеет пленить молодого царя и сделается императрицею. Долговременные поездки на охоту и посещения Горенок отстранили Петра от тетки Елисаветы, которая при том же сама отталкивала от себя государя своим легкомысленным поведением. Царский фаворит, князь Иван Алексеевич, хотя по-прежнему пользовался дружбой государя, но продолжал от него отлучаться, ворочаясь в Москву для своих волокитств. В это время, увидавшись с Остерманом, князь Иван уверял его, что готов, насколько у него сил и умения станет, уговаривать Петра воротиться в Петербург, но рассчитывает, что удобнее к этому возвращению склонить Петра зимою, когда откроется санный путь, а до того времени будет трудно, потому что царь ни за что не захочет расстаться со своими охотничьими затеями, пока удобно рыскать по полям и лесам. Невозможно было отвлечь Петра из Москвы и ради отдания последнего долга

тетке Анне, которой тело, привезенное в Петербург на корабле, погребено 12 ноября без царя.

В ноябре, несомненно, оказалось, что великая княжна Наталья Алексеевна, которой было всего пятнадцать лет, страдала легочной чахоткой и положение ее со дня на день становилось безнадежным; а ее царственный брат продолжал рыскать на охоте, и с трудом могли увезти его в Москву только уже пред ее смертью. Она скончалась 22 ноября в загородном Слободском дворце: говорили, будто перед смертью она просила брата вернуться в Петербург. Царь очень плакал о ее потере и переехал в Кремлевский дворец, чтоб не жить там, где окончила жизнь нежно любимая особа. Остерман надеялся, что теперь-то удобно будет склонить царя к переезду в Петербург, представивши ему, что постоянное пребывание в Москве будет ему чересчур тяжело, так как все будет напоминать ему о сестре, которой могила находилась в кремлевской церкви, вместе с могилами русских царственных особ. Но князь Алексей Григорьевич опять увлек Петра к себе в Горенки. Тело великой княжны оставалось непогребенным до января 1729 года. В это время Остерман, испанский посол Де Лирия и императорский посол граф Вратиславский поручали князю Ивану Алексеевичу подать царю записку от Вратиславского о том, что римский император, дядя русского государя, убедительно советует ему переехать в Петербург. Но царский любимец, взявшись за это дело, поводил несколько времени доверившихся ему господ и охладел к предполагаемому замыслу. После погребения великой княжны князь Иван Алексеевич сказал им, что не может действовать на тех, которые отговаривают государя от переезда в Петербург, разумея своего родителя, старавшегося всеми средствами удержать царя от переезда.

В феврале 1729 года царь проводил дни в Горенках, являясь на короткое время в Москву. С теткой Елисаветой

удалось Долгорукову совершенно развести Петра, так что он не видался с нею по целым неделям. В марте царь отправился на долгое время на охоту; вместе с ним поехали: князь Алексей Долгоруков, его жена, дочери и сыновья. С царем поехало множество прислуги.

Везде в Москве стали толковать, что Долгоруков непременно рассчитывает женить Петра на своей дочери, и уже тогда многие были этим недовольны; возбудалась зависть к возвышению Долгоруковых.

В апреле царь перебрался опять из Кремлевского дворца в Слободской дворец, а между тем продолжал увлекаться охотой. Ничто его не могло остановить. Он было заболел лихорадкой; во всей Москве свирепствовала лихорадочная эпидемия. Царя убеждали беречь здоровье, но он слушать не хотел, ничто его не пугало, ничто не отвлекало от любимых забав. В мае, по распоряжению Остермана, притянуты были к окрестностям Москвы войска и расположены лагерь, с целью привлечь царя, хотя в виде забавы, к военным занятиям, вместо охоты. Не удалось воспитателю. Царь всему предпочитал охоту и не довольствовался вести ее около Москвы, но затеял охотничью экспедицию в более отдаленный край — к городу Ростову — и обещал воротиться в Москву только к своим именинам. В конце мая он туда и отправился с князем Алексеем Григорьевичем и его семейством. Члены Верховного тайного совета и служившие в других правительственных учреждениях рассудили, что когда царя нет, так и им нечего делать, и разехались, кто куда мог, по деревням и дачам. То же сделал и сам Остерман.

Июнь был дождливый и холодный. Ждали, что царь воротится к празднику Троицы, но он не приехал в Москву ранее 23 июня, и то приехал потому, что поднявшийся в полях хлеб не допускал охотиться без нанесения ущерба земледельцам.

Иностранцы представляют жалкую картину разложения всякого порядка в управлении государства, над которым считался властителем четырнадцатилетний отрок, бесхарактерный, избалованный собственным ранним величием самодержавия, руководимый честолюбцами, игравшими им для собственных выгод. Никто не заботился о государстве, каждый помышлял только о самом себе. Царь, отдавшись ребяческим забавам, ко всему дельному питал отвращение. Остерман истошал всякие способы, чтобы привести его к желанию заняться чем-нибудь серьезным, хоть бы несколько часов в сутки. Все было напрасно. Царь оставался совершенным неучем, а князь Алексей Григорьевич умышленно поддерживал его невежество (Лефорт, 17 февр. 1729, Herms., 531). Употребляя все меры, чтобы Петр постоянно находился в семействе Долгоруковых, князь Алексей Григорьевич достаточно обезопасил себя от цесаревны Елисаветы, внушив царю о ней самое презрительное мнение. Молодого Бутурлина успели они заранее отдалить от государя и потом послали его в армию. Александра Львовича Нарышкина обвинили в произнесении грубых слов о царе, и он заслан был в деревню. Сергей Дмитриевич Голицын начал было возвышаться и приобретать царское внимание: его услали посланником. Долгоруковы не допускали к царю никого, кто бы мог остаться с ним наедине и охладить в нем благорасположение и доверенность к Долгоруковым. Осенью опять Петр с семейством Долгоруковых отправился на охоту на неопределенное время. Его псарня, по известию посланника, состояла тогда из 200 гончих и 420 борзых. Затравлено было 4000 зайцев, 50 лисиц, 5 волков, 3 медведя и огромное количество всякой дичины. Отправились в отдаленные от столицы края. Пришел день царского рождения. Он застал царя в городе Туле. Сотворили импровизованное пиршество и бал, на котором играли блестящую роль княжны

Долгоруковы. Они еще сами не знали, на которую из них падет жребий, но говорили, что концом такого величия может быть монастырь. Все, глядя со стороны, понимали, что Долгоруковы хотят женить царя и породнить род свой с царскою кровью, но никто не смел заговаривать об этом громко; все притом были убеждены, что рано ли, поздно ли, а Долгоруковы должны тяжело расплатиться за свое бессмысленное сводничество.

По известию того же Лефорта (Hergmann, 533, ссылка на депешу 21 ноября), в ноябре Петр выкидывал такие выходки, которые грозили было Долгоруковым неудачею; например, когда после стола, устроенного на охоте, какой-то придворный льстец восхвалял подвиг царя, затравившего 4000 зайцев, Петр иронически сказал: "Я еще лучшую дичь затравил: веду с собою четырех двуногих собак!" Когда играли в фанты, и положено было тому, кому вынется, поцеловать одну из княжон Долгоруковых, царь ушел и скрылся. Наконец самая страсть его к охоте как будто начинала утихать; он раздарил много своих собак, говорил, что больше охотиться не хочет, и бранил всех тех, кто его увлекал на охоту.

Такие проблески поворота к чему-то иному давали мимолетные надежды бдительному Остерману и лицам его партии, сторонникам новой России, созданной гением Петра Великого. Но то было ненадолго. Долгоруковы слишком ловко и бесстыдно умели держать в своих тенетах молодого императора, потакали ему во всем, терпеливо сносили его своенравные выходки и за то делали его во всем послушным их воле. Князю Алексею хотелось во что бы то ни стало женить бесхарактерного, неопытного отрока на своей дочери. По грустному стечению обстоятельств обе невесты молодого императора, одинаково навязанные ему наглостью и хитростью их родителей, не нравились ему самому, да и сами его не любили. Обе княжны — и Меншикова, и Долгорукова — были жалкими жертвами често-

любия и алчности отцов, думавших сделать детей своих слепыми орудиями для возвышения своих родов. Обе сердцами рвались к другим лицам: княжна Мария Меншикова предпочитала царю Сапегу; княжна Екатерина Долгорукова уже любила молодого красивого графа Милезимо, шурина имперского посла Вратиславского. Родитель княжны узнал об этой склонности, насильственно пытался заглушить ее и заставить дочь свою, хотя бы против ее собственной воли, казаться любящею императора. Князь Алексей Григорьевич возненавидел Милезимо как человека, ставшего на дороге его честолюбивым замыслом, и начал мстить ему самыми неблагородными способами. Так, еще в апреле 1729 года Милезимо, отправляясь на дачу к графу Вратиславскому, проезжая мимо царского дворца, сделал несколько выстрелов. Вдруг его хватают гренадеры. "Запрещено, — говорят ему, — здесь стрелять; велено брать всякаго, не смотря ни на какую знатность". Гренадеры повели Милезимо пешком по грязи; он просил дозволения, по крайней мере, сесть в свой экипаж, из которого вышел для того, чтоб стрелять. Ему этого не дозволили. По бокам его ехало двое гренадеров верхом, а другие вели его пешком, и притом вели нарочно мимо дворцовой гауптвахты; выскочили офицеры и гвардейские солдаты и с любопытством глядели на эту сцену. Его повели через дворцовый мост к князю Долгорукову; гренадеры, провожавшие его, отпускали над ним насмешки и ругательства. Милезимо, знавший по-чешски, по близости между собой чешского и русского наречий, понял, что говорили солдаты, а те потешались над ним такого рода остротами, которых передавать не дозволила скромность испанскому посланнику, оставившему известие об этом приключении. Милезимо, наконец, привели на княжеский двор. Хозяин, вероятно, сам заранее устроивший с ним такую проделку, стоял на крыльце. Приглядевшись, он как будто удивился, увидавши

перед собой особу, которой никак не предполагал встретить в этом виде; князь не сказал ему обычного приветствия, как знакомому, не пригласил к себе в дом и сухо произнес: "Очень жалею, граф, что вы запутались в эту историю, но с вами поступлено по воле государя. Его величество строго запретил здесь стрелять и дал приказание хватать всякого, кто нарушит запрещение". Милезимо хотел было объяснить, что запрещение это было ему неизвестно; но князь прервал его и сказал: "Мне нечего толковать с вами, вы можете себе отправляться к вашей Божьей матери". С этими словами князь Алексей Григорьевич повернулся к нему спиной, вошел в дом и затворил за собой двери.

Милезимо пожаловался своему зятю Вратиславскому. Тот принял близко к сердцу такой поступок с чиновником имперского посольства, счел его оскорблением, общим для всех иностранных посольств в России, и отправил своего секретаря к испанскому министру, так как испанский король находился тогда в самом тесном союзе с государем Вратиславского. Герцог Де Лирия обратился по этому делу к Остерману. Хитрый и уклончивый барон Андрей Иванович тотчас расшел, что не след ему слишком вооружаться против князя Алексея Григорьевича, понимая, что последний устраивал пакости своему личному врагу, прикрываясь благовидными законными предложениями. "Я сделаю все возможное, — сказал Остерман, — чтобы граф Вратиславский получил надлежащее удовлетворение, прежде чем он сам его потребует; не заводя дела слишком далеко, я поступлю так, как того требует близкое родство нашего государя с императорским домом и дружественный союз между нашими государствами".

Передали об этом князю Ивану Алексеевичу, царскому фавориту. Тот сказался очень тронутым и послал к Вратиславскому своего домашнего секретаря объяснить, что неприятное событие произо-

шло от недоразумения и от глупости гренадеров, которых он, князь Иван Алексеевич, уже наказал. Отправленный за этим делом секретарь заходил и к Милезимо выразить от лица князя глубокое сожаление о том, что произошло. Милезимо после этого сам увидался с фаворитом, и последний лично просил у него прощения за гренадеров, которые, как уверял, единственно по своему невежеству оказались непочтительными к особе чиновника имперского посольства. И барон Остерман, по поводу этого приключения, посылал извиняться к Вратиславскому, но заметил, что Милезимо сам виноват, если его не узнали. Вратиславский, вместо того чтоб успокоиться таким извинением, был, напротив, задет им; он отправил снова своего приятеля герцога Де Лирия высказать Остерману, что имперский посол не доволен таким способом удовлетворения; притом ему не нравилось и то лицо, которое Остерман присылал к нему для объяснений. Барон Остерман на этот раз, в разговоре с испанским посланником, поднял тон голоса выше и стал уже в положение не знакомого друга, а русского министра, ведущего речь о вопросе, касающемся чести государства.

— Графу Вратиславскому, — сказал Остерман, — дано слишком большое удовлетворение, тем более что в этом деле виноват сам граф Милезимо, если с ним произошла неприятная история. Действительно, государь дал запрещение охотиться в окрестностях на расстоянии тридцати верст, а граф Милезимо начал стрелять в виду дворца, да еще грозил гренадерам, прицеливаясь в них ружьем и обнажая против них шпагу.

— Это неправда, — отвечал ему испанский посланник, — граф Милезимо не оказывал никакого сопротивления и оказать его в своем положении не мог.

— Его царское величество, — сказал Остерман, — неограниченно властен в своем государстве давать всякие приказания, какие ему дать будет угодно;

все обязаны знать это и исполнять.

Испанец с горячностью сказал:

— Все, даже дети, знают, что каждый государь имеет право давать приказания в своем государстве, но чтоб с этими приказаниями сообразовались иностранные министры и люди их свиты, необходимо, чтоб о том извещала их коллегия Иностранных дел; на это заранее должен был бы обратиться внимание государственный секретарь или министр, через которого они ведут сношения. И граф Вратиславский, и я с нашими кавалерами получили от его царского величества дозволение охотиться в окрестностях, а чтоб было запрещено охотиться в одном каком-нибудь месте не только подданным, но и нам, получившим дозволение охотиться всюду, нужно было передать нам особое сообщение.

Остерман не стал придумывать изворота в ответ на такое заявление и сказал:

— Я все сделал, что только мог; граф Вратиславский должен остаться удовлетворенным.

После такого разговора Вратиславский, узнавши об отзыве Остермана, пригласил к себе представителей иностранных дворов и заявил им, что удовлетворение, предложенное Остерманом по делу с Милезимо, считает недостаточным для чести и значения своего государя и полагает, что наглый поступок русских с чиновником имперского посольства наносит оскорбление всем представителям иностранных дворов в Москве. Сторону Вратиславского с живостью приняли представители Испании, Польши, Дании и Пруссии. Обдумавши, они послали требование, чтоб князь Алексей Григорьевич извинился перед Вратиславским, и если в самом деле виной всему глупость гренадеров, то хотя бы их уже и наказали, пусть он их пришлет в распоряжение Вратиславского для наказания, или же, если то будет угодно Вратиславскому, пусть экзекуция над виновными произведется в присутствии посольского

чиновника, которого пришлет Вратиславский с тем, чтоб быть свидетелем.

Так и случилось. Князь Алексей Григорьевич прислал к Вратиславскому бригадира, служившего в дворцовом ведомстве и заведовавшего запрещенным для стрельбы округом, в котором стрелял Милезимо. Этот бригадир должен был выразить бесконечное сожаление о неприятном случае, происшедшем с Милезимо, и известить, что хотя гренадеры уже наказаны, однако могут подвергнуться новому наказанию, если то графу Вратиславскому будет угодно. Этим дело и покончилось. Вратиславский счел себя удовлетворенным, а князь Алексей Григорьевич все-таки достиг своего: Милезимо понял, за что с ним произошло неприятное событие, понял, что ему закрыты двери дома Долгоруковых и он лишен возможности нежных свиданий с княжною, которую полюбил и которая любила его.

Разлучивши Милезимо с княжною, нежные родители старались беспрестанно представлять ее особу глазам молодого царя и всюду таскали ее на охоту с прочими членами своей семьи, даром что ей было тяжело в этом сообществе и все помышления ее обращались к молодому иноземцу, даром что царь вовсе не показывал к ней таких знаков внимания, какие говорили бы сколько-нибудь о существовании к ней сердечного влечения. Ловкому родителю все это было нипочем: он решил, что бы то ни стало привести дело к желанному для него концу. Еще до последней осенней поездки государя на охоту, иноземная партия думала подставить Петру чужестранную невесту, принцессу Брауншвейг-Бeverнскую: ее рекомендовал Вратиславский как родственницу своего императора. Но Долгоруковы, удаливши Петра из Москвы, успели вооружить его против этого намерения; брак с иноземкою, представляли они, не будет счастлив; в пример тому указывали даже на покойного родителя государя, царевича Алек-

сея Петровича, которого отец женил против воли и желания; гораздо лучше царю поискать достойной супруги в своей родной земле между подданными, как делали из рода в род старые московские государи. Петр уже был настроен и постоянно поддерживаем в желании жить и поступать не по пути своего деда, а по пути старых праотцев и потому сердечно отнесся к этой мысли. Родители княжны Екатерины нарочно делали так, чтоб она везде торчала перед глазами царя: и на пирушках, следовавших за охотою в поле, и в Горенках, куда завозили государя Долгоруковы с охоты на несколько дней, — везде около него была неизбежная княжна Екатерина. В Горенках длинными осенними вечерами собирались играть в карты, в фанты: всегда ближе всех к царю — княжна Екатерина. Мы не знаем подробностей обстоятельств, как произошло первое заявление царя о желании вступить с нею в брак; но понятно, что четырнадцатилетнего отрока не трудно было настроить и подготовить к этому, когда ни на шаг не спускали его с рук и с глаз и беспрестанно подставляли ему хорошенькую девушку, заставляя ее оказывать государю всякие видимые любезности. Еще царь не воротился из своей поездки, а уже в Москве и знатные, и незнатные твердили в один голос, что молодой император женится на дочери князя Алексея Григорьевича. Пришел ноябрь. Начались приготовления к какому-то торжеству: оно должно было произойти тотчас по возвращении царя. Тогда не предстояло ни именин, ни дня рождения никого из царственных особ, и все в Москве догадывались, что ожидаемое торжество должно было быть не иное что, как обручение царя Петра с княжною Екатериною Долгоруковою.

Наконец царь воротился в Москву. Тайна ожидания внезапно разъяснилась. Петр остановился в Немецкой слободе, в Лефортовском дворце, и через несколько дней, 19 ноября, собрал членов Верховного тайного совета, знатнейших

сановников духовных, военных и гражданских, весь так называемый генералитет, и объявил, что намерен вступить в брак со старшею дочерью князя Алексея Григорьевича Долгорукова, княжною Екатериною.

Событие было не новостью в своем роде для русских: все прежние цари выбирали себе жен из подданных и даже не смотрели на знатность или незнатность рода невесты. Род князей Долгоруковых был притом знатен и даже доставлял уже в царскую семью невест. Но в браке молодого, не достигшего еще шестнадцатилетнего возраста государя все ясно видели нечестную проделку; все поняли, что Долгоруковы, пользуясь малосмыслием царя, слишком юного, и не обращая внимания на последствия, спешат преждевременно связать его узами свойства со своей фамилией с тем расчетом, что уз этих, при неразрывности брака, предписываемой уставами православной церкви, невозможно будет расторгнуть. Но все могли понимать, что расчет Долгоруковых не вполне был верен; при неограниченном самодержавии царей никакие церковные законы не были сильны: об этом ясно свидетельствовали неоднократные примеры в русской истории, да и за примерами такими не нужно было пускаться памятью в отдаленные века — еще жива была первая супруга Петра Великого, только что освобожденная от долгого, тяжелого заключения, и Петр II со временем мог в этом пойти по следам своего деда Петра I. Слушавшие заявление государя о предстоящем брачном союзе шепотом говорили между собою: "Шаг смелый, да опасный. Царь молод, но скоро вырастет: тогда поймет многое, чего теперь не домекает".

Однако никто не смел тогда высказать этого гласно, и, когда наступило 24 ноября, день св. великомученицы Екатерины, все высшие чины государства и иностранные министры поздравляли со днем тезоименитства избранницу царского сердца. Долгоруковы, поймавши

на удочку царственного юношу, спешили покончить начатое, чтоб не дать царю времени одуматься. 30 ноября назначен был день обручения.

Современники оставили нам описание этого замечательного дня, который должен был вознести род Долгоруковых до крайних пределов величия, какого только могли достигнуть в России подданные и какое оказалось по приговору непонятной судьбы в действительности подобием мыльного пузыря.

Торжество это происходило в царском дворце в Немецкой слободе, известном под именем Лефортовского. Приглашены были члены императорской фамилии: цесаревна Елисавета, мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, дочь ее, принцесса мекленбургская Анна (впоследствии правительница России под именем Анны Леопольдовны); приехала из своего монастыря и бабка государя, инокиня Елена. Не доставало только герцогини курляндской Анны Ивановны, находившейся тогда в Митаве. Все эти присутствовавшие здесь женского пола члены царского рода были недовольны совершившимся событием, за исключением, быть может, бабки-отшельницы, с добродушным равнодушием уже сознавшей суету всего земного. Приглашены были члены Верховного тайного совета, весь генералитет, духовные сановники и все родственники и свойственники рода Долгоруковых; последние, для пышности, приглашались через собственного шталмейстера Алексея Григорьевича. Здесь были иностранные министры с своими семействами и много особ женского пола — вся знать московская, как русская, так и иноземная.

Царская невеста, объявленная с титулом ее высочества, находилась тогда в Головинском дворце, где помещались Долгоруковы. Туда отправился за невестою светлейший князь Иван Алексеевич, в звании придворного обер-камергера, в сопровождении императорских камергеров. За ним потянулся целый поезд императорских карет.

Княжна Екатерина Алексеевна, носившая тогда название "государыни-невесты", была окружена княгинями и княжнами из рода Долгоруковых, в числе которых были ее мать и сестры. По церемонному приглашению, произнесенному обер-камергером, невеста вышла из дворца и села вместе со своею матерью и сестрами в карету, запряженную цугом, на передней части которой стояли императорские пажи. По обеим сторонам кареты ехали верхом камер-юнкеры, гоф-фурьеры, гренадеры и шиш скороходы и гайдуки пешком, как требовал этикет того времени. За этой каретой тянулись кареты, наполненные княгинями и княжнами из рода Долгоруковых, но так, что ближе к той карете, где сидела невеста, ехали те из рода Долгоруковых, которые по родственной лестнице считались в большей близости к невесте; за каретами с дамами Долгоруковского рода тянулись кареты, наполненные дамами, составлявшими новообразованный штат ее высочества, а позади их следовали пустые кареты. Сам обер-камергер, брат царской невесты, сидел в императорской карете, ехавшей впереди, а в другой императорской карете, следовавшей за ним, сидели камергеры, составлявшие его ассистенцию. Этот торжественный поезд сопровождался целым батальоном гренадеров в количестве 1200 человек, который должен был занять караул во дворе во время обряда обручения. Все тогда говорили, что князь Иван Алексеевич нарочно призвал такое множество вооруженного войска в тех видах, чтобы не допустить до каких-нибудь неприятных выходов, потому что он знал о господствовавшем в умах нерасположении к Долгоруковым. Поезд двинулся из Головинского дворца через Салтыков мост на Яузе к Лефортовскому дворцу. По прибытии на место обер-камергер вышел из своей кареты и стал на крыльце, чтобы встречать невесту и подать ей руку при выходе из кареты. Оркестр музыки заиграл, когда она,



ведомая под руку братом, вошла во дворец.

В одной из зал дворца, назначенной для обручального торжества, на шелковом персидском ковре поставлен был четвероугольный стол, покрытый золотой материею: на нем стоял ковчег с крестом и две золотые тарелочки с обручальными перстнями. По левой стороне от стола, на другом персидском ковре, поставлены были кресла, на которых должны были сидеть бабка государя и невеста, и рядом с ними на стульях мекленбургские принцессы и Елисавета, а позади их на стульях в несколько рядов должны были сидеть разные родственники невесты и знатные дамы. По правой стороне от стола на персидском ковре поставлено было богатое кресло для государя.

Обручение совершал новгородский архиепископ Феофан Прокопович. Над высокою четою во время совершения обряда генерал-майоры держали великолепный балдахин, вышитый золотыми узорами по серебряной парче.

Когда обручение окончилось, жених и невеста сели на свои места и все начали поздравлять их при громе литавр и при пушечной троекратной пальбе. Тогда фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгоруков произнес царской невесте такую знаменательную речь:

”Вчера я был твой дядя, нынче ты мне государыня, а я тебе верный слуга. Даю тебе совет: смотри на своего августейшего супруга не как на супруга только, но как на государя, и занимайся только тем, что может быть ему приятно. Твой род многочислен и, слава Богу, очень богат, члены его занимают хорошия места, и если тебя станут просить о милости для кого-нибудь, хлопочи не в пользу имени, а в пользу заслуг и добродетели. Это будет настоящее средство быть счастливою, чего я тебе желаю” (Соловьев, XIX, 235).

В то время говорили, что этот фельдмаршал, хотя и дядя царской невесты,

противился браку ее с государем, потому что не замечал между ним и ею истинной любви и предвидел, что проделка родственников поведет род Долгоруковых не к желаемым целям, а к ряду бедствий. В числе приносивших поздравления царской невесте был и Милезимо как член имперского посольства. Когда он подошел целовать ей руку, она, подававшая прежде машинально эту руку поздравителям, теперь сделала движение, которое всем ясно показало происшедшее в ее душе потрясение. Царь покраснел. Друзья Милезимо поспешили увести его из залы, посадили в сани и выпроводили со двора.

По окончании поздравлений высокая чета удалилась в другие апартаменты; открылся блистательный фейерверк и бал, отправлявшийся в большой зале дворца. Гости заметили, что инокиня Елена, несмотря на свою черную иноческую одежду, показывала на лице сердечное удовольствие. Зато царская невеста в продолжение всего этого рокового вечера была чрезвычайно грустна и постоянно держала голову потупивши. Ужина не было, ограничились только закускою. Невесту отвезли в Головинский дворец с тем же церемониальным поездом, с каким привезли для обручения.

Имперский посланник граф Вратиславский, недавно еще думавший дать царю в супруги немецкую принцессу, мог быть недоволен этим обучением более всякого другого, но он не только не высказал чего-нибудь подобного, а, соображая возвышение в грядущем рода Долгоруковых, стал заискивать их расположения и особенно увивался около князя Ивана Алексеевича. Вратиславский стал хлопотать у своего государя, чтобы князю Ивану Алексеевичу дать титул князя Римской империи и подарить то княжество в Силезии, которое было дано Меншикову. Испанский посланник, герцог Де Лирия, вел себя так же, как и Вратиславский, и хотя до сих пор казался преданным имперскому послу, но теперь явился

ему соперником в соискании расположения Долгоруковых. Оба старались, так сказать, забежать вперед и насолить друг другу. Вратиславский наговаривал Долгорукову про испанского посланника, что он разносит слухи, будто отец князя пользуется незрелостью и ребяческой бесхарактерностью царя, а герцог Де Лирия успел разуверить в этом князя Ивана, наговорить на Вратиславского и потом в письмах своих, отправленных в Испанию, хвастался, что князь Долгоруков привязался к нему и стал ненавидеть австрийцев (Депеши герцога Де Лирия, напеч. в рус. переводе во 2 т. сборн. XVIII век, изд. Бартенева).

Через несколько дней после обручения царя Вратиславский спровадил из Москвы своего шурина Милезимо. Он отправил его в Вену передать императору весть о важном событии, происшедшем в русском придворном мире. Вратиславский опасался, чтобы этот горячий молодой человек, оставаясь в Москве, в припадке оскорбленной любви не показал каких-нибудь эксцентрических выходов. Но Милезимо в то время так заматался, что кредиторы не хотели его выпускать, и Вратиславский с большим усилием уговорил их до поры до времени взять векселя. Кажется, князь Алексей Григорьевич не оставлял этого молодца своим злобным вниманием.

Род Долгоруковых достиг теперь крайних пределов величия. Все смотрело им в глаза, все льстило им в чаянии от них великих богатых милостей. Пошли толки, чем кто из Долгоруковых будет, какое место займет на лестнице высших государственных должностей. Твердили, что князю Ивану Алексеевичу быть великим адмиралом; его родителем сделается генералиссимусом, князь Василий Лукич — великим канцлером, князь Сергей Григорьевич — обер-штальмейстером; сестра Григорьевичей Салтыкова станет обер-гофмейстериною при новой молодой царице. Делала разные предположения о том, на кого из знатных девиц

падет выбор царского фаворита. Одни, по догадкам, предполагали, что он женится на Ягужинской, другие, и в их числе иностранные посланники, были уверены, что его честолюбие не удовлетворится иначе, как союзом с особою царской крови; говорили, что князь Иван женится на цесаревне Елисавете: к ней он и прежде показывал внимание, но принцесса не отвечала ему и после царского обручения удалилась в деревню; ее привезут в Москву — говорили тогда в придворном кругу — и царь предложит ей либо выходить за фаворита, либо идти в монастырь. Но не сбылось ни одно из этих предположений. Князь Иван Алексеевич долго вел ветреный образ жизни, перебегая от одной женщины к другой, и наконец теперь остановился на девушке, к которой почувствовал столько же любви, сколько и уважения; то была графиня Наталья Борисовна Шереметева, дочь Бориса Петровича, фельдмаршала Петрова века, покорителя Ливонии, которого память была очень любима в России в то время. 24 декабря произошло их обручение в присутствии государя и всех знатных лиц. Оно совершилось с большою пышностью; по известию, оставленному самой невестой в своих записках, одни обручальные перстни их стоили: женихов 12 000 руб., невестин 6000 руб.

Между тем дни за днями проходили; при дворе каждый почти день отправлялись празднества; вся Москва носила тогда праздничный вид, ожидая царского брака, но близкие к государю люди замечали, что он и после обручения не показывал никаких знаков сердечности к своей невесте, а становился к ней холоднее. Он не искал, подобно каждому жениху, случая почаще видеть свою невесту и быть с нею вместе, напротив, уклонялся от ее общества; замечали, что ему вообще было приятнее, когда он находился без нее. Этого и надобно было ожидать: малосмысленный отрок не имел настолько внутренней силы характера,

чтоб отцепиться от Долгоруковых впору; его подвели: отрок неосторожно, может быть, под влиянием вина, болтнул о желании соединиться браком, а бесстыдные честолюбцы ухватились за его слово. "Царское слово премуно не бывает" — гласила старая русская поговорка, и, вероятно, эта поговорка не раз повторялась Петру в виде назидания. И вот его довели до обручения. Но тут, естественно, еще более опротивела ему и прежде немилая невеста. Это положение понимали все окружавшие царя и втайне пророчили печальный исход честолюбию Долгоруковых. Сам князь Алексей Григорьевич, досадуя, что время Рождественского поста и Святков помешало скорому совершению брака, и замечая усиливающееся охлаждение царя к невесте, хотел было устроить тайный брак, но потом отстал от этой мысли, взвесивши, что такой брак, совершенный не в положенное церковью время, не имел бы законной силы. Приходилось вооружиться терпением и подождать несколько дней. Царский брак мог совершиться только после праздника Крещения и назначен был на 19 января. Между тем на Новый год царь сделал выходку, которая сильно не понравилась князю Алексею Григорьевичу: не сказавши Долгоруковым, он ночью ездил по городу и заехал в дом к Остерману, у которого, как рассказывает иностранный министр того времени (Lefort. *Neiremann*, 536), находилось еще двое членов Верховного тайного совета, и было там при государе какое-то совещание, вероятно, не в пользу Долгоруковых: они умышленно были устранены от участия в нем. После того, как сообщает тот же современник, царь имел свидание с цесаревной Елисаветой: она жаловалась ему на скудость, в какой ее содержали Долгоруковы, захвативши в свои руки все дела двора и государства; в ее домашнем обиходе чувствовался даже недостаток в соли. "Это не от меня идет, — сказал государь, — я уже не раз давал приказания по твоим жалобам, да

меня плохо слушаются. Я не в состоянии поступить так, как бы мне хотелось, но я скоро найду средство разорвать свои оковы".

В самом возвышающемся роде Долгоруковых не было согласия. Фельдмаршал, князь Василий Владимирович, и прежде недовольный проделками князя Алексея Григорьевича, не переставал роптать и обличать его. Князь Алексей Григорьевич не ладил с сыном, царским фаворитом, да и сама невеста стала недовольна братом за то, что не допускал ее овладеть бриллиантами умершей великой княжны Натальи Алексеевны, которые царь обещал своей невесте. Других ветвей князья Долгоруковы не только не пленялись счастьем, привалившим к одной линии многочисленного княжеского рода, но питали к ней чувство злобной зависти. По всему можно было предвидеть — и уже многие предсказывали, — что предполагаемой свадьбе не бывать; и князья Долгоруковых, по воле опомнившегося царя, постигнет судьба князя Меншикова.

В начале 1730 года получено было известие о смерти Меншикова. Несчастный изгнанник, заточенный в ледяной пустыне, был сначала помещен с семейством в остроге, нарочно в 1724 г. построенном для государственных преступников, а потом ему дозволили построить свой собственный домик. Он переносил свое горе с истинной героической твердостью духа. Как ни томило его внутренне это горе, не показывая он тоски своей внешними знаками, казался довольно весел, заметно пополнял и был чрезвычайно деятелен. Из скудного содержания, какое выдавалось ему, сумел он составить такой запас, что мог на него построить деревянную церковь, которая была еще при нем освящена во имя Рождества Богородицы. (Замечательно, что в этот праздник постигла Меншикова опала.) Он сам своею особою работал топором над ее постройкою; недаром приучил его с юности к такого рода работе Петр Великий. Менши-

ков был очень благочестив, сам звонил к богослужению и на клиросе своей Березовской церкви исполнял должность дьячка, а дома читал детям Священное Писание. Говорят, что он составлял свое жизнеописание и диктовал его детям своим. К сожалению, оно не дошло до нас. 12 ноября 1729 года, 56 лет от роду, он скончался от апоплексического удара: в Березове некому было пустить заболевшему кровь. Когда получено было в Москве через тобольского губернатора (от 25 ноября 1729 года) известие о кончине Меншикова, Петр приказал освободить его детей и позволить им жить в деревне дяди их Арсеньева с воспрещением въезжать в Москву; повелено было дать им на прокормление по сто дворов из прежних имений их родителя и сына записать в полк (Есип., "Ссылка кн. Менш.", Отч. Зап. 1861, № 1, стр. 88). Старшая дочь Александра Даниловича, Мария, бывшая невеста императора, умерла в Березове, но о времени ее кончины существует разногласие. По одним известиям, она умерла при жизни отца, и родитель сам погребал ее, по другим известиям, и вероятнейшим (см. "Ссылка кн. Менш.", *ibid.*, прилож. № 6, стр. 37), ее не стало на другой месяц после кончины отца, 26 декабря 1729 года.

6 января 1730 года царь поехал в город на освящение воды и, воротившись в свой Слободской дворец, жаловался на нездоровье. На другой день высыпала у него по телу оспа. Болезнь эта, как известно, вообще такого свойства, что несколько дней нельзя утвердительно делать предсказания относительно ее исхода; но как Петр был последний из мужской линии дома Романовых, то возможность его кончины заранее возбуждала вопрос, кто будет ему преемником и кто должен собою открыть другую династию или другую линию прежней династии. Это занимало не одних русских государственных людей, но и министров иностранных дворов, обязанных блюсти интересы тех государств, которых были

представителями в России. В числе этих иностранных министров в России был датский министр Вестфален, большой дипломат и интриган. Еще при Екатерине I, как мы выше приводили, он сблизился с Меншиковым и настраивал его примкнуть к партии Петрова внука. В оное время датский министр хлопотал, чтобы по кончине Екатерины взошел на престол Петр II, потому что иначе могли бы занять престол или голштинская герцогиня, или находившаяся в большой дружбе с нею сестра ее, Елисавета, а это было бы опасно и противно политике датского правительства. Теперь, на случай рановременной смерти Петра II, поднималось прежнее опасение. По кончине последнего из мужской линии Романова дома, наследство престола могло перейти или к цесаревне Елисавете, или к малолетнему сыну покойной голштинской герцогини. Для Дании было полезно, если бы в России наследовало престол лицо, не имеющее дружественной связи с Голштинским домом, и всего лучше, если бы оно могло стать в неприязненные отношения к последнему. Вестфален был же свидетелем, как по смерти Петра Великого престол достался его вдове, не имевшей никакого родового права; поэтому, как соображал он, в России преемничество может быть мимо всякой кровной связи с прежде царствовавшим домом. Датский министр написал к Василию Лукичу Долгорукову письмо и вкинул в него соблазнительную мысль объявить преемницею Петра царскую невесту, наподобие того, как после кончины Петра Великого провозглашена была властвующею императрицею Екатерина. Тогда — замечал он — устроили такое дело Меншиков с Толстым, почему же теперь не могут сделать того Долгоруковы? Василий Лукич сообщил об этой мысли князю Алексею Григорьевичу. 12 января государю стало лучше, и дело было оставлено.

Все надеялись, что болезнь Петра уже не представляет опасности. Но 17 января

Петр, который по своей отроческой живости никогда не берег себя от влияний температуры, отворил окно. Внезапно закрылась вся высыпавшая по телу оспа. Все увидели тогда безнадежность. Царь тотчас же начал впадать в беспамьятство.

Тогда князь Алексей Григорьевич пригласил к себе в Головинский дворец родню свою для тайного родственного совета. Сошлись братья его, Сергей и Иван Григорьевичи, Василий Лукич и брат царской невесты Иван Алексеевич. Князь Алексей Григорьевич, оставив их в своей спальне, поехал в Лефортовский дворец осведомиться о здоровье государя. В его отсутствие приехали в Головинский дворец князь Василий и Михайло Владимировичи. Быть может, отец царской невесты нарочно выехал из дома, чтоб дать возможность без себя сказать братьям Владимировичам о том, что затевалось по наущению Вестфалена: ему самому казалось неприличным говорить в пользу своей дочери тем, которые и прежде неблагоприятно смотрели на предполагаемый царский брак.

Князья Григорьевичи сказали князьям Владимировичам:

— Вот его величество весьма болен и в беспамьятстве; ежели скончается, то надобно, как можно, удержать, чтобы после его величества наследницею российского престола быть обрученной его величества невесте, княжне Екатерине.

— Княжна Екатерина не венчалась с государем, — сказал князь Василий Владимирович.

— Не венчалась, так обручалась, — отвечали Григорьевичи.

— Ино дело венчанье, а иное обручение, — сказал Василий Владимирович. — Хотя бы она и венчана была, и тогда в учинении ее наследницею не без сомнения было бы. Не то что посторонние, да и нашей фамилии прочие лица у ней в подданстве быть не захотят. Покойная государыня Екатерина Алексеевна, хотя и царствовала, но только ее величество государь император при животе своем короновал.

— Стоит только крепко захотеть, — сказали Григорьевичи. — Уговорим графа Головкина и князя Дмитрия Голицына, а коли заспорят, так мы их и бить начнем. Как не сделаться по-нашему? Ты, князь Василий Владимирович, в Преображенском полку подполковник, а князь Иван — майор; а в Семеновском полку спорить против нас некому.

Князь Василий Владимирович на это сказал:

— Что вы, ребячье, врите! Статочное ли дело? И затем, как я полку объявлю? Услышат об этом от меня, не то что станут бранить, еще и побьют!

Тогда Григорьевичи сказали:

— А если княжну Екатерину изволит государь объявить своею наследницею в духовной?

Князь Василий Владимирович отвечал:

— То было бы хорошо, понеже оно дело в воле его величества состоит, только как нам о таком несостоятельном деле рассуждать, когда вы сами знаете, что его величество весьма болен и говорить не может, как же его величеству оно дело учинить!

Тут приехал князь Алексей Григорьевич и сообщил, что положение государя нимало не улучшается и, напротив, кажется безнадежным. Зашла опять речь о наследстве, и князь Василий Владимирович в резких выражениях начал возражать против намерения сделать наследницею престола царскую невесту. "Вы все сами себя погубите, если станете этого добиваться", — пророчески сказал он князю Алексею Григорьевичу и потом уехал с братом Михайлом.

Оставшиеся в Головинском дворце Долгоруковы опять принялись за вопрос о наследстве. Князь Сергей Григорьевич сказал:

— Нельзя ли написать духовную от имени государя, якобы он учинил своею наследницею невесту свою княжну Екатерину?

Уже братьев Владимировичей не было,

и никто не возражал против такого незаконного предприятия. Князь Василий Лукич вызвался сочинять фальшивый документ, сел у комля, взял лист бумаги и стал писать; но, не дописавши всего, он бросил бумагу и сказал:

— Моей руки письмо худое. Кто бы написал получше?

Тогда взялся за перо и бумагу князь Сергей Григорьевич, а князя Василий Лукич и Алексей Григорьевич сочиняли духовную и диктовали ему, так что один скажет, а другой прибавит. Таким способом князь Сергей написал духовную от имени государя в двух экземплярах. Тут князь Иван Алексеевич вынул из кармана письмо государя и свое собственное писание и сказал:

— Посмотрите, вот письмо государево и моей руки. Письмо руки моей слово в слово, как государево письмо. Я умею под руку государеву подписываться, потому что я с государем в шутку писал.

И под одним из экземпляров составленной духовной он подписал: "Петр".

Все хором решили, что почерк князя Ивана Алексеевича удивительно как сходен с почерком государя.

Но с первого раза не решились фальшивой духовной, подписанной князем за государя, дать значение действительного документа. Оставался другой экземпляр, еще не подписанный. Отец и дядя сказали князю Ивану:

— Ты подожди и улучи время, когда его величеству от болезни станет свободнее, тогда попроси, чтоб он эту духовную подписал, а если за болезнью его рукою та духовная подписана не будет, тогда уже мы по кончине государя объявим ту, что твоей рукой подписана, якобы он учинил свою невесту наследницею. А руки твоей с рукою его императорского величества, может быть, не познают.

После такого совета князь Иван, взявши оба экземпляра духовной, поехал в Лефортовский дворец и ходил там, беспрестанно осведомляясь, не стало ли

лучше государю и нельзя ли быть к нему допущенным. Но ему был один и тот же ответ: государь крайне болен и находится в беспамятстве. Близ государя был неотступно Остерман, потому что Петр сам этого прежде хотел.

Так прошел день. На другой день, 18 января, князь Алексей Григорьевич спросил у сына:

— Где у тебя духовная?

— Здесь, — отвечал князь Иван. — Я не получил времени у его императорского величества, чтобы просить подписать духовную.

Отец сказал ему:

— Давай сюда, чтобы тех духовных кто не увидел и не попались бы кому в руки.

Князь Иван Алексеевич отдал отцу оба списка духовной (Кашперов, Пам. Нов. Рус. Ист. I, стр. 160 и далее).

Состояние здоровья государя было окончательно безнадежно. Его причастили св. Тайн, и три архиерея совершили над ним таинство елеосвящения. Остерман был неотступно у изголовья умиравшего своего царственного воспитанника. Петр, в припадках агонии, беспрестанно произносил его имя. Наконец, в ночь с 18 на 19 января 1730 года, во втором часу, Петр крикнул: "Запрягите сани, хочу ехать к сестре!" С этим он испустил дыхание.

Петр II не достиг того возраста, когда определяется вполне личность человека, и едва ли история вправе произнести о нем какой-нибудь приговор. Хотя современники хвалили его способности, природный ум и доброе сердце — все, что могло подавать надежду увидеть хорошего государя, но таким восхвалениям нельзя давать большой цены, потому что то были одне надежды на хорошее в будущем. В сущности, поведение и склонности царственного отрока, занимавшего русский престол под именем Петра Второго, не давали права ожидать из него со временем талантливого, умного и дельного правителя государства. Он не

только не любил учения и дела, но ненавидел то и другое, не показывал никакой любознательности; ничто не увлекало его в сфере государственного управления, всецело пристращался он к праздным забавам и до того подчинялся воле приближенных, что не мог сам собою, без пособия других, освободиться от того, что его уже тяготило; между тем увлекался постоянно соблазнительной мыслью, что он как самодержец может делать все по своему нраву и все вокруг него должны поступать так, как он прикажет. Царственный отрок был глубоко испорчен честолюбцами, которые пользовались его сиротством для своих эгоистических целей и его именем устраивали козни друг против друга. Смерть постигла его в то время, когда он находился во власти Долгоруковых; вероятно, если бы он остался жив, то Долгоруковых, по интригам каких-либо других любимцев счастья, постигла бы судьба Меншикова, а те, другие, что низвергли бы Долгоруковых, в свою очередь, низвержены были бы иными любимцами. Во

всяком случае, можно было ожидать царствования придворных козней и мелкого тиранства. Государственные дела пришли бы в крайнее запущение, как это уже и началось: пример верховного самодержавного главы заразительно действует на всю правительственную среду. Перенесение столицы обратно в Москву потянуло бы всю Русь к прежней недеятельности, к застою и к спячке, как уже того и опасались сторонники преобразования. Конечно, нельзя утверждать, что было бы так наверное, а не иначе, потому что случаются неожиданные события, изменяющие ход вещей. Таким случайным, неожиданным событием и явилась на самом деле рановременная кончина Петра Второго, которую можно, по соображениям, считать величайшим счастьем, посланным свыше для России: смерть юноши-государя все-таки была поводом к тому, что Россия снова была двинута по пути, проложенному Великим Петром, хотя с несравненно меньшею быстротою, энергиею и ясностью взглядов и целей.

## Примечания и комментарии Н.И.Костомарова

<sup>1</sup>Исключая первой супруги царя Михаила Федоровича, женившегося по воле матери; но эта женщина скоро умерла, не оставя по себе почти никакого следа.

<sup>2</sup>Так, напр., г-н Погодин находит умными рассуждения, встречаемые в записках царевича по следующим случаям: священник, который на условном языке в письме царевича назван Коровою, искал места в Горичком монастыре. Царевич пишет, что он говорил тетушке о Корове, но лучше бы, чтоб Корова поднес чело-битную горичкой братии и архиерею, и сам он, царевич, когда увидит архиерея, поговорит с ним, а нарочно посылать не следует, чтоб не докучать и не повредить любви с ним частными посылками. Здесь видна только трусость и больше ничего. Или, напр., что особенно умного в том, что царевич просил за какого-то Окунькова, к которому Бестужев за плутовство был немилостив? Или, напр., в письме из Дрездена к духовнику царевич извещает, что невеста царевича не хочет принять православия, но вместе надеется, что со временем это состоится, причем изъявляет такое избитое мудрование: "Всею больше надлежит положиться на волю Божию. Он многожды и мнящимся противными нам полезныя устрояет и пр.". К доказательствам ума царевича г-н Погодин причисляет и такую записку: "Что пишешь, радетель, что будто я пишу к тебе отчаятельно о прибытии моем сими словами. Когда же сие будет Бог весть, и сие мое слово отчаянию не подлежащее весьма, понеже весь живот наш и движение в руке Божией. То было бы отчаятельно как бы в волю Божию и с его изволения не положил я свое возвращение". Это указывает на набожность царевича, но, в сущности, не доказывает в нем большого ума, потому что подобные истины мог и глупец повторять, так как они были ходячими. Точно так же в письме от 17 сентября 1711 г. совет, даваемый господину Засыпке помянуть Иова и Евстафия, указывает на чтение религиозных книг, а не на особенный ум. Доказательства ума царевича, приводимые г-ном Погодиным, могли быть состоятельны, если бы был поставлен вопрос: не был ли царевич такой идиот, что и пяти пальцев пересчитать не умел? Но его таким никто не считал.

<sup>3</sup>Нельзя не согласиться с верностью и справедливостью этого взгляда при господстве

в Европе ложных, эгоистических, противохристианских оснований государственной политики, когда думали, что каждое государственное тело должно основывать свою силу на слабости других, когда государственной мудростью считалось уменьше всеми силами сделать побольше зла соседям.

<sup>4</sup>— Воля твоя, государь, только я тебе не советник, — сказал камердинер.

— Для чего?

— Потому что, как удастся, то хорошо, а когда не удастся, тогда ты на меня будешь гневаться.

<sup>5</sup>В протесте Дауна не говорится также, чтобы Даун страдал царевича разлучением с Евфросиньей, но в этом случае мы вправе более верить Толстому. С какой стати последнему сваливать часть своих заслуг на другого, когда для него гораздо лучше было бы явить Петру свое искусство, если бы он сумел достать царевича без чужой помощи.

<sup>6</sup>21 февраля отправлены к Москве из Спб. господин генерал князь Василий Володимирович, Петр Матвеевич, сибирский царевич, Аврам Лопухин, Иван Кикин, князь Богдан Гагарин, Михайла Самарин, да камердинер Иван Меньшой Афонасьев, Никифор Богданов, Еверлаков, Константин Баглаювский, дяк Волков, дяк Воронов, поп Греческий. Они посланы под караулом от гвардии майора господина Юсупова-Княжева пополуночи в 9 часу в ножных железах все. Того же числа привез в гварнизон под караулом светлейший князь г-на секретаря Волкова.

В 22-й день. Привез господин генерал-майор Чернышев в гварнизон под караул пополуночи во 2 часу Ивана Ивановича Нарышкина, Василия Михайловича сына Глебова; и на оных наложены ножные железа. Того ж числа привез под караул лейб-гвардии Преображенского полка сержант Спицын Александра Кикина, секретаря Гавриила Конспичского, да человека его ж Бобриня, да двух денщиков, Шишукова да Жучкова и пр.

<sup>7</sup>Письмо это заподозрил уже г-н Устрялов; однако некоторые доказательства его поддельности, приводимые г-ном Устряловым, недостаточно сильны; напр., что письмо писано к некоему Дмитрию Ивановичу Титову, а г-н Устрялов не мог отыскать такого Титова. Но разве не могло быть у Румянцева близкого лица, неизвестного г-ну Устрялову? Или, девуку Евфросинью Румянцев называет росту высокого, а граф Шенборн, видевший ее в мужской



одежде, назвал ее *petit page*; во-первых, здесь выражение *petit* может относиться не к росту, во-вторых, женщина в мужском платье всегда покажется ниже, чем в женском. В письме говорится затем: царевич обоз к Москве пошел и с ними привезена девка Евфросинья. Г-н Устрялов думает, что Румянцев не мог сделать такой ошибки и не знать, что Евфросинья проехала из-за границы, а не из Москвы. Но мы не знаем, как везли Евфросинью: могли ее везти прямо в Москву, думая, что царевич там, а потом уже повезти в Петербург.

Гораздо важнее следующие несообразности, замеченные Устряловым: в письме, писанном от 27 июля, говорится, что Евфросинья в монастырь на вечное покаяние отослана, когда известно, что 5 июля того же года царь дал указ: "Девку Афросинью отдать коменданту в дом, и чтоб она жила у него и куда похочет ехать, отпуская бы ее со своими людьми", а в распределении вещей, оставшихся после царевича, писанном уже в ноябре 1718 г., показано много разных женских вещей, которые велено отдать Бутурлину для передачи девке Афросинье; следовательно, она не была отдана в монастырь в июле 1718 года. Миллер, который жил близко к этому времени, говорит, что Евфросинья вышла за офицера с.-петербургского гарнизона. В письме Румянцева говорится, что Аврам Лопухин и Яков, духовник царевича, казнены достойною смертью, а между тем они были казнены гораздо позже 27 июля, от которого будто бы писал Румянцев Титову, а именно они были казнены 8 декабря. Но главное, это то, что такой ловкий человек, как Румянцев, не решился бы поверить письму такую важную государственную тайну.

Некто кн. Козловский в 1844 году сообщил о разных материалах, относящихся к Пет-

ру, будто бы полученных каким-то Чертковым чрез адъютанта фельдмаршала Румянцева из архива Румянцевых; в том числе он сообщил о письме Александра Румянцева к Титову в Рязань (Ивану Дмитриевичу, а не Дмитрию Ивановичу), о подробностях приезда царевича в Москву, о свидании его с царем и о его отречении от престола. Это письмо по своему тону походит на то, о котором мы упомянули, узнавши его из книги Устрялова. Замечательно, что в материалах, изданных кн. Козловским, приводимые им некоторые документы были уже напечатаны при Петре, но у Козловского отличны от напечатанных. Покойный Пекарский, на основании сходства слога письма Румянцева, напечатанного Козловским, с письмом о задушении царевича, склонялся к признанию подлинности и последнего. Но самые эти материалы, представляя несогласные редакции того, что уж было напечатано при Петре, едва ли могут приниматься без критики, пока не объяснится, что за причина такой разницы... Кроме того, мы не знаем, как старые списки письма о задушении, приписываемого Румянцеву. Г-ну Пекарскому в 1859 году было известно, что это письмо стало ходить по рукам назад тому не более пяти лет. В таком случае, что же мудреного, если какой-нибудь досужий любитель старины составил его по образцу того письма, которое было напечатано Козловским и которое, хотя также отзывается несколько церковно-книжною речью, не в меньшей степени, чем письмо о задушении, представляет черт, побуждающих отрицать его подлинность.

<sup>8</sup> Так назывался один род пытки, состоявшей в том, что обвиняемому надевали хомут и привязывали руки и ноги ремнями к противоположным столбам и потом били кнутом.

## КОММЕНТАРИИ

**Царевич Алексей Петрович**  
(По поводу картины Н.Н.Ге)

Очерк был опубликован в издании "Древняя и новая Россия. Ежемесячный исторический иллюстрированный сборник" (СПб., 1875. № 1, 2), позже Н.И.Костомаров включил его в "Исторические монографии" (2-е изд. 1881. Т. 14).

Статья является откликом на картину замечательного русского художника Н.Н.Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе". Выставленная в 1871 г. на I передвижной выставке, она положила начало реалистическому направлению в русской исторической живописи. Полотно было написано в преддверии 200-летнего юбилея со дня рождения Петра I, отметить который готовилось русское общество. Н.И.Костомаров счел своим долгом подготовить очерк, посвященный сюжету картины, вызвавшей общественный резонанс. Появлению работы способствовало личное знакомство художника и ученого. В воспоминаниях И.Е.Репина отмечается, что на вечерах у Ге в начале 70-х гг. собирались "самые выдающиеся литераторы: Тургенев, Некрасов, Салтыков, Костомаров, Кавелин, Пыпин, Потехин; молодые художники: Крамской, Антокольский...".

С. 125. *В XI веке митрополит Иоанн...* – Иоанн I (грек Иона) (ум. 1035) – митрополит киевский с 1008 г.

С. 125. *...француз Ляннуа, посещавший Новгород...* – Ляннуо (Ланнуа), Жильбер де – дипломат, путешественник. Автор воспоминаний, составленных на основе дорожных записей о поездках в 1413–14 гг. и 1421 г. в страны Восточной Европы, посетил Новгород и Псков.

С. 125. *Посхмиться* – принять монашество.

С. 125. *Великий князь Василий Иванович поступил со своею женой Соломониюю именно так, как поет... народная песня: он приказал насильно постричь свою жену в монастырь...* – Первая жена Василия Ивановича III Соломонида Юрьевна Сабурова в 1525 г. была насильно пострижена и сослана в суздальский Покровский монастырь.

С. 126. *Шаутбенахт* – шаутбейнахт, контр-адмирал.

С. 126. *...меньшой, Александр, умер скоро после своего рождения...* – Второй сын Петра I

и Евдокии Лопухиной родился 3 октября 1691 г., умер 14 мая 1692 г.

С. 129. *Погодин*. – Погодин, Михаил Петрович (1800–1875) – русский историк, писатель, журналист.

С. 130. *...учителя Гюйсена...* – Гюйсен, Генрих фон – доктор права, барон. На русской службе с 1702 г. Выполнял дипломатические поручения.

С. 130. *...под воспитательный надзор немца Нейгебауера...* – Нейгебауэр (Небоуэр), Мартин – воспитанник Лейпцигского университета, рекомендован саксонским посланником. Претендовал на высокое положение при дворе, оскорбительно отзывался о русских.

С. 133. *...в созданный царем "парадиз"* – Парадизом (раем) называл в своих письмах Петр I Петербург.

С. 133. *...Александр Кикин*. – Кикин, Александр Васильевич (ум. 1718) – русский государственный деятель. С 1707 г. возглавлял адмиралтейство. В 1715 г. был осужден за взятки и злоупотребления, прощен.

С. 133. *...всепапственнейший собор...* – Созданная Петром I шувовская организация, пародирующая обычаи католической церкви и суеверия противников реформ.

С. 136. *"...яко Илии жерца хребта сокрушение"*. – Библейский первосвященник и судья. Обладал добрым нравом, доходившим до слабости. Был наказан за снисхождение к сыновьям, допускаям бесчиние. Умер, узнав о их гибели в войне с филистимлянами.

С. 138. *...по замечанию императорского посла в России, Плейера...* – Плейер, Отто-Антон – дипломатический представитель Австрии в России в 1696–1710 гг. Автор сочинения "О нынешнем состоянии государственного управления в Московии..." в 1710 г." (М., 1874).

С. 140. *...церковной истории Барония...* – Бароний, Цезарь (1538–1607) – историк церкви, кардинал.

С. 141. *"...богемский мартирологиум; ...животы святых Рибоденьера; ...Томас Акемпиз; ...Дрекселья о вечности..."* – Мартиролог – название сборника повествований о христианских мучениках и проповедниках. Рибоденьера, Педро де (1527–1611) – испанский писатель, иезуит. Томас Акемпиз – Фома Кемпийский (1379–1471), богослов католической церкви, автор "Подражания Христу". Дрексель, Иеремия Д. (1581–1638) – немецкий католический писатель, иезуит.

С. 141. *"...постригует меня, как Василия Шуйскаго..."* – Царь Василий Иванович Шуйский

(1552–1612) в 1610 г. был свергнут с престола в результате дворянского заговора и насильно пострижен в монахи.

С. 144. *К тому же Давидово слово: всяк человек ложь.* – Давид – библейский царь и пророк израильский. См.: Псалтирь, 115.

С. 144. *Клубук* – монашеский головной убор.

С. 152. *...Петр Толстой...* – Толстой, Петр Андреевич (1645–1729) – русский государственный деятель, дипломат, граф (1724). В 1702–14 гг. – посол в Турции. В 1718–26 гг. – глава Тайной канцелярии, возглавлял следствие по делу царевича Алексея. В 1727 г. арестован, сослан. Умер в Соловецком монастыре.

С. 153. *...по Утрехтскому миру...* – Общее название ряда двусторонних мирных договоров 1713 г., завершивших войну за испанское наследство.

С. 154. *Фельдцейгмейстер* – генерал-фельдцейхмейстер – начальник артиллерии.

С. 159. *...от богословской книги Назианзина...* – Григорий Назианский (328–390) – богослов, христианский святой. Автор многочисленных богословских сочинений.

С. 164. *Можно ли не назвать достойным порицания поступок Владимира Мономаха с половецкими князьями или императора Сигизмунда с Гусом на Констанцском соборе?* – В 1095 г. в Переславле княживший там Владимир Мономах разорвал мирный договор с половцами, убив находившихся у него союзных ханов Кытана и Итлара вместе с их дружинами. В 1414 г. национальный герой чешского народа, выдающийся мыслитель, идеолог чешской реформации Ян Гус (1371–1415) был вызван на церковный собор в Констанце, где, несмотря на охранную грамоту императора Сигизмунда, был брошен в тюрьму и казнен.

### Самодержавный отрок

Статья увидела свет в 1-м томе за 1878 г. издания "Древняя и новая Россия. Исторический иллюстрированный ежемесячный сборник", впоследствии вошла в 14-й т. "Исторических монографий".

С. 168. *...голландскому герцогу, родному племяннику короля Карла XII...* – Карл Фридрих (1700–1739) – герцог Гольштейн-Готторпский, сын Фридриха IV и Гедвиги-Софии, старшей дочери шведского короля Карла IX. Воспитывался в Швеции. В 1721–27 гг. жил в Петербурге. В 1725 г. заключил брак с цесаревной Анной Петровной. Отец Карла-Петра-Ульриха,

ставшего всероссийским императором Петром III.

С. 169. *...на Феофана Прокоповича...* – Прокопович, Феофан (1681–1736) – русский церковный и политический деятель, архиепископ. С 1721 г. – вице-президент Синода. Участвовал в создании Академии наук. Автор многочисленных проповедей, прозаических, стихотворных и других произведений.

С. 169. *Сам Петр заимствовал коллегиальное устройство из Швеции...* – Хорошо знакомый с европейским законодательством, Петр I при учреждении коллегий в 1717–21 гг. использовал юридические документы шведского происхождения, соответствующие политическому строю России.

С. 170. *...если верить Бассевичу...* – Бассевич, Генинг Фридрих фон (1680–1749) – граф, президент Тайного совета герцогства Шлезвиг-Гольштинского, резидент в России. Автор записок о России, охватывающих события 1713–1725 гг. (М., 1866).

С. 170. *...у Репнина отнял власть Меншиков...* – Репнин, Аникита Иванович (1668–1726) – русский военный деятель, князь, с 1725 г. – генерал-фельдмаршал. Поддерживал Екатерину I и А.Д.Меншикова, но как сторонник Петра II был удален в Ригу.

С. 170. *Остерман.* – Остерман, Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686–1747) – русский государственный деятель, дипломат, граф. На русской службе с 1703 г. Член Верховного тайного совета. С 1731 г. фактический руководитель русской внешней и внутренней политики.

С. 170. *...заклятому врагу Меншикова Девьеру.* – Дивьер, Антон Мануилович (1682–1745) – первый генерал-полицеймейстер Петербурга, граф, сенатор. Родом из Португалии. Был женат на сестре А.Д. Меншикова.

С. 171. *...поминать его имя на ектеньях...* – Ектеньи – название ряда молитвенных прошений в церковном богослужении.

С. 173. *Девьер и другие товарищи были осуждены именем императрицы в день ее кончины и затем сосланы.* – По завещанию Екатерины I престол наследовал Петр II. Дивьер, Толстой, Бутурлин, Ушаков и другие, принимавшие активное участие в деле царевича Алексея, составили заговор в пользу Анны Петровны, но были разоблачены. Приговор Екатерины I подтвердил манифестом воцарившийся Петр II.

С. 174. *"...по примеру римского императора Веспасиана..."* – Веспасиан, Тит Флавий (9–79) –

римский император с 69 г. Старался править в согласии с Сенатом, опираясь на провинциальную аристократию.

С. 174. *Вебер*. – Вебер, Христиан Фридрих – ганноверский резидент в России.

С. 176. *В 1711 г. во время несчастного Прутского дела...* – Русско-турецкая война 1711 г., окончившаяся подписанием мира, по которому Россия лишилась Азова и уничтожила крепости на Дону и Днестре.

С. 176. *Ягужинский*. – Ягужинский, Павел Иванович (1683–1736) – русский государственный деятель и дипломат, граф. Родился в Польше. В 1720–21 гг. – посланник в Австрии, в 1722 г. – генерал-прокурор Сената. В 1726–27 гг. – посол в Польше, 1731–34 гг. – в Пруссии. С 1735 г. – кабинет-министр.

С. 177. *Обер-гофмейстер* – один из высших придворных чинов.

С. 181. *...с князем Василием Лукичом Долгоруковым...* – Долгорукий, Василий Лукич (1670–1739) – дипломат. В разные годы – посол в Польше, Франции, Дании, Швеции. Член Верховного тайного совета. Активный участник заговора верховников, в 1730 г. сослан в Соловецкий монастырь. Казнен в 1739 г.

С. 184. *Скоропадский*. – Скоропадский, Иван Ильич (1646–1722) – гетман Левобережной Украины с 1708 г. Избран после измены Мазепы.

С. 185. *...с гетманскими клейнотами...* – Клейноты – войсковые знаки, регалии власти запорожцев.

С. 187. *...на Манштейна (см. Р.Ст., апр. 1875. Прилож. стр. 5)...* – Манштейн, Кристофер Герман (1711–1757) – сын генерал-поручика русской армии. В 1736–44 гг. находился на русской службе, позже служил в Пруссии. Оставил

”Записки о России”, опубликованные в журнале ”Русская старина” (Отд. изд. СПб., 1875).

С. 189. *Гоф-интендант* – придворный чин, ведавший царскими дворцами и садами.

С. 200. *...курляндской герцогини Анны Иоанновны*. – Анна Иоанновна (1693–1740) – дочь царя Иоанна V Алексеевича. Вышла замуж за герцога Курляндского (1710). Русская императрица с 1730 г.

С. 200. *Испанский посланник Де Лирия...* – Де Лирия (1695–1733) – англичанин, герцог. Автор мемуаров, опубликованных в Париже в 1788 г. (Русский перевод: СПб., 1845).

С. 200. *...одно знамя представляло собой символически то историческое знамя, которое велел сделать когда-то Константин Великий...* – Гай Флавий Валерий Константин (285–337) – римский император. В 312 г. перед сражением с Максенцием велел сделать ставшее прославленным знамя с крестом и надписью ”Сим победиши”.

С. 208. *...президент Ревизион-коллегии...* – Коллегия для ревизии и контроля финансового управления создана в 1719 г.

С. 215. *...мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна, дочь ее принцесса мекленбургская Анна (впоследствии правительница России под именем Анны Леопольдовны)...* – Екатерина Ивановна – дочь царя Ивана V Алексеевича. Анна Леопольдовна (1718–1746) – правительница России в 1740 – 1741 гг., мать объявленного наследником престола Ивана VI Антоновича. Свергнуты в 1741 г.

С. 215. *Шталмейстер* – придворный чин, один из заведовавших придворной конюшней.

С. 215. *Гоф-фурьеры* – чин для ближайшего заведования прислугой.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

“...не восхищаться народностью, а знать ее следует. Точно так же – не восхищаться, не любоваться историею прошедшей жизни – наше дело, а уразуметь ее”.

Н.И.Костомаров

Среди титанов российской исторической мысли XIX в., рядом с Н.М.Карамзиным, С.М.Соловьевым, В.О.Ключевским, занимает видное место Николай Иванович Костомаров. Творчество русско-украинского ученого историка и археографа, фольклориста и этнографа, поэта и просветителя оказало большое влияние на духовное развитие современников и долго еще будет жить в памяти благодарных потомков. Ныне вполне уместно напомнить широкому читателю некоторые страницы жизни Костомарова, 150-летие со дня рождения которого по решению ЮНЕСКО отмечало в 1967 г. просвещенное человечество.

Костомаров родился 4 (16) мая 1817 г. в слободе Юрасовка Острогожского уезда Воронежской губернии. Мать его, Татьяна Петровна Мылъникова, была собственностью помещика Ивана Петровича Костомарова. Старый солдат, штурмовавший Измаил, отставной капитан Костомаров, в духе времени погрузился в вольтерьянство и не ограничился лекциями перед крепостными о природном равенстве людей, необходимости освобождения крестьян, отсутствии бога и вреде суеверий. Он, по словам сына, “ни во что не ставил дворянское достоинство” и еще в 1812 г. решил взять в жены крестьянскую девочку, которой хотел дать образование. С ней он и обвенчался через несколько месяцев после рождения сына, незаконного с ханжески-юридической точки зрения, но единственного и любимого. До 10 лет Николай Иванович воспитывался отцом по рекомендации Ж.-Ж. Руссо при посредстве природы, литературы французских просветителей, стихов Жуковского и Пушкина, и матью – в духе православия.

Отец Николая Ивановича был убит и ограблен своими лакеями, но матери удалось выкупить сына у родных мужа и отдать в частный воронежский пансион. “Несмотря на свой тринадцатилетний возраст и шаловливость, – писал впоследствии историк, – я понимал, что не научусь в этом пансионе тому, что для меня будет нужно для поступления в университет, о котором я тогда уже думал как о первой необходимости для того, чтобы быть образован-

ным человеком”<sup>1</sup>. В 1831 г. матушка определила его в воронежскую гимназию. Мальчик переходит сразу в третий из четырех классов гимназии, где также почти не учили, овладевает латинским, греческим, французским языками и математикой, в 16 лет единственный из гимназистов сдает экзамены на историко-филологический факультет Харьковского университета. Не найдя и здесь серьезного преподавания, юноша погружается в античность и совершенствует языки, прибавив к ним итальянский, пока на третьем курсе не знакомится с новым профессором всеобщей истории М.М.Луниным: отныне судьбой Костомарова стала история.

Последние полгода до выпускных экзаменов Николай Иванович болел оспой и был сочтен умершим, но, еще нетвердо держась на ногах, прибыл на сессию: для дальнейшего пути в науку бастард должен был получить “степень кандидата за отличие”. Он сдал отлично выпускные экзамены и уехал домой, где узнал, что лишен степени за оценку “хорошо” по богословию, полученную на первом курсе. В январе следующего 1837 г. Костомаров пересдал все экзамены, год спустя получил положенную ему кандидатскую степень, а еще почти через год, в ноябре 1838 г., – кандидатское свидетельство. Одновременно, служа юнкером в Кинбурнском драгунском полку, он разорвал великолепный местный архив и подготовил к печати историю Острогожского казачьего полка с приложением основных документов, мечтая “составить историю всей слободской Украины”<sup>2</sup> (рукопись эта сгинула в полиции после ареста). Никакие обстоятельства не могли заставить Николая Ивановича свернуть с пути, о котором сам он говорил так: “История сделалась для меня любимым до страсти предметом; я читал много всякого рода исторических книг, вдумывался в науку и пришел к такому вопросу: отчего это во всех историях толкуют о выдающихся государственных дея-

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. Автобиография // Костомаров Н.И. Лит. наследие. СПб., 1890. С. 10.

<sup>2</sup> Костомаров Н.И. Автобиография. С. 27.

телях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы? Бедный мужик, земледелец-труженик, как будто не существует для истории; отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствах, о его радостях и печалей? <...> Но с чего начать? Конечно, с изучения своего русского народа; а так как я жил тогда в Малороссии, то и начать с его малорусской ветви. Эта мысль обратила меня к чтению народных памятников"<sup>1</sup>.

Идея изучения истории украинского народа, тонувшей тогда почти в полном мраке неведения, оказалась крайне трудноосуществимой. Костомаров чуть ли не наизусть выучил изданные к тому времени былины и сказы, русские и украинские народные песни, подружился с издателем "Запорожской старины" И.И.Срезневским и другими исследователями народного творчества. Размышляя над методами исторической критики, Николай Иванович отправился в Москву для знакомства с лекциями М.Т.Каченовского, овладел немецким, а затем польским, чешским, словацким, болгарским и другими языками, открывавшими доступ к сравнительному материалу.

Наибольшие трудности представляло освоение едва знакомого Костомарову украинского языка и литературы. Не удовлетворяясь чтением, Николай Иванович со свойственной ему неукротимой энергией начал "этнографические экскурсии" по Украине, которые продолжал затем многие годы. Не только русские и польские, но и украинские по происхождению его товарищи тогда "поднимали на смех самую идею писать на малорусском языке", считая "дозволительным глумиться над мужиком и его способом выражения"<sup>2</sup>. "Такое отношение к народу и его речи мне казалось унижением человеческого достоинства, и чем чаще встречал я подобные выходки, тем сильнее пристращался к малорусской народности"<sup>3</sup>, — писал Костомаров. Он обобщил материалы своих экспедиций и ответил по-украински прозой и романтическими стихами, издав основанные на фольклорно-историческом материале книги "Савва Чалый" (1838), "Украинские баллады" (1839), "Ветка" (1840), "Переяславська ніч" (1841) и другие сочинения.

Сын русского дворянина древнего рода не

мог не выступить на стороне языка и культуры украинского народа. Православный христианин не считал возможным жертвовать истиной ради интересов духовенства. В диссертации "О причинах и характере унии в Западной России" (1842) Костомаров приводил богатый фактический материал о безнравственности православного духовенства, властолюбии и жадности патриархов, не отличавшихся в этом отношении от пап; писал о восстаниях казаков и крестьян; о пользе, которую принесла украинскому просвещению необходимость борьбы с унией. По доносу харьковского архиепископа и учтя отзыв профессора Н.Г.Устрялова, министр народного просвещения С.С.Уваров отменил защиту и приказал сжечь "подрывную" диссертацию<sup>1</sup>.

Но Костомарова нелегко было запугать. Весной 1843 г. он подал в Харьковский университет первую на Украине историко-этнографическую диссертацию и защитил ее 13 января 1844 г., несмотря на сопротивление консервативной профессуры. Впрочем, и "Библиотека для чтения" О.И.Сенковского скептически отнеслась тогда к работе "Об историческом значении русской народной поэзии", да и В.Г.Белинский писал в "Отечественных записках" в том смысле, что "народная поэзия есть такой предмет, которым может заниматься только тот, кто не в состоянии или не хочет заняться чем-нибудь дельнее"<sup>2</sup>.

Под эту полемику Николай Иванович опубликовал исследование восстания Наливайко (1843), первым из ученых обратил пристальное внимание на знаменитые ныне летописи Величко, Самовидца, Грабянки, Ригельмана и многие другие важнейшие памятники украинской истории, большинство которых потом было издано им и его единомышленниками (И.И.Срезневским, О.М.Бодянским и др.). Между тем он потерял должность в университете (вызван из-за девушки на дуэль своего соперника), и, преподавая в ровенской гимназии, продолжил изучение народной жизни на Украине. Историк "получил ужасающие сведения". "Каторга лучше была бы для них!"<sup>3</sup> — писал Костомаров о крестьянах. Из огромной массы собранных им источников медленно вырастал

<sup>1</sup> Хлебников Л.М. Сожженная диссертация // Вопр. истории. 1965. № 9. С. 213—215.

<sup>2</sup> Костомаров Н.И. Автобиография. С. 46.

<sup>3</sup> Пинчук Ю.А. Исторические взгляды Н.И.Костомарова: (Крит. очерк). Киев, 1984. С.39

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. Автобиография. С. 28.

<sup>2</sup> Там же. С. 31.

<sup>3</sup> Там же. С. 31.

"Богдан Хмельницкий" – эпопея мощного народного движения против иноверных угнетателей, народной войны "за волю", за воссоединение с Россией.

Чисто научная деятельность казалась историку недостаточной. Перебравшись в Киев, он осенью 1845 г. становится одним из организаторов тайного "братства св. Кирилла и Мефодия" и пишет его устав. Речь шла о пропаганде идеи освобождения и единения славянских народов, которая "в нашем воображении не ограничивалась уже сферой науки и поэзии... ..стал нам представляться федеративный строй, как самое счастливое течение общественной жизни славянских наций. Мы стали вообразить все славянские народы соединенными между собою в федерации, подобно древним греческим республикам, или Соединенным Штатам Северной Америки... всеобщее уничтожение крепостного права и рабства, в каком бы то ни было виде... полнейшая свобода вероисповедания и национальностей и отвержение иезуитского правила об освящении средств целями..."<sup>1</sup>.

Костомаров все силы отдавал пропаганде идей тайного общества, привлек в него Т.Г. Шевченко – "народного вождя, возбудителя к новой жизни", чей гений был недоступен тем, "которые не доразвились до свободы от предрассудков сословности, национальности и воспитания"<sup>2</sup>. Летом 1846 г. Николай Иванович получил возможность распространять идеи тайного общества с кафедры русской истории Киевского университета (его лекции "Славянская мифология" успели выйти в свет в 1847 г.). В марте 1847 г. адъюнкт-профессору Костомарову было выдано разрешение на брак с А.Л.Крагельской. Накануне венчания он был схвачен и спешно отправлен в Петербург. Правительство оценило опасность идей гражданских свобод, политического равноправия и свободного культурного развития всех, включая самые малые, народностей империи. Костомаров провел год в Петропавловской крепости, сочинения его одно время были запрещены к печатанию, полицейский надзор был пожизненным.

Местом ссылки Николая Ивановича стал Саратов, где, как и в крепости, оказались тогда избранные люди России. Здесь началась его дружба с Н.Г.Чернышевским, А.Н.Пыпиным,

Д.Л.Мордовцевым и др. В губернском правлении, к секретным делам которого Костомарова неосторожно допустили, обнаружился материал по истории раскола, которому историк посвятил затем много трудов. В периодике появились анонимно изданные им местные народные песни, после чего "высшая правительственная власть" повелела уволить цензора без пенсии. В Саратове же были в основном написаны произведения, которые сразу по окончании ссылки поставили ученого в ряд выдающихся историков России. Как в годы освободительного движения, в годы участия в деятельности "братства", так и впоследствии его научные исследования соотносились с действительностью, современной ученому, шаг за шагом раскрывали историю народа, жизнь его деятелей. Вполне справедливо мнение ученого о том, что "история, занимаемая народом, имеет целью изложить движение жизни народа"<sup>1</sup>. Исторические монографии ученого публиковались журналами и многократно переиздавались в XIX – начале XX в. как важнейший материал российской общественной жизни. Назову лишь главные из множества работ, вышедших по возвращении его из ссылки: "Иван Свирговский, украинский гетман XVI века" ("Москвитянин", 1855); "Борьба украинских козаков с Польшею в первой половине XVII века до Богдана Хмельницкого" ("Отечественные записки", 1856); "Богдан Хмельницкий и возвращение Южной Руси к России" (там же, 1857); "Очерк торговли Московского государства в XVI и XVII столетиях" ("Современник", 1857–1858); "Бунт Степнык Разина" ("Отечественные записки", 1858), а также масса изданий народных песен и повестей (в том числе знаменитое "Горе-Злочастье"), статьи о начале крепостничества и др.

В 1858 г. Совет Казанского университета избрал Костомарова профессором, но Министерство народного просвещения наложило вето. Труднее для министерства было противостоять Совету Петербургского университета, профессором которого Николай Иванович стал в 1859 г. после захватившего передовую общественность печатного спора с М.П.Погодиным о крепостничестве. В следующем году, озаглавленном "Очерком домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII сто-

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. Автобиография. С.61–62.

<sup>2</sup> Пинчук Ю.А. Указ. соч. С. 42–43.

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. Об отношении русской истории к географии и этнографии // Собр. соч.: В 21 т. СПб., 1903. Кн. I, т. 3. С. 719.

летиях" ("Современник", 1860) и работой "Русские инородцы. Литовское племя и отношения его к русской истории" ("Русское слово", № 5), состоялся публичный спор с Погодиным по поводу концепции происхождения Древнерусского государства от норманнов; Костомаров пришел к выводу, что "самая история призвания князей есть не что иное, как басня"<sup>1</sup>.

Середина XIX в. ознаменована стремительным ростом освободительного движения в России. Н.И.Костомаров не остался в стороне от веяний времени. В своем исследовании "Севернорусские народоправства во времена удельно-вечового уклада. Новгород – Псков – Вятка" (СПб., 1863) он отмечал, что народоправство и любовь к свободе были у истоков русской культуры, доказывая это анализом исторических фактов.

Исследования и полемика о земских соборах продолжали тему. Проблему выбора пути, факторов, определивших сохранение самодержавного строя в критический для России период, Костомаров рассмотрел в капитальной монографии "Смутное время Московского государства" ("Вестник Европы", 1866–1867). Ученый вновь попал в цель, как подтверждала жаркая полемика в печати об Иване Сусанине, Лжедмитрии I, М.В.Скопине-Шуйском и других героях "Смуты", о самих ее причинах. Ответы Костомарова на полемические послания М.П.Погодина и его сторонников относительно Куликовской битвы, начала единодержавия на Руси показывали читателю, что именно "народная духовная жизнь" есть "основа и объяснение всякого политического события, поверка и суд всякого учреждения и закона"; об этом говорил Костомаров во вступительной части своего лекционного курса истории Руси<sup>2</sup>.

Николай Иванович не опубликовал свои лекции по истории, за исключением вводной части с обзором источников, а также отрывков "Великорусские религиозные вольнодумцы в XVI веке", но его "Исторические монографии и исследования" стали подлинной историчес-

кой энциклопедией с древнейших времен до конца XVIII в. Стремясь донести результаты научных изысканий до широкого читателя, историк создал "Русскую историю в жизнеописаниях ее главнейших деятелей", издававшуюся многожды, написал "Бытовые очерки из русской истории XVIII века" и другие работы. Вместе они составляют один из лучших курсов истории России.

За работами об украинских бунтарях XVI – начала XVII в., освободительной войне и воссоединении Украины с Россией последовали новые очерки: "Гетманство Юрия Хмельницкого" ("Вестник Европы", 1868); "Руина. Историческая монография. 1663–1687" (там же, 1879–1880); "Мазепа" и "Мазепинцы" ("Русская мысль", 1882 и 1884). Подчеркивая историческую обусловленность стремления "единокровных" народов к единству, Николай Иванович не находил возможным отождествлять их интересы с интересами самодержавия и отдельных украинских владык. Дифференцированно рассматривал он и историю Речи Посполитой, большую часть населения которой в XVI–XVII вв. составляли украинцы и белорусы, и собственно Польши. Не случайно его капитальное исследование "Последние годы Речи Посполитой" ("Вестник Европы", 1869) получило продолжение – "Костюшко и революция 1794 года" (там же, 1870).

Идейные оппоненты Н.И.Костомарова не раз пытались упрекнуть его в поверхностном отношении к источникам. Ученый отвечал, что он действительно "сочиняет" историю, стремясь "с большим запасом фактов" разобраться в смысле событий, "уразуметь" их связь, а не ограничиваться переписыванием документов<sup>1</sup>. Ирония к "переписывателям" едко звучала в устах члена Археологической комиссии, выпустившего 12 огромных томов "Актów, относящихся к истории Южной и Западной России", том "Русской исторической библиотеки", три книги "Памятников старинной русской литературы", другие крупные издания и около сотни отдельных публикаций источников, от народных песен до записок иностранцев. Костомаров использовал материалы 65 архивов и библиотек России, Польши и других стран (он дважды

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. Предания первоначальной русской летописи в соображениях с русскими народными преданиями в песнях, сказаниях и обычаях // Вестн. Европы. 1873. Т. I, кн. 1. С. 1–34; кн. 2. С. 570–624. Т. 2, кн. 3. С. 7–60.

<sup>2</sup> Костомаров Н.И. Вступительная лекция в курс русской истории, читанная профессором Костомаровым в Императорском Петербургском университете 22 ноября 1859 года // Рус. слово. 1859. Кн. 12. С. 1 и далее.

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. (псевд. Богучаров И.) Лекции по истории Западной России М.Кояловича, 1864 // Костомаров Н.И. Научно-публицистичні і полемичні писання Костомарова. Київ, 1928. С. 211.



надолго ездил за границу в Швецию, Германию, Бельгию, Францию, Италию, Швейцарию, Австрию, Чехию и Сербию, где его труды пользовались популярностью и даже переиздавались).

Николай Иванович написал ряд источниковедческих работ, в том числе сделал крупные открытия в сложнейшей области древнерусского и украинского летописания. Он в теории и на практике доказал значение комплексного анализа письменных, фольклорных и этнографических памятников, фактов исторической географии. Развита позже В.О.Ключевским, тема "Об отношении русской истории к географии и этнографии" была четко сформулирована в 1863 г. действительным членом Русского географического общества Костомаровым (он был также членом Петербургской и Юго-славянской академий, Виленской Археологической комиссии, Московского Археологического общества, Императорского общества истории и древностей российских, Исторического общества Нестора-летописца при Киевском университете и др.). Интересные исследования Николай Иванович оставил и в области истории исторической науки.

Исследуя в исторических трудах "строгую, неумолимую истину", для фантазии Костомаров находил выход в богатом литературном творчестве. Яркая публицистика Николая Ивановича в журналах "Основа" и "Вестник Европы", в организации которых он участвовал, в "Современнике", "Отечественных записках", многих других журналах и газетах в некотором смысле поучительна и сегодня. В этих работах Костомаров призывал к изучению украинского языка и "преподаванию на народном языке в Южной России", доносил до читателя правду о подвижниках украинской культуры Т.Г.Шевченко, П.А.Кулише, Г.С.Сковороде, М.А.Максимовиче, одним из первых обратился к изданию сочинений Шевченко. Нельзя не отметить заступничество Костомарова за Н.Г.Чернышевского и других узников.

Костомаров отстаивал в печати "Проект открытых университетов" для всех, включая женщин, со свободой преподавания и обучения. В ответ на закрытие в 1861 г. Петербургского университета он вместе с Д.И.Менделеевым, И.М.Сеченовым, А.Н.Бекетовым и другими учеными начал чтение публичных лекций в пользу неимущих студентов, а право на издание своих трудов завещал "Литературному фонду" — обществу для пособия нуждающимся

литераторам и ученым. После открытия университета профессор, внимательно следивший за политическими событиями, пытался предотвратить волнения студентов, был не понят ими и подал в отставку. Кто был прав в больно ранившем Николая Ивановича конфликте 1862 г., показали власти. Когда советы Харьковского и Киевского университетов единогласно избрали Костомарова профессором, Министерство народного просвещения было категорически против, соглашаясь платить ему профессорское жалование, но не допустить на кафедру!

"Министр... объявляет мне, — не без юмора писал Костомаров, — что он не утвердит меня ни в один университет и что если я хожу по Петербургу и цел, и невредим, то за это следует благодарить Господа Бога"<sup>1</sup>. Не менее внимательны к истории были министр внутренних дел, запретивший задуманное Костомаровым издание научно-популярных книг для народа (1863), и III Отделение, через жандармского генерала следившее за тем, чтобы Костомаров не употребил собранных по подписке денег для издания украинской литературы, так как и это было ему запрещено.

...По вторникам в квартире Костомарова собиралось избранное общество. Здесь бывали Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, Т.Г.Шевченко, В.В.Стасов, А.Н.Пыпин и О.М.Бодянский, передовые профессора, музыканты и художники, которым "любимейший учитель всех" (по словам Н.Н.Ге) помогал в работе над историческим материалом. Хозяйство вела Татьяна Петровна, "превосходная женщина" (Н.Г.Чернышевский), "благороднейшая мать прекраснейшего сына" (Т.Г.Шевченко), не покидавшая его до конца своих дней (1875). Во время поездки в Киев Костомаров поселил дом, в котором был арестован, встретил свою невесту и через 27 лет после обручения женился на ней, найдя верного помощника и друга. С юности Николай Иванович отличался слабым здоровьем. Особенно болели глаза, порой историк терял зрение. Лишь могучий дух поддерживал его удивительную работоспособность, умение радоваться и удивляться жизни, стремление к путешествиям, к познанию нового.

Весной 1885 г., закончив последнюю часть "Исторического значения южнорусского народного песенного творчества", подготовив материалы для монографии о Ломоносове и начав статью о Минихе, Костомаров слег. Преодолевая

<sup>1</sup> Рус. старина. 1886. № 5. С. 333.

слабость, он попросил отнести себя в выставочный зал к картине И.Е.Репина "Иван Грозный и сын его Иван". "...Не хотел умереть, не взглянув еще раз!"<sup>1</sup> – сказал Николай Иванович художнику. 7 апреля он скончался, оплаканный передовыми людьми России и Украины. Ему были посвящены обширная литература (причем еще при жизни творчество ученого рассматривалось не только в статьях, но и в книгах), выставки, юбилейные праздники на родине. Среди высоких отзывов о работах Костомарова, данных достойными уважения людьми его времени, можно выделить мнение Н.Г.Чернышевского: "...историк при современном состоянии цензуры сказал все возможное"<sup>2</sup>.

\* \* \*

Читая творения Н.И.Костомарова более чем через столетие, мы должны добавить к этому – "и при современном состоянии источников". Именно возможность смелее развивать исторические взгляды и использовать неисследованные во времена Костомарова источники определяет сегодня особенности восприятия лиц и событий, о которых рассказывают публикуемые сочинения. Вместе с тем нам есть чему поучиться у старого историка.

Двадцать томов "Исторических монографий и исследований" включили важнейшие научные труды Н.И.Костомарова по истории славянских (прежде всего русского и украинского) народов с древнейших времен до конца XVIII в. Сюда вошли монографии о древних русских народоправствах, освободительных движениях на Украине, в России и Польше, исследования форм общественной жизни и торговли, духовной культуры и поэзии, быта и нравов народа, здесь ученый выносит на всеобщее рассмотрение деятельность правителей, предлагает свой разбор значительных исторических событий.

В работе об Иване Грозном, впервые опубликованной "Вестником Европы" в 1871 г. (т. V, кн. 10), Костомаров дает принципиальную оценку периоду, когда вслед за крупными внутри- и внешнеполитическими успехами Российского государства произошло колоссальное усиление самодержавной тирании, начавшей

беспрецедентное по масштабам кровавое наступление против собственного народа. Костомарову еще не были известны результаты опричной войны царя, отразившиеся в поземельных описаниях, – когда захваченные облагаемыми людьми вырезались от стариков до младенцев, уничтожался скот, птица и урожай, чтобы избежать резни погибли от голода. Цензурные соображения мешали изложить некоторые известные материалы, например, о войне с народом 1569/70 г., когда царская армия с невиданным усердием уничтожала население Клина, Торжка, Твери, Вышнего Волочка, Великого Новгорода, Нарвы и Ивангорода. В опричнину даже в Московском уезде площадь пахотных земель сократилась на 84% (людей тогда еще не считали).

Костомарову, как и нам, "кажется", что "следует строго отличать великое от крупного. Победы, кровопролития, разорения, унижения соседних государств для возвышения своего – явления крупные, громкие, но сами по себе не великие. Сочувственное название великого должно давать только тому, что способствует благосостоянию человеческого рода, его умственному развитию и нравственному достоинству"<sup>1</sup>.

А сколь важно для сегодняшних исторических споров утверждение, что "нет ничего ошибочнее и поверхностнее взгляда тех историков, которые, не вдаваясь в исходы явлений, без дальних рассуждений, готовы приписывать все, совершенное в монархическом государстве, сидевшим тогда на престоле государям, довольствуясь, как будто только тем, что их именем производились все дела"<sup>2</sup>. Когда мы с великим трудом восстанавливаем достоинство людей, заслуги которых были приписаны казнявшим их тиранам, нас не оставляет мысль, почему же мужественные полководцы, талантливые дипломаты, бесстрашные первоходожицы духа не пресекали злодеяния, но, за немногими исключениями, покорно подставляли под топор свои шеи, отдавали на растерзание близких, всю "святуюрусскую землю"? Заметим себе рассуждение Костомарова о том, что все они были, прежде всего, слуги, плоть

<sup>1</sup> Костомарова А.Л. Последние годы жизни Николая Ивановича Костомарова // Киев. старина. 1895. № 4. С. 7.

<sup>2</sup> Шаблювский Е.С. Чернышевский и Украина. Киев, 1978. С. 188.

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного // Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования: В 20 т. СПб.: М., 1881. Т. 13. С. 214.

<sup>2</sup> Костомаров Н.И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного. С. 216.

от плоти раздавившей их политической системы, "а не граждане". Как части системы они могли совершать подвиги самопожертвования, и как части – не могли выйти за свои рамки, стать борцами с тиранией.

"О, окаянные и вселукавые пагубники Отечества, и телесоядцы, и кровопийцы сродников своих и единоплеменных! Поколю маете бесстыдствовать и оправдывать такого человекоунижителя?!"<sup>1</sup> – вопрошал Курбский. "Мы все же надеемся, – писал спустя 300 лет Костомаров, – что уже близко то время, когда встретить у историка похвалу насильственным мерам, хотя бы предпринимаемым или допускаемым с целью объединения и укрепления государств, будет так же дико, как было бы теперь дико услышать с кафедры одобрения инквизиционных пыток и сожжений..."<sup>2</sup> Важно задуматься о цене, которую мы платим за то, что сто лет спустя это время все еще "близко", что обозначенные еще Костомаровым механизмы репрессий остались не до конца раскрыты перед читателем. А ведь действия вопреки интересам страны и "сбережение" внешней опасности, объяснение создаваемых трудностей "изменой" и обращение народного негодования на те прослойки, которые находились между "низми" и самодержцем, при том, что "опричнина свирепствовала над всеми", нагнетание ужаса для "приучения к большому повиновению и безгласности", внушение незначительности личности перед "политической необходимостью, государственными целями" – не особенно лишь XVI в.

Можно расширить и уточнить аргументацию Костомарова (что он и сам отчасти выполнил в других работах), но не изменить в общем и целом нарисованную им картину. Важнейшим мотивом действий Ивана IV и его аппарата был страх перед подданными. "С народной толпой уже не может справиться никакое самовластие, если только она протрет себе глаза и потеряет терпение"<sup>3</sup>. О том, какие сложности испытывает иногда власть в стремлении не дать народу "протереть глаза", мы читаем в исследовании "О следственном деле по поводу

убиения царевича Димитрия" в Угличе в 1591 г. (первая публикация – "Вестник Европы", 1873, т. V, кн. 9).

При том, что со времен Костомарова эти события исследовались многократно, его основную концепцию опровергнуть не удалось. "...Если это лживое следственное дело может возбуждать любопытство исторического исследователя, то разве с той стороны, каким образом оно было в свое время составлено"<sup>1</sup>, – писал Костомаров, правильно определив перспективы работы. Ныне удалось восстановить картину ведения следствия, его записи и тенденциозной переработки. Правда, Николай Иванович ошибаясь, относил переработку в Москву: Шуйский с товарищами достаточно квалифицированно сделал это на месте. Но гениальная догадка, что ответ на угличские события 15 мая 1591 г. был у следствия еще до его начала, подтвердилась полностью. Сравнение дела с юридической практикой помогло установить, что оно велось с нарушением основных процессуальных норм (впрочем, юридическая бесчестность оказалась отличительной чертой Шуйского и в других делах). Самое главное, что народ не поверил официальной версии и все старания правительства Годунова потушить негодование лишь распалили гнев, выплеснувшийся в Смутное время.

В "Повести об освобождении Москвы от поляков..." (СПб., 1866, 1876, 1884, 1889 гг.) Костомаров-историк заметно упрощает рассказ, для доступности самому широкому читателю крайне сокращая число действующих лиц и даже отказываясь от последовательности описания важнейших событий начала XVII в. В результате гражданская война в России, по сути, не охарактеризована, заменена лубочной картинкой, среди цветов которой не хватает главного – мощного взрыва народного возмущения, вызванного не случайными обстоятельствами рубежа веков, а "великим разорением" Ивана Грозного, из которого страна так и не смогла выйти, наступлением неразрывно связанного с этим разорением крепостного права. Поэтому народные движения Смутного времени не получили в работе характеристики.

Понятнее причины ошибок Костомарова в работе "Царевна Софья", вошедшей в "Жиз-

<sup>1</sup> Курбский А. М. История о великом князе Московском // Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI века. М., 1986. С. 396.

<sup>2</sup> Костомаров Н. И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного. С. 249–250.

<sup>3</sup> Костомаров Н. И. Личность царя Ивана Васильевича Грозного. С. 299.

<sup>1</sup> Костомаров Н. И. О следственном деле по поводу убийства царевича Димитрия // Костомаров Н. И. Исторические монографии и исследования. Т. 13. С. 335.

неописания". Наряду с блестящей характеристикой самой царевны (с одной поправкой – по новым данным она не "отличалась гучностью"), историк не смог правильно оценить положение в Российском государстве "служивших по прибору" – стрельцов и солдат и не смог преодолеть упорно навязывавшуюся "петровской" историографией концепцию событий; для этого не хватало современных им источников, выявленных в наше время.

Костомаров преувеличивает привилегированность московских стрельцов и солдат, которые, в действительности, во второй половине XVII в. все более сближались с "черными" посадскими людьми, все чаще отказывались выполнять карательные функции, участвовали в восстаниях, а в 1682 г. возглавили народное движение в столице. Московское восстание началось не по воле "верхов", и даже задолго до дворцового переворота, приведшего на престол малолетнего Петра (и позже оформленного как "всенародное и единогласное" избрание). Иначе рисуется источниками и поведение восставших, шедших за избранными на полковых советах ("кругах") командирами. "С великим стройством, со знаменами" шли они на штурм Кремля, начавшиеся грабежи были немедленно пресечены, кабаки закрыты. Поддерживался порядок в Москве, восставшие предъявили правительству требования от имени всех городских сословий и упорно добивались их выполнения.

Стрельцы не вручали правления Софье и тем более не были ее орудием. Царевна сумела во всеобщем смятении "верхов" захватить власть и добиться перемирия с восставшими, а затем соглашения с ними, понимая, что сражение с лучшими полками русской армии, вынесшими главную тяжесть прошедшей русско-турецкой войны, не под силу дворянскому ополчению. Многие годы затем Софья и ее сторонники шаг за шагом ослабляли стрельцов и укрепляли дворянскую армию, вынуждены были следить за правосудием (что и вызвало отмеченное Костомаровым увеличение сведений о преступлениях), идти на уступки горожанам. Вечный мир с Польшей, перестройка армии и крымские походы значительно укрепили международное положение государства.

Стремясь закрепить власть, Софья в 1686 г. официально объявила себя правительницей. Тогда и был составлен подложный акт о ее "избрании" (аналогично "избранию" Петра). Ликвидировавшая опасность нового восстания,

Софья с ее компромиссной политикой была уже не нужна "верхам". Сомкнувшись вокруг родственников Петра, часть бояр с помощью провокаторов имитировали стрельцеские волнения. Перепуганный Петр бежал в Троицу. Вскоре царевна "пала". Но самобытная деятельность Петра началась не в 1689, а в 1695 г., после смерти его матери, правившей со своей камарильей. Новое восстание стрельцов 1698 г. было разгромлено с невиданной со времен Ивана Грозного жестокостью.

В очерке "Царевич Алексей Петрович" ("Древняя и новая Россия", 1875, т. I, кн. 1–2) Костомаров сближает Грозного и Петра не по усилению самодержавной диктатуры и "успехам" закрепощения, но по отдельным личным признакам. Строго придерживаясь фактов, историк создает тонкую притчу, выражая через взаимоотношения отца и сына важные черты отношений самодержца с народом, сложных и противоречивых. Костомаров намекает на огромные людские потери, которые ныне легко выразить цифрами: только к середине правления Петра количество крестьянских дворов в России сократилось на 19,5% (людей все еще не считали). Завершая очерк, Костомаров пишет: "...надобно сознаться, что для Петра, в его положении, представлялось выбирать что-либо одно: либо совершить жестокое дело, либо всю жизнь подвергаться страху заговоров и восстаний и быть всегда уверенным, что после его смерти наступят смуты и потрясения, которые могут окончиться... разрушением того государственного здания, над созданием которого он трудился всю жизнь"<sup>1</sup>.

"...Русь привыкла исполнять без сопротивления все, что прикажут сверху"<sup>2</sup>, – сказано в очерке "Самодержавный отрок" ("Древняя и новая Россия", 1878, т. I, кн. 1), кладущем последний в этой книге штрих к портрету отечественного царского самодержавия. Подставь на вершину власти вместо одного другого – маховое колесо военно-полицейской машины государства будет кружиться, сокращая дух и плоть народа. Сложившаяся в недрах самодержавной власти система отношений, важнейшим условием которой было безгласие народа, оставила глубокий след в русской истории.

<sup>1</sup> Костомаров Н.И. Царевич Алексей Петрович // Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. 14. С. 212.

<sup>2</sup> Костомаров Н.И. Самодержавный отрок // Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. Т. 14. С. 362.

Опубликованные в настоящем двухтомнике исследования Николая Ивановича Костомарова — лишь небольшая часть его творческого наследия. Перед читателем предстают живые образы русских людей и через них — все богатство и духовная сила отечественной

истории и народной памяти. Раскрывая перед читателем драматические страницы истории России, Костомаров призывает серьезно задуматься над судьбами народа и государства.

*А. Богданов*

## СОДЕРЖАНИЕ

### КНИГА ПЕРВАЯ

Лицность царя Ивана Васильевича Грозного . . . . .	5
О следственном деле по поводу убийства царевича Дмитрия . . . . .	54
Повесть об освобождении Москвы от поляков в 1612 году и избрание царя Михаила . . . . .	68
Царевна Софья . . . . .	89
Примечания и комментарии Н.И.Костомарова . . . . .	116
Комментарии . . . . .	118

### КНИГА ВТОРАЯ

Царевич Алексей Петрович (По поводу картины Н.Н.Ге) . . . . .	125
Самодержавный отрок . . . . .	167
Примечания и комментарии Н.И.Костомарова . . . . .	223
Комментарии . . . . .	225
Послесловие . . . . .	228

**Николай Иванович Костомаров**  
**ИСТОРИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ**  
В двух книгах

Рук. группы А.Н.Казакевич  
Редактор Н.Л.Стебаева  
Технический редактор В.Л.Юняев  
Корректор Л.В.Петрова  
Оператор Т.А.Баранова

ИБ 1867

Сдано в набор 10.06.89. Подписано в печать 12.04.90.  
Формат 70х90/16. Бумага кн.-журн. 60 г. Гарнитура Пресс-Роман.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 17,55. Усл. кр-отт. 18,13. Уч.-изд. л. 21,01.  
Тираж 150 000 экз. Изд. № 4773. Зак. № 3321. Цена 2 р. 80 коп.

Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50  
Набрано на композере издательства «Книга»  
Отпечатано на ордена Трудового Красного Знамени  
Калининском полиграфическом комбинате  
Государственного комитета СССР по печати.  
170024, г. Калинин, пр. Ленина, 5.

**Костомаров Н.И.**  
К 72 Исторические монографии и исследования. — М.:  
Книга, 1989. — С. 239. (Историко-литературный архив).

Настоящая книга — первая за несколько десятилетий публикация очерков из "Исторических монографий и исследований" и других трудов Н.И.Костомарова. Наше издание возвращает широкому читателю несколько историко-литературных произведений. Это "Личность царя Ивана Васильевича Грозного", "О следственном деле по поводу убийства царевича Дмитрия", "Царевич Алексей Петрович" и др. Работы посвящены событиям русской истории XVI—XVIII вв., до сих пор вызывающим острый интерес и споры.

Для всех, интересующихся русской историей.

К 0503020200-082  
002(01)-89 Без объявл.

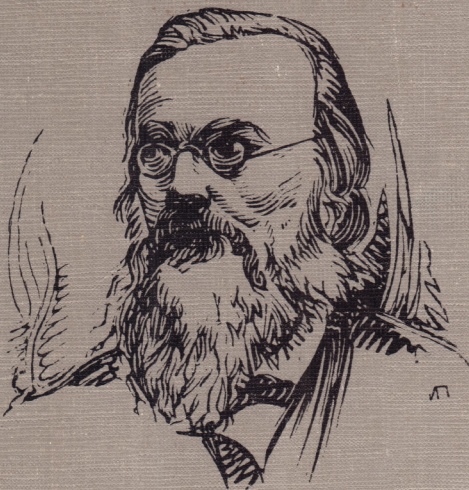
ББК 63.3(2)4

ISBN 5-212-00236-2



**В СЕРИИ  
"ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ"  
В 1990 ГОДУ ВЫЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

**А.Б.Лакиер "Русская геральдика",  
Н.И.Греч "Записки о моей жизни",  
И.Е.Забелин "Домашний быт русских царей  
в XVI и XVII столетиях",  
Ж.Садуль "Записки о большевистской революции"**



## Николай КОСТОМАРОВ

Среди титанов российской исторической мысли XIX в., рядом с Н.М.Карамзиным, С.М.Соловьевым, В.О.Ключевским, видное место занимает Николай Иванович Костомаров (1817–1885). Творчество русского и украинского ученого историка и археографа, фольклориста и этнографа, поэта и просветителя оказало большое влияние на духовное развитие современников.

Н.И.Костомаров принадлежал к числу выдающихся общественно-политических деятелей. Труды его высоко оценивали Т.Г.Шевченко, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. На сочинениях Костомарова воспитывались поколения отечественной интеллигенции.

Научное и литературное наследие Костомарова огромно, данной публикацией начинается путь нового читательского открытия творчества замечательного историка.

ИСТОРИКО-  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
АРХИВ



Николай КОСТОМАРОВ